

ПРОСПЕР
МЕРИМЕ



Scan Kreyder - 07.08.2014
STERLITAMAK

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

М

РОСПЕР
ЕРИМЕ

ТОМ 5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1963

Издание выходит
под редакцией
Н. М. Любимсва.

Оформление художника
Д. Бисти.
Гравюры
А. Гончарова, Д. Бисти.

ШУТЕРВЬЕ
ОЧЕРКИ



**Заметки
о путешествии
по Корсике**

Господин министр!

В докладе, который я имею честь Вам представить, я намереваюсь описать — распределяя по эпохам — различные памятники, какие мне довелось осмотреть за время моего двухмесячного пребывания на Корсике. Однако почти полное отсутствие исторических сведений об этих памятниках, то обстоятельство, что многие из них разрушены, а в некоторых случаях и необычный характер самих сооружений препятствовали подробной систематизации, и я вынужден был ограничиться тем, что распределил их все по нескольким большим периодам, опираясь на художественные особенности или на те редкие документы, которые сохранила для нас история.

Прежде всего я займусь памятниками, которые следует отнести к тому времени, когда римляне еще окончательно не обосновались на Корсике: они либо принадлежат коренным жителям острова, либо воздвигнуты чужеземцами, вступавшими во взаимоотношения с островитянами. Затем я перейду к тем памятникам, какие приписывают римлянам, и список их будет весьма краток. Среди этих памятников есть и такие, характерные признаки которых побуждают меня усомниться в том, что они и в самом деле принадлежат к столь далекому времени. Закончу я свой отчет, бегло описав средневековые

сооружения: их на Корсике значительно больше, и я постараюсь остановиться на отличительных чертах этих зданий.

Но до этого мне представляется вполне уместным бросить быстрый взгляд на историю самой Корсики, ибо политические революции, происходящие в той или иной стране, неизменно оказывают большое влияние на развитие искусств, и нередко наблюдаешь, что характер ее памятников зависит от тех взаимоотношений, какие складывались у нее с другими государствами.

Глубокий мрак покрывает первые века истории Корсики. Не только мифологические предания, повествующие о царе Кирне, сыне Геракла, и лигурийской пастушке Корсе¹, но и многочисленные свидетельства античных историков говорят о том, что остров этот уже в очень давние времена был хорошо известен и сюда нередко наведывались мореплаватели, принадлежавшие к различным народам, что жили на берегах Средиземного моря.

В 562 году до рождения Христова здесь осели греки, прибывшие из Фокеи, расположенной в Малой Азии, позднее они основали город Селию в Калабрии; однако спустя двадцать лет грекам пришлось покинуть Корсику: их изгнали оттуда этруски, вступившие ради этого в союз с карфагенянами, занимавшими в ту пору Сардинию². Этрускам приписывают основание города Никеи на восточном побережье Корсики.

По сообщению Диодора Сицилийского, этруски были полными хозяевами острова, когда сиракузяне потопили их флот; произошло это приблизительно в 450 году до нашей эры. Сенека упоминает о переселении на Корсику лигурийцев³ и иберов. Павсаний именует ливийцами часть обитателей этого острова. Хотя в договорах между Римом и Карфагеном о Корсике прямо ничего не сказано, вполне возможно, что если карфагеняне и не господствовали тут, как в Сардинии, то все же они имели здесь свои фабрики. Однако еще задолго до этого на острове уже обитал какой-то народ — быть может, то были аборигены Корсики; Сенека прямо говорит о том, а Диодор Сицилийский замечает, что еще в его время в некоторых кантонах Корсики жили люди, принадлежавшие к какому-то варварскому народу неизвестного происхожде-

ния, обитавшему на острове испокон веков. Позднее у меня будет случай возвратиться к этому интересному свидетельству.

Еще в глубокой древности — трудно сказать, когда именно, — корсиканские племена захватили северную часть Сардинии и закрепились там; однако они еще очень долго отличались от коренных обитателей этого острова⁴. Если пытаться объяснить эту миграцию небольшого народа извечными причинами, вызвавшими великое переселение народов, то следует предположить, что корсиканцы сами подверглись в ту эпоху нашествию чужеземцев, которые оттеснили их к югу, подобно тому, как восточные варвары позднее отбросили германцев к границам Римской империи. Но когда это произошло с корсиканскими племенами? Это-то и невозможно установить даже приблизительно. Из рассказа Павсания можно заключить лишь одно: корсиканцы обосновались в Сардинии задолго до появления фокейцев на их собственном острове; таким образом, значительно раньше греков на Корсике уже обитали другие народы, о которых в истории не сохранилось никаких упоминаний⁵.

В 494 году от основания Рима на Корсику, видимо, вслед за карфагенянами проникли и римляне; они овладели городом Алерией — одним из тех городов, основание которых приписывали либо фокейцам, либо этрускам. Римляне посылали на остров одну военную экспедицию за другой (правда, то были небольшие отряды) и принудили его жителей платить дань воском — то был главный продукт острова и, судя по всему, единственный, возбуждавший алчность римлян. На восточном берегу Корсики Марий основал колонию, принявшую его имя, а Сулла — другую колонию, увеличившую население города Алерии, к тому времени сильно поредевшее. Однако даже во времена первых императоров Корсика не была еще полностью покорена, и жители внутренних областей острова не считались подданными Римской империи. Владея побережьем, римляне время от времени совершали набеги на горные селения, где захватывали себе рабов⁶, то есть поступали примерно так, как еще совсем недавно поступали португальцы на побережье Африки. В последний период империи Корсикой управлял наместник, подчинявшийся Риму. Точно не из-

вестно, когда на острове восторжествовала христианская религия⁷.

На смену римлянам пришли готы и вандалы; они, в свою очередь, уступили место арабам, которые вновь начали охоту на людей, причем в еще больших размерах. Борьбу с арабами повели пизанцы, и только с великим трудом им удалось вытеснить арабов; уходя, те оставили по себе одни лишь руины и на протяжении веков продолжали грабить побережье Корсики; набеги эти происходили столь часто, что жителям пришлось покинуть береговую часть острова и в поисках надежного убежища поселиться на соседних горных вершинах⁸.

В гористых краях, где крестьянин — скорее пастух, чем земледелец, феодальный строй неизменно оказывался менее тираническим, нежели на равнинах. И все же до сих пор еще сохранились народные предания, где слышны отзвуки тех насилий, которые совершали корсиканские сеньеры по отношению к своим вассалам. Впрочем, если верить тем же преданиям, месть не заставляла себя долго ждать... Уже к середине XI века в центре и на восточном побережье Корсики возникают городские коммуны⁹. На западе, или, выражаясь языком корсиканских летописцев, *по ту сторону гор*, феодальные сеньеры дольше сохраняли свою власть. И в один прекрасный день враждовавшие с ними коммуны преподнесли весь остров целиком в дар одному из пап, надеясь таким образом обрести покровителя. В 1070 году папа Урбан II уступил Корсику за ежегодную арендную плату в пятьдесят ливров (в монете города Лукки)¹⁰ Пизанской республике, которая в то время процветала; судя по всему, корсиканцы могли только радоваться подписанию столь необычного контракта, заключая который их мнения, видимо, не спрашивали. Прежде всего пизанские правители Корсики позаботились установить мир между коммунами и феодальными сеньерами, а также несколько смягчить слишком уж дикие нравы своих новых вассалов. XII век был для Корсики временем спокойствия и счастья. «Именно тогда, — пишет Филиппини, основываясь на сведениях Джованни делла Гросса, — было воздвигнуто множество общественных зданий и немало великолепных церквей, которыми мы и поныне еще любимся».

После сражения при Мелории¹¹ пизанцы, разбитые генуэзцами, уже не в силах были осуществлять свой протекторат над Корсикой, где их враги успели завербовать себе немало сторонников, особенно среди городских коммун. Папа Бонифаций VIII попробовал было восстановить суверенитет святейшего престола над островом, вернее сказать, он передал его Хайме II, королю Арагона; однако генуэзцы не приняли во внимание папские указы и продолжали укрепляться на Корсике, каждодневно завоеывая новые земли; при этом они действовали иногда силою оружия, но чаще всего — с помощью интриг и подкупа. Начиная с XIII и вплоть до XVI века Корсика представляла собою поле битвы — генуэзцы, арагонцы, итальянские государи, папы и французские короли вооружали островитян и побуждали их перерезать друг другу горло ради того, чтобы те поняли, каким же господам они станут в конечном счете подчиняться. Невозможно вообразить ничего более печального и отвратительного, чем этот период, продолжавшийся целых три века и отмеченный бесславными боями, бесплодным вероломством, ужасными жестокостями, недобросовестностью и постыдным эгоизмом как иноземных правителей, так и корсиканских вождей. Человек, изучающий историю Корсики и удрученный бесконечным нагромождением ужасов, лишь ненадолго с облегчением вздохнет, когда обнаружит среди рассказов о множестве местных полководцев, непрестанно менявших знамена, которым они служили, повесть о деяниях Сампьеро: едва ли не единственный из всех, он боролся за независимость своего отечества; столь же дикий, как его отчизна, этот герой всегда оставался верен святому делу, которому он посвятил свою жизнь.

Вместе с Сампьеро погибла последняя надежда Корсики; уже подпавшая под власть Генуи по договору, заключенному в Като-Камбрези в 1559 году, она на время перестала потрясать своими цепями и, казалось, подчинилась порабощению.

Как видим, Корсика, слишком слабая и разобщенная, чтобы собственными силами противиться иноземцам, неизменно отдавала себя во власть тому, кто господствовал на Средиземном море. И тем не менее она

никогда не утрачивала своей национальной самобытности и не сливалась со своими повелителями.

В огне гражданских войн уже в далеком прошлом сгорела власть феодальных сеньеров, живших по ту сторону гор; впрочем, их могущество всегда оспаривалось, их силы были слишком ничтожны, а нравы слишком дики для того, чтобы они могли играть в своей стране ту цивилизаторскую роль, какую играло дворянство на европейском континенте. Епископы — почти все они были чужеземцы — сделали для Корсики не больше феодалов.

Бедные, отнюдь не фанатически религиозные, притесняемые жадными правителями, корсиканцы никогда не уделяли большого внимания искусствам. Здесь не встретишь крупных сооружений. *Latissimum receptaculum casa est**. Эти слова Сенеки и сегодня сохраняют свое значение, ибо для того, чтобы воздвигать памятники, народы должны быть религиозны, духовенство должно быть богато, а феодальные сеньеры должны любить роскошь. Вот почему не следует искать на Корсике никаких памятников, кроме подражаний или заимствований, почерпнутых у ее более счастливых соседей.

* Самое обширное пристанище — это собственный дом (лат.).

ПАМЯТНИКИ, ВОЗДВИГНУТЫЕ ДО ПРИХОДА РИМЛЯН

ДОЛЬМЕНЫ И МЕНГИРЫ

ДОЛЬМЕН НА РЕКЕ ТАРАВО

Я, не колеблясь, отношу к периоду до обоснования римлян на Корсике несколько памятников неизвестного происхождения, как две капли воды похожих на те, которые во Франции или в Англии именуется друидическими либо кельтскими. Если и в нашей стране затрудняешься определить дату возникновения такого рода памятников, то сомнение с тем большим основанием возрастает, когда встречаешь их на острове, достаточно удаленном от европейского материка, где жили кельты, причем остров этот лишь значительно позднее установил известные нам взаимоотношения со своими северными соседями.

Уже г-н Матье, капитан артиллерии, указал на дольмен в долине реки Тараво; однако существование подобного памятника на Корсике показалось мне настолько неправдоподобным, что я долго раздумывал над тем, стоит ли предпринимать поездку, чтобы убедиться в правильности сообщения г-на Матье. В самом деле, помимо недоверия, какое порожидала во мне неясность описания (к нему не был даже приложен рисунок), я знал по опыту, как легко счесть делом рук человеческих нагромождение камней, которое образовалось в результате деятельности стихийных сил природы; словом, я опасался, что дольмен Тараво — одна из тех фантазий, на которые

так горазды кельтоманы. Однако внимательное изучение памятника убедило меня в правоте человека, осматривавшего его до меня; нижеследующее описание, надеюсь, докажет подлинность этого памятника и его важность (сам г-н Матье, думается, не оценил его по достоинству).

Дольмен расположен в долине Тараво, примерно в полутора милях от Соллакаро и в нескольких сотнях метров от левого берега потока: он стоит на голом холме, склон которого понижается с востока к западу. Дольмен сложен из четырех больших плоских камней; три из них, вкопанные в землю, образуют параллелограмм с прямыми углами, закрытый на северо-востоке и открытый на юго-западе; четвертый камень, превышающий размерами остальные, покрывал их наподобие кровли и значительно выступал над ними; камни, служившие боковыми стенами дольмена, установлены не вертикально, а наклонно к его внутренней части. Ныне кровля эта обрушилась, а одна из боковых стен дольмена разбита на куски; однако опора ее по-прежнему прочно укреплена в земле. Вторая из боковых стен сильно повреждена. В полной неприкосновенности сохранился лишь камень, замыкающий дольмен с северо-востока. Судя по цвету трещин, еще не поросших лишайником, памятник разрушен не так давно¹². Быть может, надежда отыскать какое-либо сокровище побудила местных жителей долбить стены изнутри, а это привело к тому, что камни потеряли равновесие; возможно, что стены дольмена просто растрескались от сильного мороза, а падение кровли довершило его разрушение.

Камень, замыкающий дольмен с северо-востока, имеет в высоту 1 метр 60 сантиметров, ширина его — 1 метр 25 сантиметров, а толщина — от 15 до 20 сантиметров. Насколько я мог судить, боковые стены были такой же высоты, а длина их составляла от 2 метров 80 сантиметров до 3 метров. Что касается кровли, то ее максимальная длина — 3 метра 10 сантиметров, а ширина — 2 метра 60 сантиметров. Все камни грубо обтесаны по краям: вероятно, их обрабатывали прямо в каменоломне при помощи клиньев, стремясь придать им плоскую форму. Быть может, пользовались резцом либо топориком, чтобы разровнять их края и вершину. Особенно заметны следы обработки на заднем камне дольме-

на: с внутренней стороны он обтесан и, можно сказать, отполирован особенно тщательно. Там нетрудно разглядеть полукруглую выемку, сделанную или, во всяком случае, намеренно увеличенную, — она идет к вершине камня и вдоль его восточной стороны. Если мысленно разделить этот камень на четыре равных прямоугольника, то легко представить себе его форму (причем верхний прямоугольник, примыкающий к восточной стене, был как бы вырезан, а входящий угол слегка закруглен).

Метрах в двадцати от дольмена — перед ним и на его оси — в густых зарослях, прямо на земле, лежат четыре большие глыбы призматической формы; они слегка походят на пирамиду с чуть закругленными углами; длина этих камней — от 3 метров 80 сантиметров до 5 метров, а ширина каждой из их граней — от 70 до 90 сантиметров. Камни лежат беспорядочно, но на очень близком расстоянии друг от друга. Я думаю, что не ошибусь, если предположу, что некогда они образовывали два отдельных сооружения, каждое из которых состояло из двух каменных пирамид. В нижней части камней имеется закраина, или, вернее, грубое подобие цоколя, вырубленного в самом массиве. Если бы вы увидели эти продолговатые глыбы в каком-либо ином месте, то приняли бы их за колонны, извлеченные из каменоломни и слегка обработанные ударами молота. Метрах в сорока или пятидесяти отсюда — в том же направлении, но только по другую сторону небольшого оврага — на земле, в зарослях, лежат еще две такие же каменные глыбы; одна из них разбита.

Я лично нисколько не сомневаюсь, что эти камни и камни, образующие дольмен, составляют части одного памятника и что между теми и другими существует определенная, а не случайная взаимосвязь. Все они одной горной породы (это серый гранит; из такого же гранита и соседние скалы), одинаково расположены относительно стран света, одинаково грубо отесаны. Прибавлю еще, что наличие менгиров неподалеку от дольмена, особенно против входного его отверстия, — явление, которое отмечали все, кто изучал кельтские памятники в Бретани и в Англии.

К северу от дольмена, в той стороне, где местность понижается, можно заметить нечто вроде примитивной

стены: она образована большими необработанными камнями, которые как попало нагромождены друг на друга, чтобы предотвратить оползни. Эта каменная гряда тянется метров на тридцать и описывает едва заметную дугу, вогнутая сторона которой обращена к дольмену. Если мысленно продолжить эту дугу, то она превратится в удлиненный эллипс, который некогда, видимо, окружал и дольмен и стоящие впереди него менгиры. Но я замечаю, что и сам начинаю поддаваться кельтомании, а воспоминания о Стонхендже заставляют меня видеть здесь вал, напоминающий вал вокруг знаменитого храма на равнинах Солсбери. В действительности же решительно ничто не доказывает, будто здесь и впрямь существовала каменная ограда, а нагромождение камней можно объяснить лишь рельефом местности и стремлением удержать вокруг памятника почву, которую размывали дожди. Впрочем, природа этой примитивной каменной гряды и невозможность найти для нее какое-либо иное назначение в столь пустынном месте не оставляют во мне ни малейших сомнений касательно ее характера, и я с уверенностью заявляю, что она сооружена одновременно с дольменом и менгирами.

В здешних краях дольмен называют *la Stazzona del Diavolo*. *Stazzona* — родовое наименование всех корсиканских дольменов; на диалекте местных крестьян это слово означает «кузница». По преданию, в которое никто больше не верит, ибо на всем свете не сыскать людей менее суеверных, нежели корсиканцы¹³, но которое до сих пор рассказывают детям, подобно тому, как у нас рассказывают страшные истории об оборотнях, дьявол будто бы своими руками притащил сюда все эти камни, чтобы они служили ему наковальней. Порою люди слышали удары его грозного молота. И вот однажды — то ли днем, то ли ночью — дьявол, оставшись недоволен своей работой, швырнул молот с высоты дольмена в долину Тараво. Пролетев около тысячи метров, молот этот вонзился в землю, а на месте его падения возник небольшой пруд, который иногда именуют *Stagno del Diavolo**, но чаще — *Stagno d'Erbaio*** . Один пастух рассказал г-ну Матье, будто этот дьявольский пруд с каждым днем увеличивается.

* Пруд дьявола (итал.).

** Пруд косаря (итал.).

Я не слышал подобного предания, мне даже показалось, будто пруд почти полностью засыпан или же, во всяком случае, затянут тиной и зарос камышом.

Менгиры именуется здесь *stantare*. Это слово, как и слово *stazzona*, не итальянское, однако можно угадать, что оно латинского происхождения. Мне неизвестно какое-либо другое его значение, и все же я склонен предполагать, что некогда оно имело более широкий смысл. А возможно, существовало ныне уже забытое предание касательно вертикально стоящих камней. Вот мой единственный довод, и я не преувеличиваю его доказательности. Когда кто-нибудь из малышей забавы ради становится на руки и, балансируя ногами в воздухе, вертится вокруг собственной оси, мамы и кормилицы называют такое занятие *far la stantara* *. Оказывается, выражение это в ходу даже в тех областях Корсики, где никто не видал вертикально стоящих камней и ничего о них не слышал. Из того, что изложено выше, следует, по-моему, заключить, что в далеком прошлом менгиры встречались на Корсике гораздо чаще, чем в наше время.

МЕНГИРЫ НА РЕКЕ РИЦЦАНЕСЕ

Два других менгира, стоящих почти вертикально, можно увидеть приблизительно в миле от Сартене, на левом берегу реки Риццанесе, у обочины дороги, ведущей в Проприано. Это место так и называют: *Stantare*. Оба камня заметно наклонены друг к другу. Тот, что побольше — высота его равна трем метрам, — несколько толще у основания, нежели у вершины, которая, впрочем, как мне показалось, отбита в результате какого-то стихийного бедствия. Основание камня почти квадратное, каждая его сторона равна приблизительно 85 сантиметрам. Другой камень такой же толщины, но достигает в высоту всего 1 метра 60 сантиметров. Камни удалены один от другого на полметра. Между двумя стоящими вертикально камнями прямо на земле лежит третий: толщина его почти такая же, как у них, а длина — один метр. Возможно, это обломок одного из двух менгиров. Как и камни в долине Тараво, эти менгиры носят следы обработки,

* Изображать стантару (итал.).

и хотя они не обтесаны, совершенно очевидно, что над ними трудилась рука человека: вернее всего, их вырубали и оббивали по краям прямо в каменоломне при помощи клиньев. Впрочем, на их поверхности нет ни украшений, ни надписей. Мне не довелось услышать никакого предания, связанного с этими менгирами.

МЕНГИРЫ БОККА ДЕЛЛА ПИЛА *

В двух или трех милях к юго-юго-востоку от Сартене, в ущелье, называемом Бокка делла Пила, я осматривал два менгира высотой в 2,5 метра и шириною в 70 сантиметров; они наклонены друг к другу, подобно двум только что описанным мною менгирам, и очень похожи на них. Один из менгиров, вершина которого отбита, ныне встроен в стену, сложенную из камней, не скрепленных никаким раствором (в Корсике принято огораживать такими стенами возделанные поля). Менгир этот служит опорой для калитки, ведущей в поле.

Название ущелья, где находятся менгиры, недавнего происхождения, оно возникло из формы этого своеобразного памятника, напоминающего мостовой бык. Менгиры известны в округе также под названием двух *stantare*.

ДОЛЬМЕН ДОЛИНЫ КАУРИА

Я приступаю к описанию памятника гораздо более значительного и гораздо лучше сохранившегося, нежели те, о которых я говорил прежде. Этот дольмен нередко называют *Кузницей дьявола* (*Stazzona del Diavolo*); он весь уцелел. Дольмен расположен в долине Кауриа, или Гавуриа, находящейся посреди довольно обширной равнины; он стоит на невысоком плато, которое, однако, заметно издали. Памятник образуют восемь камней, толщина их в среднем 30 сантиметров; пять камней высятся стоямя, сильно наклонены внутрь дольмена и служат его боковыми стенами: два камня расположены справа от входа в дольмен и смотрят на востоко-востоко-юг, три установлены с противоположной стороны, шестой камень замыкает дольмен с северо-северо-запада. Седьмой

* Устье мостового быка (итал.).

камень покрывает шесть остальных наподобие кровли; у этого дольмена есть особенность, которую я нигде прежде не наблюдал; восьмой камень, лежащий у входа, представляет собою нечто вроде высокого порога. Внутри дольмен имеет форму четырехугольника, его большие стороны равны примерно 3 метрам 15 сантиметрам, а меньшие — 2 метрам 5 сантиметрам. Первый из камней, образующих боковую стену справа от входа, достигает в длину двух метров; длина стоящего рядом с ним камня — около трех метров, и он заметно выступает за камень, замыкающий дольмен (протяженность этого заднего камня немногим более двух метров). Камни, стоящие слева от входа, имеют в длину около метра каждый. Высота дольмена — без кровли — 1 метр 60 сантиметров. Когда смотришь на него снаружи, он кажется менее высоким, потому что стоит в углублении, дно которого приблизительно на полметра ниже окружающей местности. Мне остается рассказать о камне, образующем кровлю дольмена: он очень неправильной формы, самая длинная его сторона достигает 3,5 метра, самая короткая — 2 метров 30 сантиметров. Камень этот по какой-то причине треснул — судя по всему, это произошло недавно; трещина идет наискось по его ширине. Почти в самом центре камня можно заметить неглубокую выемку, к которой ведет желобок, явно сделанный рукою человека; желобок тянется на востоко-северо-восток и делает легкий изгиб у самого края камня. В направлении на востоко-востоко-юг (к входу в дольмен) тянется второй, совершенно прямой желобок: он берет начало во впадине эллиптической формы и расположен перпендикулярно к ее большей оси. Наконец, в противоположной стороне, иначе говоря, на северо-северо-западе, виден третий желобок, выходящий из выемки меньшего размера, чем две предыдущие.

Я очень часто слышал разговоры о таких желобках, сделанных на кровле дольменов, но никогда еще не видел их собственными глазами. Здесь они на редкость явственны. Желобки были предназначены для стока какой-то жидкости: чтобы убедиться в этом, достаточно проследить их направление и глубину. Что касается впадин, то я не замечаю здесь никаких следов обработки: по-моему, они образовались под действием дождя и ветра.

Камни этого дольмена гораздо более шероховатые и неровные, чем камни дольмена в долине Тараво: думается, что все они остались в том же состоянии, в каком были некогда случайно обнаружены.

Щель шириною от 4 до 8 сантиметров отделяет кровлю дольмена от замыкающего его камня. Это же самое можно наблюдать почти во всех наших дольменах. К примеру, кровля дольмена, расположенного в Банье, возле Сомюра, также не прилегает вплотную к заднему камню. Другие щели между боковыми стенками и кровлей дольмена в долине Кауриа тщательно заделаны небольшими камнями, обмазанными глиной: это работа пастухов, которые, не страшась встречи с ужасным кузнецом, нередко проводят ночь в дольмене или укрываются там во время грозы. Видимо, они и положили у входа глыбу песчаника, которая служит ступенькой, облегчающей спуск в дольмен.

Метрах в трехстах от дольмена, в направлении на востоко-востоко-юг, вдоль стены, недавно сложенной из камней без применения какого бы то ни было раствора, находятся девять менгиров: они размещаются на линии, параллельной оси дольмена, и отдаленно напоминают аллеи Карнака и Эрдевена. И все же трудно утверждать, что камни эти некогда образовывали правильную аллею, то есть шли двумя параллельными рядами, ибо ныне только пять менгиров занимают вертикальное положение; остальные четыре повалены и лежат на близком расстоянии друг от друга, так что определить, как именно они были размещены когда-то, невозможно. Еще один камень почти весь ушел в землю: быть может, это десятый менгир. Но для того, чтобы убедиться в его тождестве с остальными девятью камнями, надобно отрыть его. Из пяти стоящих камней почти все наклонены в разные стороны, так что создается впечатление, будто они никогда не располагались на одной прямой. Впрочем, вполне вероятно, что в прошлом менгиров здесь было гораздо больше, ибо многие камни были, видимо, разбиты на куски для того, чтобы сложить стену, которая ограждает поле, где находится дольмен. С другой стороны, заросли здесь настолько густые, что лежащие на земле камни могут ускользнуть от самого внимательного взгляда. В противоположном направлении, то есть к северо-се-

веро-западу, я не обнаружил ни одного менгира; однако, чтобы с полной уверенностью утверждать, что их там нет, надобно прежде выжечь заросли ладанника и мирта, из-за которых совсем не видно земли.

Самый большой из менгиров, имеющий три метра в высоту, ныне валяется на земле. Высота остальных менгиров — от 1 метра до 1 метра 60 сантиметров; их средняя толщина — 75 сантиметров. Кстати, все соображения, высказанные мною по поводу менгиров на берегу реки Риццанесе, вполне применимы и к этим.

По возвращении в Бастию я показал кое-кому наброски, сделанные мною прямо на местности. И тут я узнал о существовании такого же рода памятников, расположенных, как и эти, в округе Сартене; к сожалению, у меня уже не было времени для их осмотра. Меня уверяли, будто совершенно неповрежденный дольмен расположен в Бедзико Нуово, а в Бачиль Веккьо, возле селения Гроссе, можно увидеть несколько отвесно стоящих менгиров. Мой друг, г-н Пьеранджели, сведущий антикварий и один из наиболее ревностных корреспондентов Вашего министерства, пообещал мне осмотреть эти памятники и сообщить Вам свои замечания.

В отдаленной части острова, посреди самых высоких гор Ньюло, высится беспорядочное нагромождение камней, известное под названием *Stazzona*. По моему крайнему разумению, эта каменная груда — результат воздействия каких-то природных сил. И все же я сожалею, что мне ничего не было известно о ней, когда я совершил поездку в Ньюло. Так называемый дольмен расположен к востоку от дороги, возле самого озера Нино. Когда едешь из Ньюло в Сольчию, проезжаешь мимо него. Было бы весьма желательно, чтобы эти камни тщательным образом осмотрели.

За исключением этого дольмена, который вызывает у меня много сомнений, все остальные упоминавшиеся мною дольмены находятся в нескольких милях от берега моря; вот почему вполне возможно, что их воздвигли чужеземные мореплаватели, которые ненадолго останавливались на Корсике. В Бретани нетрудно сделать подобное же наблюдение: так называемые кельтские памятники гораздо чаще встречаются на морском побережье, нежели во внутренних областях этой провинции. И все же я не

придаю этому обстоятельству слишком большого значения: ведь трудно допустить, чтобы купцы или пираты, словом, чужестранцы, ненадолго остававшиеся в каком-либо месте, воздвигали на земле, которую им предстояло вскоре покинуть, памятники, требовавшие столь значительной затраты сил. Куда более вероятно, что памятники сооружены народом, прочно обосновавшимся в этих краях.

Если мы захотим сравнить большие камни, установленные на Корсике, с такими же камнями, встречающимися во Франции, то нелегко будет обнаружить между ними какие-либо существенные различия. Правда, бывает, что менгиры наклонены то в одну сторону, то в другую, но есть все основания приписать это скорее всякого рода случайностям, нежели продуманной системе. Сходство между нашими дольменами и корсиканскими *Stazzone* полное, разве только на Корсике камни обтесаны несколько более тщательно, нежели на континенте. Определенное расположение дольменов относительно стран света, наблюдаемое во Франции, на Корсике не выдерживается, однако и у нас это нередко нарушается, поэтому значение такой особенности не следует преувеличивать. Словом, я не вижу серьезной разницы между так называемыми кельтскими памятниками и теми, какие мы встречаем в округе Сартене; вполне можно предположить, что у них не только одинаковое предназначение, но и происхождение общее.

Однако предназначение и происхождение такого рода памятников даже во Франции остается темным и загадочным. Лишь в результате многочисленных и отнюдь не всегда доказательных гипотез ученые сошлись на том, что эти сооружения следует рассматривать как храмы и алтари друидической религии¹⁴. Античные авторы хранят на этот счет полное молчание, хотя вместе с тем уделяют некоторое внимание верованиям галльских жрецов; вот почему можно заключить, что памятники эти существовали еще до религии друидов. В самом деле, нам говорят о галльских храмах, о статуях галльских богов, об огромных идолах, изваянных друидами, но нигде нет речи о намеренно воздвигнутых камнях. И невольно задаешь себе вопрос: не слишком ли топорны сооружения, приписываемые друидам, чтобы их можно было от-

носить к эпохе, когда искусство достигло уже такого развития, что люди ваяли статуи и возводили храмы? Мне думается, для того, чтобы перейти от едва отесанного камня к статуе идола, пусть даже самой варварской, надобно одолеть весьма крутую ступеньку на лестнице цивилизации.

Как бы то ни было, весьма примечательно, что в странах, где некогда жили кельты, находят множество намеренно поставленных камней, но они очень редки или вовсе отсутствуют в тех странах, история которых не сохранила сведений о пребывании там галлов. Отсюда проистекает вполне правдоподобная гипотеза о том, что эти необычные памятники принадлежат народу, на чьей земле их особенно много.

Правда, нельзя с полной уверенностью утверждать, будто все дольмены следует приписывать одним только кельтам; в частном случае, который нас занимает, трудно поверить, чтобы народ, чьи многочисленные войска были остановлены морским проливом, мог в столь давние времена основать колонии на острове, весьма удаленном от европейского континента. Однако отрицать такую возможность все же не приходится, тем более что некоторые соображения делают ее не такой уж невероятной.

Из ученых изысканий доктора Эдвардса касательно различных племен и народов известно, что физический тип человека отличается необыкновенной устойчивостью: на него не влияют ни вторжения чужеземцев, ни даже длительное порабощение. Вот почему интересно приглядеться к внешности корсиканцев и подумать над тем, с представителями какого народа можно отыскать у них сходство.

До посещения Корсики я ожидал встретить там людей, внешне похожих на тех, какие во множестве встречаются на северо-западном побережье Италии и в некоторых местах южного побережья Франции. Словом, я был твердо уверен, что корсиканцы принадлежат к народам иберийской группы; ярче всего характерные черты этого этнического типа воплощены в жителях Бискайи и Наварры. Внешность обитателей Бастии сперва укрепила меня в этом мнении; однако, когда я начал сравнивать их с крестьянами из далеких селений (особенно,

когда я проехал по горам, расположенным в самой глубине острова), то увидел, что лица здесь совершенно иные.

Жители Бастии не отличаются от итальянцев, населяющих западное побережье Апеннинского полуострова. Вот их характерные черты: продолговатое и узкое лицо, лоб при этом очень широкий; орлиный нос, тонкие и хорошо очерченные губы; черные глаза, черные и гладкие волосы, кожа ровного оливкового оттенка¹⁵. Такие черты вы встретите у многих генуэзцев, не редкость они также в Провансе и в Лангедоке. Но как только вы покинете Бастию и направитесь в горы, вам нечасто станут попадаться продолговатые лица с крупными чертами. У жителя центральных областей Корсики, принадлежащего к народу, возможно, испокон веков населявшему остров или, во всяком случае, обитавшему здесь с незапамятных времен, широкое полное лицо, маленький бесформенный нос, большой рот и толстые губы. Кожа у него светлая, волосы чаще каштановые, нежели черные. Среди пастухов, проводящих почти все время под открытым небом, нередко можно встретить людей с ярким румянцем на щеках. Ни в коем случае нельзя смешивать натуральный цвет кожи с тем оттенком, какой она приобретает под постоянным действием зноя. Горец из Кошоне или из окрестностей Кортэ всегда загорелый, почерневший от солнца; кожа у него, однако, от природы светлая, сквозь загар на его лице пробивается румянец. Оливковый оттенок кожи, присущий генуэзцам, видимо, объясняется пигментом, содержащимся в верхнем слое кожного покрова. Подобное же замечание можно сделать и по поводу цвета волос. Среди корсиканцев, которые, на мой взгляд, принадлежат к чистому этническому типу, так же редко встречаешь людей с иссиня-черными волосами, как и среди жителей наших северных провинций. У горцев, живущих поблизости от Кортэ, курчавые и вьющиеся каштановые волосы с золотистым оттенком, причем верхние пряди, постоянно выгорающие на солнце, гораздо светлее нижних.

В заключение я хочу сказать, что внешние черты корсиканского горца почти не отличаются от черт жителя Центральной Франции: именно такие черты доктор Эд-

вардс считает характерными для галльского племени, которое, как полагают, раньше всего обосновалось в древней Галлии.

Что же до черт национального характера, устойчивость которых с полным основанием отметил г-н Амедей Тьери, то не составит никакого труда обнаружить большое сходство в нравах корсиканцев и валлийцев. Вот в каких выражениях рисует г-н Тьери галльский характер: «Личная храбрость, открытый, вспыльчивый нрав, необычайная впечатлительность, редкая проницательность; наряду с этим — крайняя переменчивость, сильно выраженное отвращение к самому понятию о дисциплине, склонность к хвастовству и, наконец, постоянный разлад с самим собою — плод непомерного тщеславия».

А теперь откроем историю Корсики, написанную Филиппини. На каждой странице мы находим здесь точно такие же черты характера — можно подумать, будто они списаны с корсиканцев. Обратимся к их войне против Генуи. Какая переменчивость! Какое отсутствие дисциплины! Какой разлад! На Корсике мы видим не единый народ, а лишь семьи, которые действуют в своих собственных интересах. А галльская храбрость, которую г-н Тьери так удачно назвал *личной*! Разве не присуща такая храбрость и корсиканцу, предпочитающему вести войну лишь тогда, когда это ему выгодно? Наконец, его преувеличенная обидчивость и вошедшая в поговорку жажда мести¹⁶ — разве это не результат непомерного тщеславия, которое даже у великих людей переходит в нелепое бахвальство? Вспомните атласное одеяние и лавровый венок Наполеона.

Господин министр! Я только что с беспристрастием, рожденным неуверенностью, изложил вам доводы, которыми можно обосновать кельтское происхождение дольменов на Корсике. Я крайне сожалею, что не могу продолжить свои разыскания, а также распространить их на ту область, которая, насколько мне известно, до сих пор еще никем не изучена; к несчастью, я и сам недостаточно в ней сведущ. Я говорю о корсиканском наречии; было бы интересно отыскать в нем сохранившиеся донныне слова, которые принадлежат старинному языку или даже нескольким старинным языкам. Диодор Сицилийский сообщает, что некоторые варварские племена на Кор-

сике говорили на странном и непонятном языке. Кто были эти варвары? Заметим, что слова о варварах и об их непонятном языке вполне отвечают тем представлениям, которые у грека вообще, а у Диодора Сицилийского в частности были о кельтах и их речи. Быть может, в современном корсиканском наречии — хотя госканский диалект и французский язык постоянно разрушают его своеобразие — удастся все же отыскать много слов кельтского происхождения. Вот пять слов, привлечших мое внимание, они явно заимствованы из северных языков: *ye* — «да»; *falare* — «спускаться»; *valdo* — «лес»; *tori* — «много»; *brasanato* — «пестрый». Если бросить взгляд на карту Корсики, то легко обнаружить на ней множество географических названий, которые, так сказать, скроены совсем не на итальянский лад. Полный лексикон этих слов, полагаю, помог бы изучить происхождение корсиканского наречия да и самих корсиканцев¹⁷.

Впрочем, можно было бы, даже не вступая в спор с историческими преданиями, объяснить — и, пожалуй, очень просто — сходство во внешности и характере между корсиканцами и галльскими племенами. Лигурийцы, чье переселение на Корсику засвидетельствовано историей, находились в отдаленные времена в тесных взаимоотношениях с кельтами. У них были даже схожие языки: в битве при Ахене у лигурийцев, сражавшихся на стороне римлян, был тот же боевой клич, что и у тевтонов. Лигурийцы считали тевтонов своими соплеменниками. Так вот, в Восточных Пиренеях, Нижних Альпах и в департаменте Вар, то есть в местах, где некогда обитали лигурийцы, находят дольмены и менгиры.

Опираясь на авторитет Секста Авиения, лигурийцев смешивают — по-видимому, ошибочно — с иберами. Сенека, перечисляя народы, которые последовательно обосновывались на Корсике, различает их. Он прибавляет следующее примечательное разъяснение: иберы, осевшие на этом острове, по его словам, сохранили свою одежду и некоторые выражения, свойственные их наречию (Сенека мог об этом судить со знанием дела, ибо сам был родом из Испании); однако, прибавляет он, постоянное общение с греками и лигурийцами почти совершенно изменило язык иберов.

Наконец, если не соглашаться с тем, что лигурийцы принадлежат к большой семье кельтских народов, можно предположить, что, отправляясь на Корсику, они прихватили с собой какую-нибудь галльскую орду, обретавшуюся по соседству с ними. Такого рода союзы часто наблюдались среди народов, которых греки именовали варварами¹⁸.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ УРНЫ

Стремясь установить происхождение корсиканцев, к несчастью, постоянно пребываешь в сомнении, ибо не находишь ответа на возникающие у тебя вопросы. Пока что я хочу сообщить о некоторых любопытных находках, свидетельствующих, впрочем, об обычаях, в которых нет ничего кельтского.

В виноградниках монастыря св. Иоанна, неподалеку от Аяччо (предполагают, что в этом месте некогда был расположен древний город Урциниум), возле так называемой *Новой часовни* несколько раз находили большие сосуды из плохо обожженной красной глины; в них лежали человеческие кости, обмотанные полотняными лентами, наподобие мумий. Мне не довелось самолично осмотреть ни одну из этих находок. Из-за прискорбного небрежения все они погибли. Вот почему я вынужден привести здесь лишь те сведения, которые мне удалось собрать. Данные эти во всех подробностях сообщены мне г-ном Этьеном Конти, известным адвокатом и литератором, чья любезность хорошо известна всем иностранцам, путешествовавшим по Корсике. По моей просьбе он сообразовал освежить собственные воспоминания и опросить своих земляков по поводу недавно обнаруженных в этой местности древних могил.

Своей формой сосуды напоминают многие античные урны; это яйцевидные вазы, более выпуклые в нижней части и слегка сужающиеся кверху. В двух погребальных урнах среди лоскутов материи и плотного слоя пыли были обнаружены две детские головы, которые, судя по всему, не подвергались действию огня. Никаких

других костей, во всяком случае целых, там найдено не было. Помимо головы, в каждой вазе лежали еще браслеты из золоченой меди и нечто вроде детских шапочек или закрытых венков из серебряной позолоченной проволоки, которые можно сравнить с сетками для волос. Г-н Пульези, обнаруживший эти погребальные урны, упомянул также небольшую деревянную шкатулку, обернутую в кусок полотна; по его словам, ему показалось, будто там находились обрывки бумаги. Он утверждает, что на этих клочках ничего не было написано. Г-н Конти, который подробно расспрашивал его, пришел к заключению, что г-н Пульези и сам не особенно уверен в своей догадке; по мнению г-на Конти, он принял за бумагу лоскутки материи либо листочки тростника.

В других сосудах, обнаруженных в разное время, находились целые человеческие скелеты (или, во всяком случае, столько костей, что из них можно было составить скелет); на них незаметно было никаких следов действия огня. И вот что еще заслуживает упоминания: в каждом сосуде лежал предмет (я так и не узнал, из какого материала он был изготовлен), который видевшие его люди называли ключом, хотя он походил скорее на грубо сделанную отмычку¹⁹.

В Бонифачо, в месте, которое по давней традиции именуют *Могилой турка*, несколько лет назад нашли такой же сосуд, заключавший человеческий скелет. Мне сообщили, что вместе со скелетом там были обнаружены и монеты. Но какие именно? Этого мне так и не удалось узнать. Когда я стал собирать сведения, то обнаружилось, что в Бонифачо не сохранилось даже воспоминаний о находке.

По всей вероятности, захотят узнать, что же случилось со всеми этими сосудами, браслетами, сетками для волос, ключами? Сосуды были разбиты и превратились в черепки, сетки для волос и браслеты переплавлены (серебро на этих сетках было высокой пробы). Что касается ключей, то один из владельцев виноградников составил из них целую связку; она оказалась такой тяжелой, что стала ему мешать, и он избавился от нее уж и сам не помнит как; без сомнения, ключи эти до сих пор валяются среди железного лома у какого-нибудь кузнеца в Аяччо. Прежде чем вопиять о варварстве, надобно спросить себя,

не происходит ли нечто подобное чуть не каждый день в городах нашего континента.

Обычай помещать трупы в большие глиняные кувшины встречается у многих народов. Подобные примеры можно встретить у различных американских племен, а в древности, как сообщает Диодор Сицилийский, жители Балеарских островов точно таким же образом хоронили своих мертвецов. «Хороня умерших,— говорит он,— они прибегают к странному, применяемому только ими одним способу: разбивают трупы дубинами, кладут их в погребальные урны, а сверху наваливают груды камней». Насколько мне известно, в виноградниках неподалеку от Аяччо таких нагромождений камней над погребальными урнами обнаружено не было; однако земля здесь обрабатывается с давних пор, и вполне возможно, что по этой причине груды камней исчезли. Что же касается расчленения тел или дробления костей, то я предполагаю, что делали это для того, чтобы труп, с одной стороны, занимал меньше места, а с другой — заполнял весь сосуд, предназначенный для его хранения.

Погребальные урны, которые я описал, опираясь на сведения г-на Конти, были найдены на довольно близком расстоянии друг от друга и в довольно большом количестве. Это позволяет предположить, что в месте, известном ныне под названием *Новая часовня*, некогда находилось кладбище какого-то города или, во всяком случае, достаточно многочисленного племени. Я полагаю, господин министр, что было бы весьма интересно произвести раскопки на этой местности. Судя по всему, затраты на это потребуются небольшие, но, быть может, такие раскопки прольют некоторый свет на малоизвестный факт, важный для археологии и истории.

СТАТУЯ В АПРИЧЧАНИ

Мне остается рассказать Вам, господин министр, об одном памятнике, происхождение которого, на мой взгляд, относится к тем временам, когда римляне еще не появились на Корсике.

Возвращаясь из греческой колонии в Карджесе, я остановился возле церкви в Сагоне — ее развалины не представляют большого интереса; меня привело сюда стремление найти *статую рыцаря в шлеме*, которая, как мне сказали, находится где-то по соседству. Я дословно скопировал ее описание, сделанное доктором Деметриусом Стефанополи. Но тщетно я расспрашивал об этой статуе женщин, перебивавших маис на площади перед церковью. По счастью, они направили меня к старику с белой бородою, в некотором отдалении восседавшему на лошади, — местный землевладелец поручил ему охранять собранный урожай. Этот человек и слыхом не слыхал о рыцаре со шлемом на голове, но, заметив, что меня занимает старина, он вызвался показать мне *idolo dei Mori**. Я охотно отдал бы всех рыцарей на свете за возможность полюбоваться на такую диковину и потому поспешил принять его предложение. Мы проделали около четверти мили по дороге, ведущей в Вико; затем переправились через реку Сагоне и, свернув налево, углубились в выжженные заросли: уже издали я увидел нечто вроде античного бога Термина. Моим глазам предстала хорошо отесанная гранитная плита высотой в 2 метра 12 сантиметров и толщиной около 20 сантиметров. Сейчас она была прислонена к стволу какого-то дерева, но нашли ее зарытой в земле — она лежала плашмя на некоторой глубине. Представьте себе плоский камень, который слегка сужается книзу и закруглен там; в его верхней части изваяна, а вернее, вырезана человеческая голова. Выдолбленное в камне лицо уже несколько стерлось. Все же можно различить довольно хорошо очерченные глаза, нос, рот, намеченный лишь одной горизонтальной линией, и остроконечную бородку. Волосы, разделенные на лбу, образуют на уровне глаз два пучка. В этом месте камень шире всего (около 40 сантиметров). Грудь и особенно грудные мускулы явственно обозначены, но вся остальная часть гранитной плиты совершенно гладкая. Сзади волосы у статуи коротко подстрижены и едва закрывают затылок. Лопатки вырублены так же топорно, как и грудь. Словом, это плоский бюст на опоре.

* Идол мавров (итал.).

Возможно, что в тех двух буграх, которые я принял за пучки волос, кто-нибудь усмотрит рожки. Однако неглубокие прямые линии, которые, несомненно, изображают волосы, заметны и на этих буграх, что, думается, подтверждает мои предположения.

Словом, эта статуя, если только ее можно назвать статуей, изваяна очень топорно. И все же черты лица изображены до известной степени правильно, чего не встретишь в совсем уж варварских памятниках. К примеру, между этим бюстом и сардинскими идолами огромная разница: он выполнен с несравненно большим вкусом.

Моим первым побуждением было считать эту статую изображением античного бога Термина и приписать ее римлянам. Но более внимательный осмотр памятника заставил меня отказаться от этого мнения. Прежде всего я отметил необычную форму каменной плиты—она плоская и закруглена книзу, и это дает право заключить, что статуя не должна была стоять вертикально. К тому же остроконечная бородка и два пучка волос говорят о том, что статуя изображает скорее какого-нибудь азиата или африканца, чем римлянина. Если считать бугры по обеим сторонам головы рожками, то можно было бы на худой конец допустить, что бюст изображает Приапа, однако его главный отличительный признак отсутствует. К тому же в этом случае статуя должна была бы иметь опору, а ее нет. Следы обработки, если можно так назвать неглубокие бороздки от ударов резца, заметные сзади, позволяют предположить, что статую должны были обзирать с обеих сторон. Быть может, ее носили во время какого-нибудь варварского обряда, прикрепляя к деревянному шесту... Каких только гипотез нельзя высказать на этот счет! Я не мог получить никаких сведений касательно обстоятельств, при которых ее обнаружили, и предметов, находившихся поблизости. Мой проводник только еще раз повторил тоном человека, уверенного в том, о чем он говорит, что это идол мавров, и присовокупил еще такую побасенку.

Однажды некий пастух обнаружил подобную же статую с такой надписью: *Girami, è vedrai...*; с огромным трудом он перевернул ее и прочел конец надписи: *il go-*

vescio *. Эта побасенка — одна из версий известной истории о лиценциате Хиле Пересе.

Так как мой проводник упорно толковал не о камне, а о статуе, которую он к тому же собственной властью нарек идолом мавров, то я склонен думать, что он уже прежде видал изваяния, похожие на статую из Априччани. Я не разделяю его уверенности, но полагаю, что этот камень изображает какого-либо божка или героя — лигурийского, ливийского, иберийского или корсиканского. Чтобы с полной уверенностью судить о его происхождении, надобно подождать, пока случай не позволит обнаружить другой памятник такого же рода. А главное, станем надеяться, что можно будет внимательно осмотреть местоположение этого нового памятника и выяснить все относящиеся к нему обстоятельства, которые здесь, видимо, совершенно забыты.

Как бы то ни было, статуя из Априччани заслуживает того, чтобы ее сохранили, и я попросил префекта Корсики позаботиться о том, чтобы ее перевезли в Аяччо.

При археологических разысканиях существуют наблюдения, которые я назвал бы отрицательными; однако они имеют немаловажное значение. Так, например, отсутствие в данной местности тех или иных памятников — факт не менее интересный для науки, чем, скажем, существование подобных памятников в другой местности.

Я только что описал различные сооружения из камней, — видимо, кельтского происхождения; я говорил о переселении на Корсику различных народов из Азии, Африки и Европы; упоминал и о старинных связях корсиканцев с обитателями Сардинии: установление таких связей также входило в тот план исследований, какой я наметил себе для того, чтобы всесторонне проверить все факты и предания. Находят ли на Корсике памятники, которые чаще всего встречаются в кельтских странах? Или в тех странах, где, как предполагают, основывали свои колонии финикийцы? Существует ли какое-либо сходство между памятниками Корсики и Сардинии? Между памятниками Корсики и тех областей, где жили этруски? Таковы главные вопросы, которые я ставил перед собою.

* Переверни меня и увидишь... оборотную сторону (итал.).

Во Франции мы считаем признаками одной и той же цивилизации и дольмены и некоторые примитивные крепостные сооружения, каменные и медные топоры, орудия из кремня, различное оружие и украшения, выполненные на редкость топорно. Сосуды, статуи, инструменты особой формы, некоторые примечательные сооружения часто находят в странах, где обитали финикийцы, а также в тех, где они побывали. Памятники особого и неповторимого типа свидетельствуют о древней цивилизации этрусков. Высыщающиеся во многих местах Сардинии необычные сооружения, именуемые *нурагами*, бронзовые статуэтки Ваала, Молоха и других финикийских богов, могилы, окруженные камнями конической формы²⁰, также служат воспоминаниями о верованиях и нравах, аналогию которым было бы небезынтересно отыскать.

Насколько мне известно, на Корсике не встретишь ничего подобного. Хотя я самым тщательным образом собирал сведения о таких памятниках, это не привело ни к каким результатам. Понятно, впрочем, что я не могу утверждать со всей определенностью, будто на Корсике вовсе нет памятников, о которых я говорил выше. Но я могу сказать одно: опросив на сей предмет множество людей, я неизменно получал отрицательный ответ. Полагают, будто некоторые факты ускользают от внимания простолюдинов, но на самом деле они поражают умы даже самые непросвещенные. Порою простолюдины не понимают важности тех или иных памятников либо приписывают им ложное, а то и просто нелепое происхождение, но они всегда их замечают и помнят о них. К примеру, во Франции я не знаю такого селения, где внимание жителей не привлекла бы своеобразная форма так называемых кельтских топоров. Там их называют *громовыми камнями*, здесь — *топорами колдунов*, но нигде и никогда не смешают с простыми кремнями, среди которых их нередко находят. На Корсике самые незначительные *stantare* хорошо известны всем пастухам с гор. Этих людей поражает форма римских кирпичей, и они превосходно отличают их от современных. Вот почему вполне вероятно, что если бы на острове встречались предметы наподобие тех, о которых я упоминал, то они привлекли бы внимание любопытных и оставили бы по себе хоть какую-нибудь память.

РИМСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Плиний насчитывает на Корсике тридцать три города (*civitates*) и две римские колонии — Мариану и Алерию. Сомнительно, чтобы под словом *civitates* он подразумевал города в современном понимании этого слова. Более вероятно, что он говорил о племенах и племенных образованиях — как оседлых, так и тех, которые еще вели кочевую жизнь. Самым старинным из городов Корсики была Алерия; еще до первого вторжения римлян на этот остров Алерия, видимо, была уже обнесена крепостною стеной, о чем свидетельствует знаменитая надпись на гробнице Л. Сципиона²¹:

NEC CEPIT CORSICA ALERIAQUE URBE *.

Римляне, по-видимому, никогда не уделяли большого внимания Корсике. Я уже приводил свидетельство Страбона по поводу охоты на людей и торговли рабами, которая велась в его время. «Очень дешевые и очень дурные рабы, — наивно замечает географ, — ибо они предпочитают скорее умереть, чем примириться со своим новым положением». Я нигде не встречал упоминания о том, что жители Корсики поставляли рекрутов в войска Римской империи. С острова вывозили только рабов, воск да мед, и это обстоятельство дает веские основания предполагать, что владыки древнего мира никогда не стремились пустить здесь глубокие корни. Добавлю еще, что мне ни разу не приходилось видеть край, некогда находившийся

* Овладел Корсикой и укрепленным городом Алерией (лат.).

под властью римлян, где сохранилось бы меньше следов их искусства и цивилизации, нежели на Корсике.

На равнинах Мариана и Сагоне, а также на равнине возле устья реки Лиамоне я обнаружил обломки черепицы с крючками, они часто попадаются на равнине Мариана и редко на двух других равнинах. Там, где находился древний город Алерия, таких обломков особенно много — больше, чем в любом другом месте Корсики. Здесь находят также черепки гончарных изделий из черной и красной глины: порою они очень тонкие и покрыты рельефным узором; попадаются тут и осколки античного стекла, склянки, обломки мрамора, небольшие изделия из бронзы, топорные и чаще всего сломанные, а также монеты²² и камни с выгравированными на них изображениями²³. Я сам обнаружил половину мельничного жернова. Еще больше повезло г-ну Вожену, инженеру ведомства путей сообщения: он нашел небольшую голову статуи из белого мрамора; она недурно изваяна и относится, по всей вероятности, к периоду поздней Римской империи. Наконец, в стенах современного городка Алерии я заметил несколько обломков колонн (правда, их было совсем немного) и большие каменные глыбы, очевидно, принадлежавшие в прошлом каким-либо античным сооружениям. Такие фрагменты постоянно встречаются в тех местах, где некогда находились римские города, но даже в Алерии они редки, а в остальной части Корсики, насколько мне известно, их и вовсе нет, если не считать равнины Мариана, где несколько гранитных колонн и архивольты вокруг апсиды в маленькой церкви св. Пертео, по-моему, римской работы. Я еще скажу о них, когда буду описывать эту часовню.

РИМСКИЕ БАНИ

Говорят, будто возле Лаватоджо, в месте, называемом Кальданика, обнаружили фундамент каких-то терм. Сам я там не был и не знаю, сохранился ли до сих пор этот фундамент.

На равнине Мариана, между церковью «Каноника» и церковью св. Пертео, я видел развалины каменного

сооружения прямоугольной формы с двумя небольшими полукруглыми помещениями, отделенными от главной части здания невысоким порогом. Кладка стен неправильная, среди камней время от времени попадается черепица. Нигде не видно следов облицовки. Изнутри полукруглые помещения (их диаметр — 1 метр 30 сантиметров) выложены очень толстым слоем красноватого цемента: они, видимо, были предназначены для воды. Возможно, то были бассейны при банях. Несмотря на отсутствие облицовки, я считаю это каменное сооружение римским.

РАЗВАЛИНЫ АЛЕРИИ

В Алерии находятся развалины несколько более интересные, но природу их, к сожалению, определить очень трудно. После того, как я опишу эти развалины, я отважусь высказать несколько догадок касательно их происхождения.

Древний город, как и современный форт, вокруг которого виднеется несколько домов, вырос неподалеку от моря, на холме, довольно крутом на севере и постепенно понижающемся к востоку. Тавиньяно²⁴ — неглубокая, но довольно широкая река — течет в северной части города и впадает в море в трех четвертях мили от порта. На севере расположен *Пруд Дианы* (примечательное название!), а на юге — пруды дель Сале и Урбино; существует мнение, что из-за них эта часть побережья очень вредна для здоровья. И в самом деле, сразу же после жатвы городок совершенно пустеет, а лихорадка неизменно поражает всякого, кто вздумает провести здесь ночь. Когда я приехал в Алерию, то застал там только какого-то хилого старика; местные землевладельцы платят ему за то, что он стережет зерно, хранящееся в домах. Даже в форте и в помещении таможи не было ни души. Между тем равнина эта весьма плодородна, хотя почва здесь песчаная; о ее плодородии можно судить по высоким и мощным зарослям, покрывающим землю всюду, где давно уже не проходил плуг землепашца.

Крепостные стены, которые нетрудно разглядеть почти всюду, местами повторяют очертания холма; древ-

ний город был, видимо, разделен на две части — остатки фундамента какой-то стены отделяют верхнее плато от северной крепостной ограды, со стороны реки Тавиньяно. По всей вероятности, тут находилось предместье, позднее вошедшее в городскую черту²⁵. Стены неправильной кладки, толстые и шероховатые; по углам высятся круглые башни. Я нигде не видал следов облицовки; насколько можно судить по таким бесформенным развалинам, стены, как мне показалось, походят скорее на средневековые, а не на римские укрепления. Именно внутри этой крепостной ограды, где ныне выращивают злаки, находят монеты и глиняные черепки, о которых я говорил выше.

Направляясь к юго-юго-востоку от форта, замечаешь четырехугольный столб, на котором видны опоры, уцелевшие от двух арок; высота этого столба — около трех метров, ширина его — один метр; облицовка столба выложена сетчатой кладкой, посередине она прерывается слоем крупного и хорошо обтесанного песчаника. По-моему, нет никаких сомнений в том, что столб этот — фрагмент какого-то римского здания, его портал или портик. Но тотчас перед наблюдателем возникает своеобразная проблема. Неподалеку от этого широкого столба, но чуть сбоку от него²⁶, видны развалины четырехугольного сооружения размером 30 на 40 метров; судя по характеру кладки, оно было возведено совсем в другое время. Сооружение это называют *Sala reale* *. Трудно понять, почему, воздвигая это сооружение, не разрушили портал или портик, от которого доныне уцелел лишь столб, — ведь оно, несомненно, более позднего происхождения. Однако, возводя его, по какой-то причине, которую объяснить сегодня невозможно, решили сохранить уже существовавшие арки, хотя они и были расположены под углом к новому сооружению.

Кладка стен *Sala reale* еще более шероховатая и топорная, чем кладка крепостных стен древнего города. Это *opus incertum* **; причем кладке пытались придать характер облицовки, помещая снаружи камни с более гладкой стороной. В некоторых местах стены сооружения

* Главная (царская) зала (итал.).

** Неправильная кладка (лат.).

и сейчас еще достигают полутораметровой высоты (толщина их — не менее 90 сантиметров), но кое-где они едва выступают над землею. Помимо двойной арки, о которой я упоминал, нигде не заметно входа.

В середине стены, обращенной на север, совсем недавно, как мне сказали, был проделан ход: пробираясь по нему ползком, попадаешь в сводчатое подземелье длиной около 10 и шириною около 4 метров.

Хотя подземелье это забито землею и мелким щебнем, его высота достигает в замке свода 1 метра 60 сантиметров. Жители современной Алерии проделали в боковых стенах подземелья несколько углублений в надежде отыскать там клад; можно не добавлять, что они ничего не нашли. Я чуть было не забыл упомянуть еще об одной особенности подземелья: в нем нет двери, поэтому можно предположить, что оно было построено с единственной целью — сделать менее сырým возвышавшееся над ним сооружение²⁷.

По-моему, *Sala reale* не может быть делом рук римлян, ибо даже во времена наибольшего упадка они возводили свои самые маловажные здания с большим тщанием, или, лучше сказать, с меньшим небрежением. Определить время, когда было воздвигнуто это необычное сооружение, нелегко, и я отважусь на это лишь после того, как сравню некоторые его характерные признаки с такими же признаками находящимися по соседству развалин; эти сильно поврежденные руины называют здесь *цирком*.

Метрах в четырехстах или пятистах от *Sala reale* высятся обломки каких-то стен; форма их фундамента овальная, даже почти круглая, — это наводит на мысль, что здесь находился небольшой амфитеатр. И сейчас еще можно различить три каменные ограды; они разного диаметра, но с общим центром. Ныне все они настолько разрушены, что трудно проследить их периметр. Наружная ограда то достигает полутораметровой высоты, то вовсе исчезает, и тогда становятся видны те части средней или внутренней ограды, которые еще уцелели на поверхности земли. Огромные обломки стен, что валяются на земле по обе стороны оград, груды камней, кучи песка, густой, непроходимый кустарник — все это еще больше затрудняет всякую попытку опре-

делить первоначальную форму и размеры сооружения. Тем не менее я предполагаю, что большая ось этой овальной ограды достигала 23 метров, а малая — 19 или 20 метров. Расстояние между оградами составляло около трех метров. Мне не удалось обнаружить никаких следов ступеней, служивших скамьями. Не сохранилось здесь также ни сводов, ни арок, лишь в северной части ограды можно различить пята какой-то арки с несколькими клинчатыми кирпичами.

Кладка этих каменных стен почти так же топорна и неуклюжа, как кладка стен *Sala reale*, но только в них замечаешь, пожалуй, больше крупной черепицы (она достигает в длину двух футов), обычно измельченной и беспорядочно вкрапленной среди камней.

Цирк этот — я не могу придумать иного назначения трем каменным оградам — построен на неровной местности: она круто поднимается на северо-востоке и понижается к западу.

Можно ли приписывать римлянам столь топорные сооружения? По-моему, нельзя. Главный довод, на котором зиждется мое мнение, вовсе не отсутствие облицовки стен, ибо из-за применения сланца облицевать их было бы очень трудно; я не могу поверить, что в какую бы то ни было эпоху римляне до такой степени утратили собственные принципы зодчества. В тех странах, где не находилось подходящего строительного материала, они заменяли его кирпичом либо черепицей, которые регулярно перемежались с неправильной каменной кладкой. Наконец, даже столб *Sala reale* доказывает, что и на Корсике они не отказались от своей обычной системы зодчества.

Предположение, будто этот амфитеатр уцелел от греческого или этрусского города Алерии, представляется мне еще менее убедительным, ибо черепица и обтесанные камни, вкрапленные в его стены, безусловно, некогда находились в стенах каких-либо римских сооружений.

Грубый свод подземелья *Sala reale*, похожий на своды самых старинных мавританских сооружений в Кордове и Гранаде, заставляет меня предположить, что развалины Алерии, вернее всего, арабского происхождения. Город этот несколько раз захватывали мавры, и они по-

долгу находились в нем. Первые корсары, овладевшие Алерией, не оставили в ней камня на камне, но, когда число их соплеменников, поселившихся здесь, сильно возросло, им пришлось заново отстраивать римские сооружения, превращенные в развалины. Мавры были страстными любителями боя быков и поединков между людьми, и потому нет ничего необыкновенного в том, что они построили для этого амфитеатр либо попросту реставрировали прежний. Судя по его скромным размерам, можно заключить, что население Алерии в ту пору, когда амфитеатр сооружали, было очень невелико: думается, вряд ли он когда-либо вмещал более двух тысяч зрителей²⁸.

Утверждают, что в устье реки Тавиньяно в песке обнаружили развалины старинного мола, сложенного из больших каменных глыб; по другим сведениям, это быки места, некогда соединявшего Алерию с *Прудом Дианы*. Вряд ли стоило устраивать гавань в устье Тавиньяно, вот почему та версия, согласно которой гаванью Алерии служил *Пруд Дианы*, представляется мне более правдоподобной. Глубина пруда и высота берегов делают его вполне пригодным для такой цели: как известно, он соединяется с морем при помощи узкого пролива. Рассказывают, будто время от времени из пруда вылавливают железные кольца и куски свинца. Когда я спросил об этом единственного обитателя Алерии, он сказал мне, что и сам частенько подбирал на берегу куски свинца, но железные кольца ему не попадались. По его мнению, свинец этот прикрепляли к рыбацким сетям, ибо формой своей он ничем не отличается от свинцовых грузил, и ныне служащих той же цели. Между прочим, возле устья реки Тавиньяно и на берегах *Пруда Дианы* все еще находят римскую черепицу.

КАМЕНОЛОМНЯ НА ОСТРОВЕ КАВАЛЛО

Ни в самом Бонифачо, ни в его окрестностях мне не только не удалось обнаружить следы древнего города Палла, но даже не удалось набрести на какие-либо воспоминания о нем, хотя во времена владычества римлян

город этот играл определенную роль как порт, особенно для сообщений между Корсикой и Сардинией. Он был одним из конечных пунктов единственной в то время дороги на Корсике: она начиналась в долине Мариана и шла, видимо, вдоль восточного побережья острова; длина ее достигала ста двадцати пяти миль. Обычно считают, что город Палла находился в том самом месте, где ныне находится Бонифачо, но единственным основанием для такой гипотезы служит местоположение Бонифачо: этот город отделен от Сардинии каналом шириною всего в три мили²⁹.

Область Бонифачо — редкое на Корсике место, где каменистая почва почти сплошь состоит из сланца и гранита. Лишь в самом городе и в его ближайших окрестностях на площади в несколько миль почва известняковая. На небольших островах, разбросанных между Корсикой и Сардинией, вновь появляется гранит. Он красноватого оттенка и легко поддается обработке, а на маленьком острове Кавалло, расположенном в нескольких милях к востоку от Бонифачо, залегает мощный пласт серого, очень плотного мелкозернистого гранита, совершенно одноцветного, без каких-либо пятнышек. Предполагают, что римляне, оценив превосходные качества этого гранитного пласта, начали его разрабатывать. Однако уже в незапамятные времена работы эти были приостановлены, и гранитные глыбы, вырубленные в каменном массиве, так и остались лежать в каменоломне³⁰.

Высадившись в небольшой бухте на юге острова, сразу же обращаешь внимание на правильную призматическую форму камней, которыми усеян берег моря. Вскоре начинаешь понимать, что их сбрасывали с вершины утеса после того, как слегка обтесывали на месте, в каменоломне. В большинстве своем они напоминают толстые четырехугольные плиты. Утес, из которого в старину вырубали гранит, представляет собою монолитную глыбу длиною свыше сорока и шириною в двенадцать метров. Посреди утеса зияет большая, глубокая впадина; она свидетельствует о том, что гранит вырубали на пространстве высотой приблизительно в семь метров и шириною от двенадцати до пятнадцати метров, и, судя по всему, все же так и не достигли основания утеса. В этой каменоломне еще валяется несколько призматических гра-

нитных глыб длиной от восьми до девяти метров; они едва обтесаны и, очевидно, были предназначены для изготовления колонн, плит, коротких столбов без капителей, пилястр; одна девятиметровая колонна особенно привлекла мое внимание необычным способом обработки. Вместо того чтобы обтесывать гранит, как это делаем мы, превращая его в четырехгранную или восьмигранную призму, эту колонну, по всей видимости, обрабатывали ударами тяжелой кувалды, стремясь придать ей цилиндрическую форму; я заметил, что астрагал колонны сохранен в неприкосновенности. В результате такого варварского способа, если бы сейчас вздумали полировать эту колонну, пришлось бы сильно уменьшить ее диаметр.

В центральной части острова видна грудa пепла, шлака и камней, которые явно подвергались воздействию огня; все это, думается, указывает на то, что здесь некогда помещалась кузница, где изготовляли или чинили орудия и инструменты, применявшиеся при разработке каменного карьера³¹.

Я нигде не видал незаконченных римских колонн; вероятно, они существуют где-либо в Италии и даже во Франции; однако я не могу поверить, что всюду прибегали к столь же варварскому способу их обработки, как на острове Кавалло. Гораздо правдоподобнее предположить, что этот способ применяли древние обитатели острова, которые, судя по всему, мало заботились об изготовлении колонн³².

ГРОБНИЦЫ НА ХОЛМЕ СЕРВАРИЧО И В БОНИФАЧО

Я не знаю, к какому времени отнести несколько гробниц неизвестного происхождения, разбросанных на склонах холма Серваричо, в коммуне Фигари. Это, собственно говоря, каменные ящики, состоящие из гранитных плит длиной в 2,5 метра и шириной в 0,8 метра, пригнанных друг к другу под прямым углом, подобно доскам гроба. Крышки зачастую лежат рядом с гробницами — насколько я понимаю, эти саркофаги не могут иметь иного назначения. Гробницы, которые то и дело попадаются

в окрестностях Арля, Апта и неподалеку от многих римских городов, всегда бывают выдолблены в одном камне. В Серваричо, без сомнения, отдали предпочтение иному способу, ибо гранит здесь легко расколоть с помощью клиньев. Полное отсутствие надписей и украшений затрудняет всякую попытку определить время, когда были изготовлены гробницы. С ними не связано никакое предание, и я не встречал ни одного человека, который присутствовал при вскрытии хотя бы одного саркофага. Гробницы эти могут принадлежать и к ранней римской эпохе и к первым векам христианства.

В церкви св. Марии, в Бонифачо, можно увидеть гробницу из белого мрамора, украшенную несколькими посредственными изваяниями; я отношу ее к III или IV веку. Быть может, гробницу эту привез на Корсику какой-нибудь епископ. Она ничем не отличается от тех саркофагов времен поздней Римской империи, какие находятся во всех музеях. На Корсике я больше нигде не встречал таких гробниц.

ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ЦЕРКОВНЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХРАМАХ КОРСИКИ

Тщетно пытался я собрать какие-либо исторические сведения о главных церквях Корсики; мне удалось лишь натолкнуться на не слишком надежные предания, которые зачастую противоречат характеру самих памятников. Как правило, возникновение здешних церквей относят к совсем уж далеким временам, и происходит это, несомненно, вследствие широко распространенного недоразумения: люди смешивают основание первоначального храма с последующими его реставрациями и перестройками, происходившими гораздо позднее. Чаще всего считают, что наиболее старинные церковные здания были воздвигнуты в эпоху окончательного изгнания мавров: после этого на острове, видимо, наступил период, отмеченный усилением религиозного пыла, который тут, как и всюду, сопровождался сооружением множества храмов. По мнению корсиканских летописцев, это великое событие произошло в начале IX века; однако более чем вероятно, что сарацины, как мы уже отмечали в начале своих записок, были окончательно изгнаны лишь в XI веке. Среди тех церквей, какие мне довелось осмотреть, нет ни одной, которую я был бы склонен отнести к более ранней эпохе. Самые старинные здешние храмы отличаются всеми характерными признаками того времени, и, если только не предполагать всерьез, что возро-

ждение искусств на Корсике началось прежде, нежели на европейском континенте, то именно XI век можно считать наиболее отдаленным периодом, когда могли возникнуть религиозные памятники, которые нас занимают. Если не забывать о том, что материалы, пригодные для возведения храмов, на Корсике очень редки и применять их для этой цели весьма нелегко, что арабы, покидая остров, разрушили все его главные города, что местные жители, бедные, невежественные, разобщенные³³, измученные непрерывными набегами и вторжениями, были вынуждены призвать чужеземцев, дабы те помогли им избавиться от сарацин, то, по-моему, всякий человек, какого бы высокого мнения о талантах корсиканцев он ни придерживался, без колебаний признает неосновательным утверждение, будто Корсика была колыбелью романской архитектуры. С другой стороны, нельзя не заметить, что этот архитектурный стиль, несомненно, завезенный на Корсику с материка, укоренился тут сильнее и на более долгий срок, чем в любой другой стране: здесь можно встретить здания XIV и даже XV века³⁴, еще сохраняющие множество характерных черт, которыми отмечен во Франции стиль ранней романской архитектуры; я имею в виду, например, форму арок, окон, многие детали орнамента и тому подобное. Этим и объясняется, почему так трудно, а зачастую почти невозможно точно установить время возникновения того или иного памятника.

Образец церковного здания, утвердившийся на Корсике в XI веке и, можно сказать, упрочившийся здесь, следует, по-моему, искать в Тоскане; византийские храмы Пизы — это те оригиналы, с которых корсиканские зодчие делали, если можно так выразиться, *уменьшенные копии*. Между церквями Пизы и Корсики не заметно иных различий, помимо тех, которые объясняются неодинаковыми их возможностями. Понятно, что народ отважных мореплавателей, со страстью разыскивавший античные обломки на собственной земле и привозивший их на кораблях издалека, чтобы украшать ими храмы своей родины, народ, чьи богатства умножали торговля и мануфактуры, мог с гораздо большим успехом развивать искусства, нежели народ пастухов и воинов, живший в стране без развитых промыслов, все богатство которой

составляли стада и плодородная земля, увы, постоянно опустошавшаяся поработителями. В ту эпоху, когда пизанцы обосновались на Корсике и установили нечто вроде протектората над нею, островитяне обрели некоторый покой, дотоле им неведомый. И только с той поры жители Корсики получили возможность думать о подражании искусствам того народа, который принес им цивилизацию.

Вот почему я, как и Филиппини, не сомневаюсь, что именно в тот период были воздвигнуты в большинстве своем храмы, которые я собираюсь сейчас описать. Возможно, и даже весьма вероятно, что более древние церкви некогда существовали в тех же местах, но ни в коем случае нельзя смешивать те и другие. В средние века самым естественным и распространенным явлением был обычай строить храмы в тех самых местах, где существовали другие, уже освященные церковные сооружения, которые либо были к этому времени разрушены, либо стали казаться слишком тесными и топорными с точки зрения новых, более утонченных вкусов, возникших в результате общения с пизанцами.

РОМАНСКИЕ ЦЕРКВИ XI И XII ВЕКОВ

ЛА КАНОНИКА *

Я уже говорил, что не видел на Корсике церкви, которую можно было бы отнести ко времени до XI века. Сейчас я намереваюсь описать наиболее примечательные церкви этой поры и начну с той, которая полнее всего воплотила черты архитектуры, свойственной этому острову, и потому может считаться подлинным образцом здешних храмов.

Соборная церковь, расположенная на равнине Мариана, в месте, где, по преданию, находилась колония, основанная Марием, ныне стоит на отлете от ближайшего селения среди широко раскинувшихся вокруг возделанных

* Соборная церковь (корсик.).

полей. Кровля церкви разрушена, двери ее не сохранились, но каменные стены стоят прочно и обещают простоять еще очень долго.

Архитектура храма отличается простотою, однако простоте этой не чуждо изящество. Это базилика длиной в тридцать два и шириной в двенадцать метров, разделенная на три нефа четырехугольными столбами, высота которых непомерно велика в сравнении с их толщиной (пятьдесят пять сантиметров); на столбах покоятся полукруглые арки. При взгляде на храм прежде всего поражает его необычайная легкость, и в этом смысле он выгодно отличается от большинства церковных сооружений византийского стиля. На столбах нет никаких украшений, если не считать резьбы на абаках³⁵.

Перед полукруглой апсидой висится коробовый свод, венчающий одну из травей главного нефа. Симметрические траваи боковых нефов перекрыты крестовыми сводами, пяты которых опираются на узорчатые консоли, отмеченные ранним византийским стилем. Все эти своды, как и сводчатая ниша апсиды, сложены из щебня. Это единственные своды в храме, ибо над всей остальной частью главного нефа, а также боковых нефов высилась деревянная кровля. Как видно, пожар — мне не удалось установить его дату, но, думаю, что это произошло давным-давно³⁶, — сильно повредил всю верхнюю часть базилики. Даже ныне еще заметны последствия этого пожара, в северо-западной стороне церкви камни в нескольких травах заменены кирпичами.

Окна главного нефа расположены на разном расстоянии друг от друга, их проемы редко совпадают с осью арок. Окна боковых нефов соответствуют окнам главного нефа, но так узки, что напоминают бойницы. Лишь одно окно, пробитое в центре апсиды, украшено небольшим архивольтом, образованным тремя клинчатыми кусками белого мрамора; замо́к свода над всеми остальными окнами состоит из одного камня, которому придана полукруглая форма.

В церкви четыре входа; главный портал находится в середине западного фасада, другой вход пробит посреди южного фасада; наконец, еще два входа проделаны один в южной, другой в северной стене храма: две эти последние двери узкие, низкие и четырехугольные, над

каждой из них виднеется широкая перемычка, заканчивающаяся тупым углом. Архивольт, замыкающий тимпан, лишенный каких бы то ни было украшений, высится над входом, расположенным посреди южной стены церкви. Над западным входом — два резных архивольта, о которых я скажу дальше.

Четыре пилястры делят главный фасад в нижней его части; две пилястры очень широкие и соответствуют стенам боковых нефов; две другие — меньшего размера и соответствуют внутренним столбам нефа. У тех и у других верхняя часть отбита. Дверь, находящуюся в центре фасада, обрамляют две небольшие пилястры с приплюснутыми капителями из белого мрамора, украшенные грубым орнаментом в виде пальмовых листьев. На перемычке также видны резные пальмовые листья с причудливыми завитками. Другие завитушки, форма которых напоминает пересекающиеся круги, украшают нижний архивольт. На верхнем архивольте, несколько более широком, топорно изображены различные животные. Среди них можно увидеть грифонов, оленя, которого преследуют псы, агнца, несущего хоругвь с монограммой Христа. Все эти животные грубо высечены прямо в камне и отмечены печатью раннего византийского стиля. Что касается тимпана, то на нем нет никакого орнамента.

На уровне кровли боковых нефов тянется длинный карниз: он делит главный фасад на две части, а затем идет вдоль боковых фасадов. Над карнизом виднеется узкое оконце. Затем начинается фронто́н с несколько более тупоконечной вершиной, чем у фронтонов европейских церквей, воздвигнутых в ту же эпоху; посреди этого фронтона пробито окно или, вернее, бойница в форме креста. Возможно, что фронто́н этот, верхняя часть которого сильно разрушена, был реставрирован после пожара, о котором я уже упоминал.

По сравнению со столь бедно украшенным фасадом апсида может показаться куда более изысканной. Ее окружают девять пилястр, они поддерживают аркаду с высоким полукруглым сводом, расположенную под карнизом. Коринфские капители этих пилястр выполнены весьма посредственно, они едва обтесаны, только две из них — узорчатые. Собственно говоря, две эти капители представляют собою небольшие барельефы, топорно вы-

сеченные прямо на камне; один из барельефов — в южной части апсиды — изображает двух грифонов; другой, в северной ее части, — быка и звезду перед ним. Быть может, бык этот — символический знак, указывающий на месяц, когда была воздвигнута или освящена церковь, а, возможно, это лишь причуда ваятеля.

Внутри каждой из полукруглых арок, которые покоятся на пилястрах, видны две арки поменьше с таким же полукруглым сводом. Эта декоративная аркада, каких очень много на Корсике, напоминает некоторые сооружения в Италии и в прирейнских провинциях. Такая же декоративная аркада украшает боковые стороны восточного фронтона.

Способ кладки, примененный в этом храме, весьма примечателен. Стены неправильной кладки облицованы с обеих сторон плитами, причем в одном ряду плиты уложены в ширину, а в другом — в высоту. Плиты, старательно обтесанные и необыкновенно тщательно пригнанные одна к другой, — из кремнистого песчаника, мелкозернистого и очень твердого. Издали эти неодинаковые по ширине ряды плит легко различить: они по-разному отражают свет; кроме того, лишайники покрывают одни плиты гуще, чем другие. Поэтому стены храма как бы переливаются двумя цветами.

Возле южной стороны апсиды можно заметить три большие плиты, которые вделаны в стену как будто случайно: по крайней мере, мне показалось, что они тут не на месте. Плиты эти изукрашены орнаментом в виде звезд, ромбов, концентрических кругов; все украшения вырезаны в камне, а их углубления заполнены какой-то мастикой или зеленоватым камнем очень темного оттенка. Возможно, что плиты некогда составляли часть старинного фронтона церкви, ибо ее нынешний фронтон носит следы реставрации. Хочу отметить характерную особенность: отсутствие контрфорсов и даже пилястр на боковых фасадах этого храма. Вообще контрфорсы редко применяются в корсиканских церквях.

Я забыл сказать, что в южной части церкви к сводчатой травее бокового нефа примыкает квадратный каменный массив; каждая его сторона равняется шести метрам; на высоте трех или четырех метров от пола он разрушен. Я полагаю, что это основание колоколенки. По-

верив какому-то преданию, крестьяне, обрабатывающие окрестные поля, вообразили, будто в этом каменном массиве запрятан клад. Они просверлили в нем несколько отверстий; нечего и говорить, что все их поиски не привели ни к какому результату. Так как ни внутри церкви, ни с наружной стороны колоколенки не видно никаких следов каменных ступеней, то следует заключить, что на колоколенку поднимались по приставной лестнице. Именно таким способом до сих пор еще проникают во многие башни, построенные на берегу моря. Несомненно, что отсутствие наружной лестницы, а также, быть может, сама форма церковных окон, напоминающих бойницы, объясняется соображениями безопасности. Ведь этому храму, находящемуся неподалеку от берега моря, особенно угрожала опасность пиратских набегов³⁷.

Такова старинная соборная церковь на равнине Мариана. Ее орнамент ничем не отличается от орнамента самых старинных наших византийских церквей, он только еще беднее; главное достоинство этого здания — его легкость и соразмерность всех частей; ему присуща некая античная простота, отмеченная хорошим вкусом, который не всегда наблюдаешь в иных, гораздо более пышных храмах. Я хочу перечислить главные отличительные признаки здешней церкви: здание в форме базилики, две трапезы в боковых нефях, заменяющие капеллы, почти полное отсутствие сводов, окна в виде бойниц, облицовка стен, заменяющая орнамент, резьба прямо на камне, скромные украшения, выполненные неуверенной рукою.

ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕРТЕО

Небольшая церковь св. Пертео, находящаяся по соседству со старинной соборной церковью на равнине Мариана, построена, судя по всему, приблизительно в то же время; во всяком случае, она очень похожа на нее как своим внутренним устройством, так и характером кладки, формой окон и дверей, а также стилем скульптурных украшений. В церкви св. Пертео всего один неф, однако с каждой стороны апсиды виден полуразрушенный свод, указывающий на то, что здесь, как и в соседней соборной церкви, некогда помещались капеллы; это свидетельствует о традиционном устройстве алтарной части хра-

ма, которое было соблюдено, несмотря на различие в плане обеих церквей. Нынешнее состояние их весьма схоже: обе церкви стоят без кровли, двери сняты. Как видно, и та и другая пострадали от пожара. Западный фасад церкви св. Пертео лишен всякого орнамента, если не считать перемычки с грубыми резными украшениями; перемычка эта покоится на двух небольших приплюснутых капителях, опорные столбы не сохранились. С южной стороны в неф ведет второй вход; перемычка над ним украшена топорным барельефом, на котором изваяны два льва, разделенные то ли деревом, то ли чем-то еще в этом роде. Я спешу перейти к апсиде — единственной по-настоящему интересной части этой церкви. Снаружи ее окружают колонны из полированного гранита с коринфскими капителями белого мрамора, на них опираются белые мраморные арки с довольно богатыми резными украшениями в стиле поздней Римской империи.

Сравните скульптурные украшения этих капителей и архивольтов с орнаментом остальной части церкви или с тем, какой можно увидеть в находящейся неподалеку соборной церкви, и вы сразу заметите, что украшения апсиды выполнены с несравненно большим мастерством; невозможно допустить, будто и те и другие резные украшения относятся к одному и тому же времени. Мне думается, что орнамент апсиды состоит из античных фрагментов, прежде находившихся, без сомнения, в городе Мариана.

Колонны глубоко встроены в стену апсиды, которую покрывает толстый слой штукатурки, между тем как в остальной части базилики кладка стен такая же, как в соседней соборной церкви. Поэтому можно предположить, что обе части церкви св. Пертео возведены в разное время, однако я склонен приписать это различие либо старинной реставрации апсиды, либо (что еще более вероятно) неумелости каменщиков, которым оказалось не под силу обтесать плиты для полукруглой стены.

Я заметил, что эти колонны отполированы только с внешней стороны; стало быть, их с самого начала предполагали встроить в стену апсиды.

Обе церкви в долине Мариана находятся в ведении властей департамента, но так как они стоят на отлете и удалены на две мили от ближайшего селения, то

нечего и думать о том, чтобы вновь открыть их для богослужения; очень трудно найти для них какое-либо применение. Летом пастухи, пасущие скот на равнине, загоняют в церкви свои стада, что наносит определенный ущерб зданиям. Этому надо бы положить конец, навесив двери. А затем уже можно будет позаботиться и о кровле. Что же касается толстых и прочных стен, то они пока что не внушают никаких опасений.

ХРАМ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ И ЦЕРКОВЬ СВ. КИЛИКИЯ

(Карбини)

Храм Иоанна Крестителя — приходская церковь селения Карбини — похож на только что описанные мною церкви; я полагаю, что храм этот возведен либо одновременно с ними, либо, во всяком случае, немного позже.

К концу XIV века, как сообщает Филиппини, городок Карбини был средоточием религиозной секты, которая насчитывала множество приверженцев в различных местах Корсики. Членов секты именовали иоаннитами — возможно, по названию этого храма, где они собирались. Однако более вероятно, что происходило это потому, что по примеру некоторых других еретиков члены секты признавали только евангелие от Иоанна, или потому, что они толковали его на свой лад. Если верить нашему славному летописцу, у иоаннитов все было общее: земля, деньги и даже жены. По ночам они собирались в этом храме, после богослужения гасили огни и предавались чудовищным оргиям. Впрочем, подобное обвинение сплошь да рядом выдвигали против всех тайных сект; первым христианам долгое время приходилось защищаться. Как бы то ни было, папа прислал из Авиньона своего легата с тем, чтобы отлучить от церкви иоаннитов. Тот прибыл в сопровождении солдат, и солдаты истребили членов секты всех до одного. Городок Карбини опустел, позднее тут поселились семьи, прибывшие из Сартене.

В храме Иоанна Крестителя всего один неф длиной в 20 и шириной в 8 метров; он освещен узкими, как бойницы, окнами и покрыт кровлей современного образца; вскруг его апсиды нет боковых капелл. Снаружи кладка

здания правильная, камни уложены ровными рядами³⁸, внутри же шероховатая и неправильная.

Фасад храма чрезвычайно прост, лишен украшений, ничем не примечателен. Я обратил внимание лишь на четырехугольный вход, увенчанный полукруглым архивольтом.

Совсем рядом с храмом Иоанна Крестителя, на расстоянии всего в 1 метр 25 сантиметров, видны руины другой церкви, носящей имя св. Киликия. Церковь эта такой же формы, у нее такая же кладка стен, только размер здания чуть меньше. Во Франции можно встретить немало церквей, стоящих столь же близко друг от друга; некоторые из них, например, Церковь св. троицы и св. Ронсере в Анжере, имеют даже общую стену. Но на Корсике я нигде больше не встречал так близко расположенных храмов.

Чуть дальше, к северо-востоку от церкви св. Киликия, высится четырехугольная колоколенка, разрушенная молнией, однако и сейчас еще она очень высока. В ней было три яруса, из них уцелел только один. Характер ее кладки и форма входа с высоким полукруглым сводом указывают на то, что колокольня эта, должно быть, построена в ту же эпоху, что и храм Иоанна Крестителя; вероятно, она обслуживала обе церкви. Эта стройная³⁹, изящная колокольня поистине восхитительна в те часы, когда, освещенная заходящим солнцем, она выделяется на фоне темных гор Кошоне. Внутри ее нет ни намека на лестницу; неизвестно даже, существовали ли перекрытия между ярусами. Сохранилось только одно окно с полукруглым сводом; окно двойное, разделено колонной с продолговатой капителью причудливой формы; такие капители иногда встречаются в Тоскане и на берегах Рейна. Несколько колоннок, лежащих прямо на полу в храме Иоанна Крестителя, как мне сказали, принадлежали некогда церкви св. Киликия. Но я полагаю, что они скорее всего стояли в разрушенных позднее окнах колокольни.

Колокольня в Карбини достойна реставрации. Думаю, что это наиболее старинная, единственно старинная колокольня, еще сохранившаяся на Корсике. Я беру на себя смелость, господин министр, испросить у Вас ассигнований для этого благого дела, а также хочу просить

Вас обратиться к министру по делам вероисповеданий с просьбой о том, чтобы и он соблагОВОлил принять участие в этом начинании. Приход Карбини очень беден. На единственный колокол, подвешенный к жерди перед домом священника, просто тяжело смотреть.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА

(Коммуна Паомия)

Если мысленно сильно уменьшить размеры соборной церкви на равнине Мариана, лишить ее всяких украшений и заменить ее правильную кладку грубой кладкой из сланца или дурно обтесанного гранита, то можно представить себе характер почти всех небольших церквей или часовен, построенных до окончательного утверждения генуэзского господства над Корсикой. Они встречаются очень часто, некоторые из них относятся, самое раннее, к XV веку.

Я упомяну только о двух. Первая — церковь св. Панкратия, находящаяся между Бастией и Червионе, — примечательна тремя своими апсидами; это столь редкий случай на Корсике, что на нем стоит остановиться.

Другая церковь — Иоанна Богослова, расположенная между Карджесе и Паомией, — заслуживает упоминания только из-за странной скульптуры, происхождение которой я не могу объяснить. Внутри этой церкви, ныне почти совершенно разрушенной, в северной части нефа видна высеченная прямо на одном из гранитных камней стены человеческая рука; она слегка согнута, растопыренные пальцы образуют угол в 45 градусов. Эта грубо изваянная рука отнюдь не часть какого-либо сравнительно большого барельефа, которой могли воспользоваться при кладке стен храма просто как строительным камнем; нет, она расположена в самой середине гранитной плиты, на которой нет иных изображений. Никаких других скульптурных украшений не видно ни внутри церкви, ни на ее наружных стенах. Некогда апсида была расписана фресками, но теперь различить, что именно на них изображено, абсолютно невозможно.

Я нахожусь почти в таком же затруднении, когда пытаюсь объяснить самому себе, что представляет собою другой барельеф (если можно так назвать плиты, слегка

обработанные топориком каменщика), который можно увидеть на дверной перемычке одного из домов в Пао-мии. Мне указали на этот барельеф как на финикийскую скульптуру. Однако, сколь ни заманчива была эта версия, я, разглядывая перемычку и покрытые резьбою камни, служащие ее пятами, убедился в том, что это — распространенное в средние века устройство дверного свода. В центре перемычки можно различить фигуру женщины (я сужу об этом по ее одежде), изображенную так же неумело, как те человечки, которых рисуют углем на стенах озорные школьники. Налево — нечто вроде треугольника, направо — буква «Х» или открытый андреевский крест. На пятах перемычки видны какие-то причудливые линии; с одной стороны можно различить орнамент, известный под названием листа папоротника или селедочного хребта. Описать остальные детали орнамента просто невозможно: до такой степени они причудливы и неопределенны. Издали их можно принять за какие-то буквы.

Каждый из этих камней, если рассматривать его порознь, может, пожалуй, поставить в тупик археолога, но вместе они образуют свод над дверью, каких очень много на Корсике, так что все иные гипотезы на их счет отпадают.

СТАРИННЫЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В НЕББИО ⁴⁰

Главные особенности соборной церкви на равнине Мариана повторяются с небольшими изменениями в старинном кафедральном соборе в Неббио, неподалеку от Сен-Флорана. Такой же план и почти такие же размеры здания, отсутствие в нем сводов и контрфорсов, такие же декоративные аркады вдоль боковых фасадов, тот же характер орнамента в апсиде ⁴¹. Следует отметить, что здесь окна менее узкие, чем в уже описанных мною церквях. Колонны, стволы которых слегка напоминают веретена, чередуются с четырехугольными столбами и делят эту базилику на три нефа. Капители колонн узорчатые, но выполнены они весьма посредственно; столбы оканчиваются абаками без всяких украшений.

Фасад, сохранившийся тут лучше, чем в соборной церкви на равнине Мариана, один только и заслуживает не-

которого внимания. Он представляет собою как бы поперечный разрез храма. Фронтон, несколько менее низкий, чем античные фронтоны, венчает пространство между стенами главного нефа, которые выступают над боковыми нефами и соединяются с ними при помощи наклонного карниза. Таким образом, фасад как бы состоит из двух ярусов. В нижнем ярусе видны пять полукруглых арок; в средней, самой высокой, арке находится четырехугольная дверь, она отделена от окна, или своеобразного ажурного тимпана, широкой каменной перемычкой. Все пилястры здесь увенчаны по большей части узорчатыми капителями, на которых изображены различные фантастические животные, лев, переплетенные друг с другом змеи. В тимпанах двух арок, соответствующих боковым приделам нефа, заметен резной орнамент в виде звезд и кругов; они зеленого цвета и отчетливо выступают на ярко-белом фоне фасада⁴². Этот орнамент — еще одна общая черта между кафедральным собором и соборной церковью на равнине Мариана. Во втором ярусе фасада только три арки, в средней арке проделано большое полукруглое окно. Над ним, в центре фронтона, видна бойница в форме креста.

Резные украшения, применение колонн, более широкие окна — все эти признаки заставляют меня считать, что кафедральный собор более позднего происхождения, чем соборная церковь на равнине Мариана. Я полагаю, что он сооружен не раньше конца XII века.

Введенный в заблуждение неточными сведениями, я ожидал найти в Сен-Флоране старинные ковчежцы. Однако я обнаружил там лишь современную раку, присланную из Рима; в ней покоится скелет в одежде римского воина (совсем в оперном стиле!), на груди у него множество дешевых побрякушек и бус. Это мощи св. Флора, который вкупе со св. Флорой покровительствует городу Сен-Флоран. Этих святых весьма чтут в здешних краях; несколько заржавленных кинжалов и непригодных к бою пистолетов свидетельствуют о том, что они обратили в истинную веру немало заблудших.

В северной части храма, возле бокового входа, мне показали три отверстия, проделанные в стене. Я подумал было, что это — следствие небрежения каменщиков, возводивших стены. Отверстия тем не менее поль-

зуются громкой славой. Каждый год, в день св. Флоры, они будто бы благоухают фиалками. Об этом факте, рассказанном Угелли (*Italia christiana**, том IV), мне поведали мэр Сен-Флорана и священник здешнего прихода; они же и пригласили меня тщательно обнюхать вышеназванные отверстия, присовокупив, что никакого запаха я не почувствую. Так оно и случилось.

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

(Коммуна Мурато)

Это самая изящная, самая красивая из всех церквей, которые мне довелось повидать на Корсике. Она находится в четверти мили от городка Мурато и стоит на небольшом, совершенно пустынном плато; тем не менее в ней еще происходят богослужения, но, как я полагаю, только в особо торжественных случаях. Природа залегающих по соседству горных пород позволила зодчим более точно подражать стилю пизанских храмов, особенно во всем, что относится к орнаменту. Мы увидим дальше, как видоизменился этот стиль, будучи перенесен с равнин Тосканы в неприступные горы Корсики.

Церковь Михаила Архангела имеет форму параллелограмма с прямыми углами; на востоке она оканчивается полукруглой апсидой, а на западе перед церковью расположена паперть, увенчанная четырехугольной башней, которую поддерживают две мощные приземистые колонны с приплюснутыми капителями. Эти капители украшены едва обозначенной листвою.

Фасад украшают три арки, обе боковые арки глухие. На тимпанах нет никаких барельефов; пяты архивольтов покоятся на заметно выдающихся вперед консолях. Перемычка над главным входом покрыта инкрустацией. Свод имеется только над апсидой церкви. Окна храма узкие, полукруглые; наличники вверху и внизу украшены завитками и плоским резным орнаментом. Карниз опирается на декоративную аркаду, она идет вдоль боковых фасадов и продолжается над апсидой. Многие тимпаны арок покрыты резными украшениями наподобие тех, какие видны в церкви Карбини.

* Христианская Италия (лат.).

Итак, если не считать паперти (надо сказать, что паперти редко встречаются в храмах Корсики; эта напоминает в уменьшенном виде паперть церкви в Мармутье, возле Саверна), то церковь Михаила Архангела обладает всеми характерными признаками, о которых я не раз говорил. Она по-настоящему отличается от всех уже описанных мною церквей лишь своеобразным характером кладки и облицовки. Еще издали, едва вы только замечаете этот храм, ваш взор приковывают и поражают яркие цвета его облицовки, которая состоит из ярко-зеленых и ослепительно-белых камней. Все стены церкви изнутри и снаружи обложены такими камнями. Сначала вам не удастся обнаружить никакого порядка в чередовании цветов, и в глазах у вас просто рябит от них. Подойдя ближе, начинаешь понимать, что камни укладывали обдуманно, стремясь добиться определенного впечатления, чередуя камни разного цвета; впрочем, впечатление получается скорее странное, нежели приятное. По-видимому, здесь пытались подражать тому строгому чередованию цветов, какое можно наблюдать в кафедральном соборе и во многих других храмах Пизы. Однако этого правила тут придерживались только до тех пор, пока под рукой были подходящие материалы, и отступились от него, как только следование ему потребовало слишком больших усилий. Так, например, камни, применявшиеся для кладки стен, разной величины, и ряды их имеют неодинаковую высоту. В верхней части стен белые и зеленые камни, чередуясь, образуют горизонтальные полосы; внизу же два эти цвета располагаются, как клетки шахматной доски; однако такой порядок соблюдается не везде. Вскоре замечаешь, что каменные плиты установлены как попало и словно наугад. По правде говоря, только в клинчатых камнях глухих арок фасада цвета чередуются в строго определенном порядке; клинчатые же камни декоративных арок под карнизом являют беспорядочное смешение двух цветов. Насколько я мог заметить, зодчий был гораздо более высокого мнения о твердости зеленого камня (очень плотный, тонко-слоистый хлорит), нежели о твердости белого камня (известняк из Сен-Флорана), ибо он применял зеленый камень преимущественно в тех частях сооружения, где требовалась особая прочность. Там и сям в стены вделаны плиты красноватого

мрамора, и это еще усиливает причудливость сочетания цветов. Наконец, порою попадаются отдельные кирпичи, вкрапленные без всякой системы, главным образом в пятах декоративных арок на боковых фасадах церкви.

Венцом этой неповторимой системы служит перемычка над западным входом в церковь; тут на фоне белого камня высечен плоский бюст, смотрящий прямо перед собой, а по бокам красуются два павлина, которые щиплют его за уши. В хвостах этих птиц сверкает множество мелких камешков — красных, зеленых, белых — перемежку с кусочками синего стекла. Это настоящая мозаика, только выполненная неумело. На многих наличниках окон и на нескольких тимпанах глухих арок видна инкрустация такого же рода, как правило, зеленая или красная на белом фоне, но сделано все это грубо и безвкусно.

Я хочу сказать несколько слов о скульптурных украшениях церкви Михаила Архангела; они изваяны тщательнее, нежели в любом другом храме Корсики, но все же топорны.

Прежде всего обращает на себя внимание непристойность некоторых изваяний; это обстоятельство, не редкое на европейском континенте, поразило меня здесь, ибо Корсика — страна людей степенных, которые никогда не смеются, страна по тем или иным причинам, несомненно, крайне целомудренная. Я обнаружил только один барельеф, сюжет которого более или менее понятен. На нем изваян Змий, который обвился вокруг дерева и держит в своей пасти яблоко. Возле него — нагая женщина, она протягивает руку к плоду. Без сомнения, ваятель хотел изобразить сцену искушения. Нечего и говорить, что соразмерность частей здесь не соблюдена, а исполнение топорно. Скульптурный орнамент выполнен гораздо лучше, тут порою можно увидеть довольно изящные украшения. Прелестные причудливые завитушки, веточки, листья, покрывающие наличники многих окон, напомнили мне тонкие арабески на мавританских окнах Альгамбры в Гранаде и Алька́сара в Севилье. Этот изысканный орнамент можно было бы назвать резным — его неизменно высекают на камне.

Внутри апсида была в свое время расписана фресками; ныне они почти стерлись.

За исключением башни, верхняя часть которой разрушена (если только она вообще была закончена), церковь Михаила Архангела довольно хорошо сохранилась.

ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ В МУРАТО

Церковь св. Николая, расположенная на расстоянии мили к юго-западу от городка Мурато, очень похожа на церковь Михаила Архангела, но в отличие от нее здесь нет ни паперти, ни колокольни, и облицована она снаружи и внутри зелеными камнями. После революции церковь св. Николая пришла в упадок, стоит без кровли и постепенно все больше разрушается. Интереснее всего в ней орнамент, выполненный с особым тщанием; я опишу его несколько подробнее, ибо эта церковь, по-моему, являет пример наибольшей изысканности, до которой поднялись корсиканские зодчие.

Здесь, как и в церкви Михаила Архангела, фасад имеет три арки; средняя арка выше и шире боковых, украшенных скульптурным орнаментом. Все три арки покоятся на слегка выступающих вперед пилястрах, увенчанных довольно хорошо обтесанными капителями. Архивольты покрыты резными завитушками и выпуклыми кругами из какого-то белого камня. На тимпанах боковых арок видна инкрустация — кресты, усеянные звездами; кресты белого цвета и отчетливо выделяются на темном фоне облицовки. Шахматное поле из зеленых и белых клеток занимает центр тимпана главной арки. Капители опорных столбов покрыты резным орнаментом, выполненным с таким изяществом, какого я на Корсике до сих пор не встречал. Другая инкрустация частично заполняет свободное пространство между архивольтами и фронтоном, умножая украшения фасада.

Карнизы и декоративные аркады под ними почти такие же, как в церкви Михаила Архангела; только здесь нет того чередования цветов, какое можно наблюдать там: в церкви св. Николая разные цвета присутствуют лишь в инкрустации, о которой я только что говорил. Я хочу обратить внимание на разнообразие и изящество скульптурного орнамента модильонов и самого карниза: на каждом из составляющих его камней свой рисунок.

И общий характер скульптурных украшений церкви св. Николая и отдельные их особенности принадлежат византийскому стилю; тем более странно, что окна в церкви стрельчатые (впрочем, они, по корсиканскому обычаю, узкие). Остроконечная стрелка их свода вырублена в единственном камне, венчающем оконный наличник, и это ясно говорит о том, что ее применили здесь не из соображений прочности и целесообразности, а единственно из желания не отстать от уже установившейся моды. Отсюда можно заключить, что церковь св. Николая воздвигнута в ту эпоху, когда готический стиль уже был в чести на европейском континенте; иными словами, она построена в конце XIII или в начале XIV века⁴³.

ЦЕРКОВЬ СВ. ЦЕЗАРИЯ

В тот же период была, вероятно, сооружена и расположенная по соседству небольшая церковь; она находится между Пьеве и Мурато и тоже сильно разрушена. Ее называют церковью св. Цезария. План у нее такой же, как и у церкви св. Николая, но она почти совсем лишена украшений. Я упоминаю об этом храме только потому, что у него очень своеобразная облицовка, состоящая из зеленых камней и мраморных плит с довольно грубыми прожилками красного и серого цвета; такой мрамор часто попадает в горах Бевинко. Здесь невозможно обнаружить ни малейшей попытки соблюсти хоть какой-нибудь порядок в расположении облицовочных камней и плит: они уложены как попало и порою просто раздражают глаз.

Церковь Михаила Архангела — наиболее старинная из только что описанных мною; она, безусловно, воздвигнута по образцу базилик города Пизы. Церковь св. Цезария — неумелое подражание церкви Михаила Архангела; наконец, церковь св. Николая также являет образец подобной базилики, но только улучшенный и облагороженный орнаментом хорошего вкуса. В истории архитектуры весьма распространено влияние такого рода: храм, вызывающий общее восхищение, становится образцом для воздвигаемых по соседству церквей.

МОНАСТЫРЬ СВ. МАРТИНА

Я наблюдал в местности, расположенной довольно далеко от Мурато, такую же систему чередования различных цветов в облицовке стен: и тут она едва намечена, а не доведена до конца; происходило это среди развалин монастыря св. Мартина, находящегося в небольшой долине между Карджесе и Паомией. Апсида здешней церкви окружена декоративной аркадой, тимпаны которой сложены попеременно из серого гранита и красного песчаника. Ниже тянется поясной карниз шириною в 40 сантиметров, четко выступающий на фоне гранитной облицовки стены. Под тимпанами аркады видны сильно стершиеся и очень грубо изваянные барельефы; на них еще можно различить каких-то животных и причудливые украшения в стиле тех, какие я видел в церкви в Карбини. Кстати, я полагаю, что обе эти церкви сооружены приблизительно в одно и то же время.

ХРАМЫ XIV И XV ВЕКОВ

ХРАМ СВ. МАРИИ

(Бонифачо)

Только в Бонифачо я увидел наконец готические церкви, но это какая-то ненастоящая готика, которая с таким трудом и запозданием внедрялась на юге Европы. Хотя здешние храмы сохранили много признаков романского стиля, я не думаю, что они сооружены ранее XIV века; мое убеждение покоится на устойчивости пизанской архитектуры во всех остальных частях острова. Церкви св. Цезария и св. Николая, о которых я только что говорил, — яркие тому примеры.

Храм св. Марии возведен в самой возвышенной части города и обращает на себя внимание прежде всего своими аркбутанами; на Корсике они больше нигде не встречаются, да и тут, собственно говоря, не особенно нужны, потому что боковые стены здания очень невысоки. Стало быть, аркбутаны эти воздвигнуты не столько из необходимости, сколько как дань моде. Храм св. Марии имеет форму короткой и широкой базилики; он разделен

на три нефа и заканчивается тремя полукруглыми апсидами. Внутренняя часть храма много раз подвергалась реставрации. Так, например, столбы заново обтесаны и теперь украшены ионическими капителями. Стрельчатые своды, усиленные подпружными арками и плоскими нервюрами, как мне показалось, также были переделаны; наконец, совсем недавно внутренняя часть храма была выкрашена клеевой краской под мрамор, и при этом так старательно, что теперь невозможно определить характер кладки стен. Фасад, почти совершенно лишенный украшений, не представляет никакого интереса. Стоит упомянуть разве только о хорошо выполненном резном орнаменте в виде фиалок, да о большом окне, в котором строго чередуются черные и белые клинчатые камни. Перед совсем уж современного вида порталом расположена паперть или крытая площадка; здесь собираются все городские бездельники.

Колокольня храма св. Марии четырехугольная, довольно стройных очертаний; хотя она сильно повреждена, но и поныне еще сохраняет некоторые следы былого изящества. Я не стану говорить о самом верхнем ее ярусе, видимо, перестроенном в XVII веке; из трех остальных ярусов лишь один уцелел в полной неприкосновенности — самый высокий из них, с двумя стрельчатыми окнами, разделенными небольшой и тонкой колонной. В ярусе, расположенном прямо под ним, всего одно полукруглое трехлопастное окно, сейчас заделанное. В самом нижнем ярусе окон не видно; возможно, их там и вообще не было. Все окна колокольни — и стрельчатые и полукруглые — увенчаны своеобразными наличниками, довольно изысканно украшенными; над стрельчатыми окнами наличник (я не могу подобрать иного названия этому плоскому каменному обрамлению) четырехугольный, а над остальными окнами он напоминает по форме фронтон; его скульптурный орнамент состоит из фиалок, розеток, завитушек. Это тот же орнамент, что и в церкви Михаила Архангела в Мурато, только несколько улучшенный. В храме св. Марии его мавританский характер еще больше бросается в глаза, и объясняется он здесь, возможно, соседством Сардинии, находившейся под властью Испании, а ведь известно, как много испанская готика позаимствовала у арабского орнамента. Бордю-

ры из мелких скульптурных украшений отделяют один ярус колокольни от другого, а почти в самой ее середине под этими резными украшениями расположены два барельефа; на одном из них изваян бык апостола Луки, на другом — лев апостола Марка. Возможно, что на других сторонах колокольни, ныне сильно поврежденных, были изображены другие символические атрибуты евангелистов.

ЦЕРКОВЬ ДОМИНИКАНЦЕВ

(Бонифачо)

Церковь св. Доминика сохранилась гораздо лучше, чем храм св. Марии, и, как я полагаю, воздвигнута несколько позднее. Хотя все арки здесь стрельчатые, внешне церковь не похожа на готическую, ее фасад особенно напоминает фасад соборной церкви на равнине Мариана. Контрфорсы, или, лучше сказать, пилястры, расположены таким же образом, как там, и являют взору точно такую же кладку, где широкие ряды камней чередуются с узкими. Что до стен здешней церкви, сложенных из необтесанного песчаника, то они покрыты толстым слоем цемента. Церковь, как обычно на Корсике, имеет форму базилики.

Западный вход четырехугольной формы вписан в стрельчатую арку. Сама эта арка тоже как бы вписана в едва выдающийся вперед фронто́н. В верхней его части изваян агнец с крестом. Вершину стрельчатого фронтона занимает узкое оконце, а его скаты окаймляет бордюр из хорошо выполненных фиалок. Вот, собственно, все украшения фасада, и они едва прикрывают его наготу. Боковой вход в северной стене храма украшен не лучше. Он тоже четырехугольный, а над ним расположен стрельчатый тимпан, окруженный широким архивольтом, по краям которого идут резные фиалки.

Внутри церкви — три нефа, разделенные четырехугольными столбами; в углы каждого из столбов со стороны главного нефа встроены по две небольшие колонны — они служат опорами для нервюр свода. В главном нефе — стрельчатые крестовые своды, усиленные подпружными арками и закругленными нервюрами. Свод боковых нефов несколько более низкие, нервюры тут так-

же закругленные и опираются они на консоли; эти своды, по-моему, более позднего происхождения. Я полагаю, что они были переделаны во время сравнительно недавней реставрации.

Полукруглые окна боковых нефов ничем не отличаются от тех бойниц, о которых я уже много раз упоминал. Кроме того, нетрудно заметить, что они по большей части расположены не на оси арок главного нефа. Если бы столь странное устройство не повторялось то и дело в других корсиканских храмах (к примеру, его можно наблюдать в соборной церкви на равнине Мариана), то можно было бы подумать, что боковые нефы возведены раньше главного. Однако куда вероятнее приписать такое расположение окон тому равнодушию к симметрии, которое так часто замечаешь в зданиях этого острова. Окна главного нефа, свод которых напоминает митру, думается, приобрели такую форму в результате недавней реставрации.

Колокольня церкви доминиканцев расположена с южной стороны возле хора; внизу она четырехугольная, но, поднимаясь над кровлей храма, приобретает форму восьмиугольника. Выпуклые, резные украшения отделяют ее ярусы друг от друга; свет сюда проникает сквозь полукруглые двухлопастные окна, сделанные с каждой стороны колокольни. Ее верхняя часть по углам украшена зубцами в мавританском стиле; они оставляют очень приятное впечатление.

Я предполагаю, что первоначально в церкви св. Доминика, как и в церкви св. Марии, было три апсиды; однако в XVIII веке восточная часть ее хора была перестроена и удлинена. Ныне она образует новый квадратный хор, расположенный позади алтаря, а также два боковых помещения, из которых одно служит ризницей. Великолепный амвон, облицованный в современном итальянском вкусе тонкими плитами из мрамора и алебаstra, находится на пересечении старой и новой части храма. На амвоне видна дата: «1749 год».

Я не стану говорить о других церквях Бонифачо, из которых одна превращена в военный склад; построенные по образцу церкви св. Доминика, все они ныне либо полуразрушены, либо дурно реставрированы и не представляют теперь ни малейшего интереса.

Архитектура готического стиля получила на Корсике еще меньшее развитие, чем архитектура византийского стиля. Здешние церкви обязаны ей внедрением сводов, которые ранее почти не применялись. Можно удивляться тому, что искусство скульптурного орнамента не сделало больших успехов в Бонифачо, ибо в окрестностях этого города, не в пример остальной Корсике, залегают пласты великолепного белого известняка: он легко поддается обработке и хорошо сохраняется под дождем и ветром.

ЧАСОВНЯ СВ. ЕКАТЕРИНЫ

(Коммуна Сиско)

Я знаю только одну крипту на Корсике — в часовне св. Екатерины, принадлежащей старинному монастырю того же названия; ныне она относится к коммуне Сиско. Часовня эта стоит на вершине утеса, у самого берега моря, возле мыса Сагро. Некогда весь мыс Корс носил название Священного мыса; такое наименование весьма необычно для страны, где, по словам некоего желчного римского поэта, «не признавали богов». Быть может, на мысе Корс некогда существовал храм, пользовавшийся широкой известностью среди мореплавателей, а так как обычно святые места надолго сохраняют свою репутацию, хотя за это время нередко изменяется даже самый характер верований, то я склонен предположить, что часовня св. Екатерины воздвигнута на том самом месте, где в прошлом высился храм, из-за которого мыс Корс и начали именовать священным. Впрочем, это мое предположение не может быть ничем подкреплено, ибо, за исключением единственной надписи в селении Эрбалонга, мне неизвестны никакие доказательства пребывания римлян в этой части острова.

Как бы то ни было, уже в XIII веке неподалеку от мыса Сагро существовала церковь с подземной часовней; ее еще тогда стали называть и до сих пор называют *li tomboli**. В 1355 году, если верить манускрипту, попавшему ко мне в руки, или в середине XIII века, как сообщает Филиппини, некий корабль возвращался из

* Могильные холмы (итал.).

Леванта, имея на борту изрядный запас реликвий, хранившихся в особом ларце (реликвии в ту пору служили предметом прибыльной торговли). И вот в виду мыса Корс на судно налетела свирепая буря. Капитан корабля поклялся подарить — в том случае, если он избегнет кораблекрушения — все священные реликвии первой же церкви, которая ему встретится на пути. Усевшись в лодку вместе со всей командой, капитан вскоре достиг подошвы утеса св. Екатерины и на время высадился на берег. Буря тут же утихла. То ли наш капитан не заметил часовню, то ли он по привычке всех моряков уже забыл о своем обете, но только он снова пристал к кораблю, взошел на борт и собрался было двинуться в дальнейший путь вместе со своим сокровищем; тут снова поднялась буря, и ярость ее все возрастала до тех пор, пока моряк, раскаявшись, снова не сошел на берег и не отнес все реликвии в часовню св. Екатерины. Ларец содержал, по сообщению Филиппини, «обломок жезла Моисея; немного манны, упавшей с неба в пустыне; щепотку глины, из которой был вылеплен первый человек; котомочки пресвятой девы, Марии Магдалины и св. Екатерины; несколько нитей из пряжи, которую ткала приснодева, несколько капель ее молока, и так далее, и тому подобное». Перечисление реликвий занимает полторы страницы. Нетрудно догадаться, что такое количество сокровищ привлекало в часовню множество верующих, так что вскоре она уже стала тесной для пилигримов, стекавшихся сюда толпами. Через некоторое время поблизости было сооружено жилище для монахов-августинцев, которые взяли на себя охрану этих священных реликвий; затем построили еще одно жилище, для вооруженных людей: жителям Сиско пришлось содержать их, чтобы они защищали часовню от внезапного нападения мавров; впоследствии здесь открыли больницу для недужных, которые искали у св. Екатерины исцеления. Наконец, увеличили в размерах или перестроили самую церковь; она была освящена в 1469 году.

Нынешнее здание храма носит следы реставраций, которым оно неоднократно подвергалось. На его фасаде до сих пор еще уцелело несколько архивольтов, по-видимому, византийского стиля, а церковная апсида, окруженная декоративными полукруглыми арками, напомина-

ет апсиду соборной церкви на равнине Мариана. Остальная часть церкви не представляет никакого интереса. Даже ее крипта, судя по всему, подвергалась переделкам; во всяком случае, ее недавно заново оштукатурили. Она имеет полукруглую форму, слабый дневной свет проникает в нее через небольшую отдушину. В крипту попадают, пройдя по двум узким коридорам, берущим начало в нефе. Насколько можно заключить по еще доступным обзорению частям кладки, наиболее старинная часть крипты — цокольная — обладает всеми признаками средних веков; не думаю, чтобы она была сооружена ранее XII века.

Утес, на котором стоит часовня, очень крутой; высота его — приблизительно 250 метров. Если спуститься к самому морю, то внизу можно увидеть просторный грот, который природа выдолбила в скале. Со стороны моря вход в него преграждают обломки скал; между ними приходится пробираться с некоторой осторожностью, ибо волны, особенно когда дует юго-восточный ветер, с силой бьют в отверстие пещеры. Пещера эта очень глубока; здесь несколько больших подземных зал, в некоторых из них — множество причудливых сталактитов. Описание этого грота не входит в мою задачу, и я упомяну лишь об одном обстоятельстве, представляющем интерес для археологии. У самого входа в пещеру высится большая полукруглая арка, ее клинчатые камни из зеленого сланца довольно грубо скреплены при помощи толстого слоя цемента. С одной стороны, там, где утес не мог служить опорой, арка покоится на столбе из сланца. Между вершиной арки, которую венчает небольшая стена, заканчивающаяся горизонтально, наподобие моста, и природным сводом пещеры заметно широкое отверстие: оно, видимо, никогда не было заделано. Судя по всему, в арку в прошлом была вписана дверь, а отверстие над входом оставили намеренно, чтобы оно служило окном. Но когда именно и для какой цели это жалкое творение рук человеческих было сооружено рядом с грандиозным творением природы?.. По внешнему виду арка отнюдь не античная, а форма ее ни о чем не говорит, особенно на Корсике: вот все, что я могу сказать по этому поводу. По преданию, пещера будто бы служила убежищем для христиан в те времена, когда на Корсике хозяйничали арабы. Но

если эту арку действительно возвели христиане, то они придумали очень дурной способ, дабы скрыть свое убежище: ведь самым своим существованием у входа в пещеру она выдавала присутствие людей. Я склонен скорее предположить, что монахи обители св. Екатерины устроили в этом гроте алтарь или поместили здесь какие-то гробницы; потому-то тут и сделали дверь, которую без их согласия не открывали. Вот наиболее вероятное предположение. А вот еще одно, самое поэтическое: пещера эта могла служить местом, где происходили мистерии в честь кабиров или иных богов, поэтому мыс Корс и был назван *Священным мысом*⁴⁴.

ЧАСОВНЯ СВ. КРИСТИНЫ

(Червионе)

Направляясь из Бастии к развалинам Алерии, я остановился в Червионе, чтобы осмотреть часовню св. Кристины; она возвышается метров на двести над этим городком и находится неподалеку от селения Муккьето. некогда, как мне сказали, она принадлежала монастырю Монте Кристо, расположенному на острове того же названия — прямо против Червионе. Каждое воскресенье один из монахов этого монастыря будто бы садился в лодку и приезжал на Корсику, дабы отслужить мессу в часовне св. Кристины⁴⁵.

План часовни весьма причудлив: она похожа на букву «Т»; в середине поперечной черты — трансепта — расположены две апсиды, касающиеся друг друга. Неф часовни, видимо, перестроенный в XVII веке, ныне обладает низким, коробовым сводом и окружен столбами; он не заслуживает внимания. Трансепт — несомненно, более старинный — не имеет сводов, свет проникает сюда сквозь узкие полукруглые бойницы, пробитые в обеих апсидах. Здание часовни сложено из кусков сланца, плохо поддающихся обработке, и все же кладка стен здесь куда более правильная и выполнена гораздо тщательнее, нежели в жилых домах Червионе. Снаружи часовня лишена каких бы то ни было украшений. Внутри ее сланцевые стены оштукатурены; вся восточная стена

церкви, включая апсиды, расписана фресками различной величины, которые довольно хорошо сохранились.

Необычный план часовни, полное отсутствие орнамента, похожие на бойницы окна, к которым я еще не привык, а главное, изображения святых в длинных негнувшихся одеяниях, с худыми, длинными руками и ногами, с огромными ступнями и ладонями — все это с первого взгляда напомнило мне отличительные признаки византийского стиля. Однако я обратил внимание, что головы на фресках исполнены большего благородства и, как любят выражаться художники, большего чувства стиля, нежели головы на тех фресках, какие можно увидеть в наших французских церквях. Сначала я приписал это близости Италии и, памятуя о стойкости традиций византийского стиля на юге Европы, был склонен счесть эти фрески делом рук какого-нибудь художника XIII века. Но, получше приглядевшись к архангелу Михаилу, на котором была кольчуга не из колец, а из металлических пластинок, и башмаки которого были похожи на те, какие и сейчас еще можно увидеть на горцах, я смутно заподозрил, что фрески эти — гораздо более позднего происхождения. Дата «1473», отчетливо начертанная готическим шрифтом на стене одной из апсид, помогла мне покончить с неуверенностью и еще раз напомнила о том, с какой осторожностью надобно судить о памятниках страны, которую ты недостаточно изучил. Та же дата, две последние цифры которой стерлись от времени, повторяется на перемычке над небольшой дверью в южной части трансепта⁴⁶.

Я хочу бегло описать фрески часовни св. Кристины. В верхней части южной апсиды изображен Христос, окруженный обычными атрибутами евангелистов; ниже видны фигуры восьми святых — мужчин и женщин, среди них можно различить и св. Крестину. На правой стене апсиды нарисован архангел Михаил больше чем в натуральную величину: он взвешивает на весах души усопших и попирает дьявола, который норовит утащить одну из чашек этих священных весов. В северной апсиде изображен всевышний, восседающий на престоле, а возле него нарисован коленапреклоненный аббат (без сомнения, настоятель монастыря Монте Кристо), за которого предстательствует св. Кристина, покровительница

часовни. И бог-отец и бог-сын — грандиозных размеров, вокруг головы у них сияние, совсем как на наших старинных фресках XII века. Фигуры двенадцати апостолов, стоящих во весь рост, занимают нижнюю часть этой апсиды. На ее левой боковой стене можно различить св. Христофора: он идет по морю, окруженный рыбами, и несет на плечах младенца Иисуса. Это изображение сильно пострадало от времени. Восточная стена часовни, поднимаясь над апсидами, образует как бы фронтоном, также расписанный фресками. В центре изображен распятый Христос, над его головою парит ангел. Ошую распятого нарисованы богородица и святой дух, а одесную — еще один ангел в молитвенной позе. Возникает впечатление, что сцены распятия и благовещения как бы перемешаны: видимо, художник стремился уделить больше места распятому Христу.

Часовня св. Кристины имеет очень редкую, быть может, уникальную форму; ее следует приписать либо причуде зодчего, которому захотелось создать необыкновенное сооружение, либо, возможно, его стремлению выразить таким способом некую мистическую мысль, как было принято в те далекие времена; ныне нам очень трудно разгадать эту его мысль. Я нашел в *Житии святых* указание на то, что грудь св. Кристины пронзили двумя стрелами, а перед этим на нее напустили двух змей, которые не причинили святой никакого вреда. Они лизали ее ступни, а затем примостились у нее на груди, словно два младенца, сосущие молоко матери. Не предназначены ли две апсиды часовни напоминать о двух стрелах, или, скорее, о двух благовоспитанных змеях? На этом своем объяснении я никак не настаиваю; впрочем, оно не более оригинально, нежели то, какое приводят, пытаясь истолковать, почему хор во многих церквах отклоняется от оси главного нефа.

Приходский священник из Муккьето, который соблаговолил сопровождать меня, рассказал, что на кладбище, примыкающем к часовне, не так давно были обнаружены кирпичные или цементные гробницы: во многих из них были найдены монеты. Однако он не мог сообщить мне никаких сведений ни о форме этих гробниц, ни о монетах, которые были отправлены в Бастию.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКВИ

Я не встречал на Корсике ни одного храма эпохи Возрождения. В то время как во Франции и Италии возводили во множестве шедевры архитектуры, на этом острове сражались, здесь жгли города и селения, не щадя даже церковных зданий. Более поздние храмы, относящиеся к XVII и XVIII векам, не представляют ни малейшего интереса. Сложенные из едва обтесанных сланцевых или гранитных плит, они порою грубо оштукатурены: таковы церкви Бастии, самые просторные и самые богатые на Корсике. Карнизы и иные наружные украшения, сделанные из гипса или скверного цемента, разрушаются от дождя и разваливаются на куски. Внутреннее архитектурное убранство этих церквей состоит, главным образом, из гипсовых украшений, зачастую расписанных золотом в варварском вкусе XVII столетия, да из фресок, намалеванных бродячими итальянскими художниками. Наиболее примечательны Храм св. креста и кафедральный собор в Бастии, а также церковь в Червионе. Храм св. креста, несмотря на украшения дурного вкуса, не лишен некоего величия, как всякое роскошное и дорогостоящее сооружение.

Колоколенки этого периода, зачастую стоящие особняком (главным образом, в селениях), как правило, имеют четырехугольную форму; они отличаются стройными очертаниями, у них большие ажурные окна. Однако ко-

локоленки эти кажутся изящными только издали, а когда их разглядываешь вблизи, они сильно разочаровывают. Я ограничусь тем, что упомяну лишь о наиболее интересных среди них: это колокольня кафедрального собора в Бастии, а также колоколенки в Червионе, Кьягре, Таллано, Лингидетте, Сартене⁴⁷. Самое большое их достоинство то, что все они расположены в необычайно живописных местах.

БАШНИ, ЗАМКИ, КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В первой части своего доклада я уже говорил, что мне не довелось обнаружить на Корсике ничего похожего на *нураги* Сардинии. Все башни, которые мне удалось осмотреть, средневековые, многие из них даже еще более позднего происхождения. Частые высадки пиратов с берегов Северной Африки вынуждали жителей Корсики постоянно быть начеку: вот почему на побережье этого острова возникло большое количество башен—их воздвигали в тех местах, откуда было удобно вести наблюдение за морем, и строили их зачастую на близком расстоянии друг от друга с тем, чтобы с них можно было переговариваться с помощью сигналов. При появлении корсаров воины, наблюдавшие за морем, поднимали тревогу, и крестьяне, занятые полевыми работами, если они находились далеко от своих селений, расположенных обычно в горах, обретали убежище в ближайших башнях. Можно предполагать, что, уже начиная с XI века, такого рода сооружения вырастали в различных пунктах побережья Корсики. Однако столь старинных башен сам я нигде не видал; я даже думаю, что ни разу не встречал башни, воздвигнутой ранее XIV века. Большинство из них относится к XV, XVI и даже к XVII векам. Если не считать отдельных и маловажных архитектурных деталей, все башни, как мне показалось, построены по одному образцу, а это, по-видимому, указывает на то, что возводили их по одной и той же причине. Каждая башня состоит обыкновенно из нижней сводчатой залы, служившей складом для провизии и боевых припасов; в сле-

дующем ярусе размещался гарнизон; выше находилась плоская кровля, окруженная зубцами, а иногда — галереей с навесными бойницами. Склад, или нижняя зала, прямо не сообщался с внешним миром. В башню можно было попасть только через второй ярус, поднявшись по очень крутой, а нередко даже по приставной лестнице; когда ее убирали внутрь, то человек шесть могли целый день защищать свою маленькую крепость от нескольких сотен осаждающих.

В большинстве своем эти башни имеют круглую, слегка коническую форму; они редко достигают в высоту более 8 или 10 метров. Таковы башни в Сагоне, а также та, которую именуют башней *дель Кавальере*, — она находится в устье реки Кампо дель Оро, на расстоянии мили от Аяччо. Можно было бы назвать еще добрую сотню других башен, расположенных вдоль морского побережья⁴⁸.

Несколько значительно более старинных башен, точную дату сооружения которых определить невозможно, ибо они ныне полуразрушены и не отличаются никакими характерными признаками, высится на вершинах гор, расположенных в глубине острова. Это донжоны, принадлежащие к старинным укрепленным замкам. Такова знаменитая башня *Сенеки*, стоящая на высоком пике горы делле Вентиджолле, в коммуне Лури, на мысе Корс. Она венчает собою самую высокую точку конического утеса, совершенно отвесного с трех сторон и трудно доступного с четвертой стороны, откуда только и можно на него взобраться. Ничто в ней не принадлежит римской эпохе; это круглая башня с разрушенным венцом, стоящая среди неправильной формы ограды, которая теперь до такой степени обветшала, что можно лишь с трудом проследить за ее первоначальными очертаниями. Стены старого замка, которому эта башня служила донжоном, в нескольких местах нависают над самым обрывом. Обращает на себя внимание небольшое сводчатое укрепление, обмазанное изнутри твердой штукатуркой ярко-красного цвета. Я полагаю, что здесь находилось одно из складских помещений замка; возвышаясь над грудой скал, которые, кажется, вот-вот готовы обрушиться, укрепление это господствует над тропинкой, ведущей в крепость. Стены сложены грубо, но прочно; ряды камней неровные, зато сами камни пригнаны один к другому гораздо

тщательнее, чем во многих куда более поздних сооружениях.

Башня, где, по народному поверью, будто бы жил Сенека во времена своего изгнания, подобно почти всем средневековым донжонам, стоит особняком и не зависит от остальных укреплений. Двери в ней нет, а ее единственное небольшое окно пробито на высоте трех или четырех метров от земли: в него влезали по приставной лестнице. Внутри башни не видно даже следа сводов; однако возможно, что ее верхняя площадка была увенчана сводчатой кровлей; утверждать этого нельзя, ибо ныне верхняя часть башни разрушена.

Коммуна Лури не единственная, которая гордится тем, будто в ее пределах некогда жил Сенека. Неподалеку отсюда, в Пьетра Корбара, вам показывают другую башню, как две капли воды похожую на здешнюю: ее также называют *Torre di Seneca**, или просто *Seneca*.

На вершине горы Фрассо, возле самой дороги из Аяччо в Соллакаро, я осмотрел развалины старинной четырехугольной башни, стоящей на самом краю утеса, который, точно мыс, врезается в глубокую лощину. Эта башня, как мне сказали, — единственное, что сохранилось от старинного замка графов де Фрассо. Долгое время епископы Аяччо носили этот титул. Я упоминаю об этих развалинах только потому, что их стены поражают правильностью кладки: явление необычайно редкое на Корсике. Камни большого размера здесь тщательно обтесаны и пригнаны один к другому, ряды их одинаковой высоты.

Во время своего пребывания в Соллакаро я посетил руины замка д'Истриа; владевшие им феодалы играли большую роль в истории Корсики. Замок этот состоит из двойного пояса укреплений неправильной формы, повторяющих причудливые очертания крутого утеса, на вершине которого они сооружены. Донжон занимает самую высокую точку утеса. Ныне все здесь превратилось в груды развалин, но даже эти развалины, как я полагаю, относятся уже к XVI веку, то есть к тому времени, когда Винчензелло д'Истриа перестроил твердыню своих предков. Однако возможно, что при этом был сохранен первоначальный план укрепленного замка, или, во всяком случае,

* Башня Сенеки (итал.).

его восстанавливали, придерживаясь старинной системы, иначе говоря, соединяли каменной стеною наиболее крутые скалы, венчающие вершину горы. Сводчатое подземелье, обмазанное изнутри толстым слоем цемента, думается, некогда было водохранилищем. Теперь в него можно попасть только через брешь, пробитую в нижней части стены. Один из потомков Винцентелло, носящий его имя, — сын г-на Колонна д'Истриа, мэра города Соллакаро, — любезно вызвался служить мне проводником в трудном подъеме на вершину утеса. Он обратил мое внимание на единственную надпись, обнаруженную среди развалин. Она высечена на камне, от которого уцелел лишь обломок; судя по форме этого обломка, камень некогда служил дверной перемычкой. Надпись гласит:

НОС ОРУС FABRICAУIT МАGНIFICUS
DOMINUS VINCENTELLUS...*

Я не стану описывать другие развалины, находящиеся в еще более плачевном состоянии: по ним можно лишь с трудом судить о некогда стоявших здесь старинных замках. Только один из них заслуживает упоминания: это замок Монтекки, в коммуне Каньоколи; его донжон, увенчанный галереей с навесными бойницами, довольно хорошо сохранился.

Как правило, корсиканские владетельные феодалы возводили свои замки на крутых возвышенностях, на вершинах самых обрывистых и неприступных утесов. Толстые стены этих замков отличаются неправильной кладкой, обычно они врезаны прямо в скалу. Здесь нечасто увидишь башни, ибо выступающие вперед углы крепостных стен, неизменно повторяющих очертания скалистой возвышенности, позволяли держать под огнем куртины. Ни возле замков д'Истриа и делла Рокка, ни у башни Сенеки, ни перед одним из остальных средневековых укреплений, которые я посетил, не сохранилось даже следа тропинок, что некогда вели туда. Задаешь себе вопрос: можно ли было когда-либо попасть в такой замок верхом? Думается, что к башне Сенеки подъехать на лошади,

* Сей замок воздвиг сиятельный и владетельный господин Винцентелл...» (лат.).

во всяком случае, было невозможно. Видимо, владельцам феодальных замков надобно было располагать большими запасами провизии, ибо горсточка людей могла обречь их на голод, перерезав узкую тропинку, которая вела в такое орлиное гнездо.

В Сартене, Бонифачо, Порто Веккьо сохранились развалины — остатки старинных укреплений. Звено ветхой городской стены в Порто Веккьо, которая, как уверяют, до сих пор еще несет на себе отметины от ядер Сампьеро, показалось некоторым людям фрагментом римской стены. Я этого не думаю, однако, без сомнения, эта часть старинных городских укреплений воздвигнута значительно ранее, нежели остальные крепостные стены, построенные генуэзцами. Невозможно точно установить время, когда были сооружены куртины и башни в Сартене: они сложены из крупных камней и ныне наполовину разрушены, здесь не сохранилось никаких отличительных признаков эпохи. Такую же неуверенность испытываешь, обозревая уцелевшие донные части старинной крепостной стены в Бонифачо⁴⁹.

Я должен упомянуть еще о своеобразных укреплениях, которые охотно назвал бы *домашними*: они были предназначены для защиты той или иной семьи от нападения соседей. Это нехитрые галереи с навесными бойницами, расположенные либо перед окнами, либо над входной дверью, которую обычно пробивали довольно высоко от земли, так что к ней вела узкая и крутая лестница. В Соллакаро можно увидеть два сооружения такого рода: некогда они принадлежали владетельным феодалам д'Истриа. В Фоццано, в Ольмето, а также во многих корсиканских городах и селениях, находящихся по ту сторону гор, тоже встречаются похожие сооружения. На плоскогорье Фрассо, неподалеку от башни, о которой я только что рассказывал, стоит небольшой дом, укрепленный таким же образом; он очень хорошо сохранился. В дом этот можно было попасть только через окно, к которому приставляли лестницу; больше того, сам дом построен на вершине такого отвесного утеса, что, думается, нужна была еще одна лестница, чтобы добраться хотя бы до его фундамента. Мне удалось вскарабкаться на этот утес, только ухватившись за ветви дерева, растущего в его расщелине.

Я не стал бы говорить о совсем уж непритязательной системе современных домашних укреплений, если бы название, которое им дают, не свидетельствовало бы об очень старинном их происхождении. Они состоят из толстых брусьев, защищающих нижнюю часть окон; в брусьях этих просверлены узкие отверстия, в которые с трудом можно просунуть дуло ружья. Такие бойницы именуется *archere**: это название указывает на то, что подобные бойницы начали применять еще до появления огнестрельного оружия. К чести современных нравов, я должен сказать, что видел эти бойницы только в селении Арбеллара; однако меня уверяли, что ими еще нередко пользуются.

МОСТЫ

Большую часть старинных мостов здесь приписывают генуэзцам; как и все почти средневековые мосты, они очень узки и приподняты в середине, так что пролеты их неодинаковой высоты, а линия парапета образует тупой угол. С трудом можно постичь странную форму мостов, которая часто встречается на Корсике: они расположены не перпендикулярно к течению реки, а под углом к нему, подступы к мосту, в свою очередь, образуют угол по отношению к оси его пролетов. Обычно очертания такого моста напоминают букву Z. Таков, к примеру, мост Бевинко, который видишь на дороге, ведущей из Бастии на равнину Мариана; таков же и мост Кальцуоло через реку Тараво, на пути из Аяччо в Сартене; можно назвать также мосты в Кортэ — через реки Рестоника и Тавиньяно — и множество других мостов.

Единственной причиной, которая способна объяснить столь странное устройство, могло быть стремление помешать всякой попытке быстро и неожиданно промчаться через мост, пустив лошадь галопом; это позволяет предположить, что в прошлом здесь взимали мостовую пошлину. Однако я нигде не нашел упоминаний о таком обычае. Мосты в Кортэ представляют интерес из-за той

* Бойницы для стрельбы из лука (корсик.).

роли, какую они играли в защите города; поэтому понятно, что подступы к ним всячески старались затруднить. Но мост Бевинко, например, а также мост Кальцуоло удалены от какого бы то ни было населенного пункта и никогда не имели военного значения: поблизости нет никаких следов укреплений. Прибавлю еще, что большую часть года реки, через которые переброшены эти мосты, нетрудно перейти вброд; если же вторжение происходило даже в ту пору года, когда потоки разливались вследствие дождей, то все же и тогда через них можно было переправиться, поднявшись чуть выше по течению. Вот почему я скорее склонен усмотреть в этом странном устройстве мостов слепое подражание какому-то чужеземному образцу, которому бездумно следовали в местности, где оно не имело никакого смысла.

БАРЕЛЬЕФЫ И ИНЫЕ СКУЛЬПТУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Я уже не раз говорил о дурном исполнении барельефов XII и XIII веков, расположенных главным образом над порталами или на тимпанах декоративных аркад⁵⁰. Следующие два века не отмечены почти никаким прогрессом в этом отношении. По правде говоря, мне знакомы лишь относящиеся к этой эпохе надгробные плиты, вделанные в каменный пол некоторых храмов: например, гробница епископа Спинолы в храме св. Петра в Бонифачо и гробница г-жи Сирена, жены Ринуччо делла Рокка, находящаяся в монастыре св. Франциска в Таллано; на этой гробнице высечена дата: «1498». Невозможно вообразить ничего более безвкусного. А между тем, монастырь этот слыл одним из самых богатых на Корсике, церковь его славилась своим убранством. Она была воздвигнута Ринуччо — владетельным феодалом, жившим по ту сторону гор; сначала он был сторонником генуэзцев, а затем стал их смертельным врагом. Во времена революции из этого монастыря перенесли в приходскую церковь св. Лючии, в Таллано, многие предметы искусства, которые в свое время подарил обители ее основатель: среди них можно назвать прелестный маленький барельеф из

мрамора, изображавший пресвятую деву с младенцем Иисусом на руках. Это единственный подлинно прекрасный образец искусства Возрождения, который мне довелось встретить на Корсике. В ризнице той же церкви, позади главного алтаря, можно увидеть несколько картин, прежде составлявших часть запрестольного украшения в монастыре св. Франциска: это лики святых, либо довольно аскетические композиции, вроде увенчания приснодевы; все картины небольшого размера, своим тонким исполнением они напоминают манеру Беллини. Многие головы отличаются благородством и наивностью. Я нимало не сомневаюсь, что и эти и некоторые другие картины, оставшиеся в монастыре, были написаны в Италии. На них не обозначено имени художника, но, как мне показалось, они созданы задолго до основания монастыря, сооруженного в 1492 году.

Во многих церквях Бастии и Аяччо я видел картины мастеров генуэзской школы, но, по-моему, ни одна из них не достойна упоминания, а многие, как мне кажется, — всего лишь посредственные копии.

В собраниях нескольких любителей древности в Бастии и Аяччо я обнаружил очень мало предметов старинной утвари и обстановки, причем почти все они чужеземного происхождения. Средневековое оружие здесь также не часто встретишь; я не знаю ни одного образца, который восходит к периоду до XVII века. Говоря о страсти своих земляков к огнестрельному оружию, Филиппини рассказывает, будто люди продавали единственный клочок земли, чтобы обзавестись великолепной аркебузой, и что не было ни одного корсиканца, который не владел бы одной, а то и несколькими аркебузами, всегда находившимися в отличном состоянии. Куда девалось все это вооружение? Долгое время ружье для корсиканца было не предметом роскоши, а предметом первой необходимости (и по сей день это верно в отношении многих жителей острова). Вот почему я полагаю, что по мере того, как огнестрельное оружие совершенствовалось, аркебузы заменяли мушкетами, а впоследствии мушкеты, в свою очередь, заменили ружьями. Ныне кремневые ружья уже исчезают на Корсике; нередко можно увидеть в руках одетого в лохмотья крестьянина прекрасную двустволку с отличным боем.

Я подробно осведомил Вас, господин министр, о результатах своей поездки на Корсику; результаты эти, увы, более чем скромные, ибо мне пришлось убедиться, что памятников в этой стране очень немного и почти все они маловажные. Разумеется, я осмотрел далеко не все, но сомневаюсь, что на острове удастся обнаружить такие, которые сильно отличались бы от описанных мною в этом докладе. Если бы мне было позволено дать совет Вашим корреспондентам, а также тем знатокам древности, которые будут путешествовать по Корсике после меня, то я бы рекомендовал им обратить особое внимание на сооружения из камней, принадлежащие к давней и загадочной цивилизации, ибо мне удалось сообщить Вам лишь о немногих памятниках такого рода. Описать еще мало известные дольмены и менгиры, изучить расположение этих необычных сооружений, обследовать те места, где они, возможно, имеются, собрать точные сведения о погребальных урнах, где покоятся трупы, и о предметах, погребенных вместе с усопшими, — словом, свести воедино все документы, все факты, которые помогут нам понять истоки цивилизации на Корсике, — вот те труды, какие способны, по-моему, сослужить истинную службу истории и археологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Саллюстий, *Фрагменты*, книга II.

² Геродот, *Клио*.

³ Секст Авиений считает местопребыванием лигурийцев юго-западную часть Испании (Эстремадура или Альгарв). Г-н Амедей Тьери предполагает, что они покинули эту страну вследствие вторжения кельтов, которое, видимо, произошло в XVI веке до рождения Христова. Однако Сенека утверждает, что лигурийцы появились на Корсике только после этрусков и даже после того, как там уже побывали греки; между тем греки из Фокеи обосновались на Корсике лишь около 550 года до нашей эры. Отсюда следует, что лигурийцы прибыли на Корсику из Галлии либо с северо-западного побережья Италии.

⁴ Еще во времена Августа они продолжали называть себя корсиканцами.

⁵ По сообщению Павсания, Аристей, зять Кадма, будто бы отправился в Сардинию; это путешествие могло иметь место в XVI веке до рождества Христова. После него туда, видимо, явились иберы, затем — беотийцы и греки из Аттики, и, наконец, — беглецы из Трои. Много позднее карфагеняне, должно быть, изгнали с Сардинии всех этих чужеземцев, за исключением троянцев и корсиканцев, — об их присутствии там упоминает Павсаний, говоря, что они оказывали сопротивление карфагенянам. Если бы иберы прибыли в Сардинию сразу же после Аристея, то есть в XVI веке до нашей эры, то они, вероятно, обосновались бы также и на Корсике. Однако Сенека, напротив, говорит о прибытии жителей Испаний (иберов) на Корсику как о событии, которое произошло в строго определенное время, а именно — позднее прибытия туда греков из Фокеи. Можно было бы примирить свидетельства Павсания и Сенеки, либо предположив, что иберы могли появляться на этом острове дважды, либо допустив, что иберы прибыли на Корсику лишь после того, как карфагеняне изгнали их из Сардинии.

⁶ Страбон, книга V.

⁷ Христианская религия, должно быть, проникла на Корсику в IV веке, а быть может, даже раньше. Мученическая кончина св. Юлии, рассказ о которой был опубликован последователями Болланда, видимо, произошла между 470 и 477 годами.

В 484 году некий корсиканский епископ был выслан во внутреннюю часть Африки королем вандалов Гуннериком.

Во времена папы Григория I, в начале VII века, Корсика еще полностью не отреклась от язычества. По этому поводу папа в 598 году направил епископу Алерии, Петру, особое послание.

⁸ В середине прошлого века пираты с североафриканского побережья еще захватывали в плен людей на мысе Корс и увозили их с собой.

⁹ Примечательно, что это событие произошло в той части острова, где некогда находились римские колонии.

¹⁰ Робики. *Исторические и географические изыскания о Корсике.*

¹¹ В 1284 году.

¹² Судя по описанию г-на Матье, дольмен еще в его время, видимо, был в целости и сохранности. Ныне, однако, никто из жителей Соллакаро не помнит, чтобы кровля дольмена была на месте.

¹³ Некоторые народные суеверия, которые стали мне известны, должно быть, сохраняются скорее из уважения к их древности, нежели потому, что в них еще сколько-нибудь верят.

Очень распространено древнее убеждение, будто можно накликать несчастье взглядом или похвалами. На корсиканском наречии это называется *innochiare*, *annochiare*. Не всякий способен

вас сглазить — для этого у человека должен быть дурной глаз; часто такой человек причиняет зло, сам того не желая. Похвалы могут принести несчастье главным образом детям. Не одна мать, услышав, что вы восхищаетесь красотой ее сына, скажет вам: «*Nun te l'annochiate*» — «Не сглазьте мне его». И нередко можно услышать, как корсиканцы с нежностью говорят ребенку: «*Che tu sia maladetto — scomunicato*», то есть: «Будь ты проклят — пусть тебя отлучат от церкви», ибо из-за действия чар все сбывается наоборот. Таким образом выражают доброе пожелание, не нанося вреда тому, к кому оно обращено.

Я слышал рассказы о некоторых бандитах (это слово всегда следует понимать в смысле «изгнанник» или «преследуемый»), которые носили на теле освященную повязку, дабы сделать себя неуязвимыми для пуль. В корсиканском наречии даже существует особое слово для обозначения такого рода чар — *ingermare*. В эти чары глубоко верили и во Франции в XVI веке: тогда люди делали себя *dur*, то есть неуязвимыми, при помощи всякого рода амулетов.

Вот еще одно, последнее, суеверие, которому я был свидетелем. Одна женщина в моем присутствии сунула погасшую головню в кучу маиса, лежавшую под открытым небом. Я спросил у нее, зачем она это делает, и женщина после уговоров ответила со смущенным видом, что это помешает *streghe*, то есть помешает колдуньям похитить зерно... Года два назад я наблюдал в Жарго, возле Орлеана, как священник в епитрахили благословлял костер в Иванов день. Мужчины и женщины набросились на горящие головни и унесли их с собой; как мне объяснили, головни эти должны были помешать молнии ударить в их дом. В 1839 году я видел в Шамборе похожую головню, прибитую над воротами какого-то замка.

Прибавлю, что во Франции чуть ли не ежегодно сжигают или казнят по два колдуна; на Корсике им не мешают заниматься своей магией, единственное, что им здесь угрожает, это кара на том свете.

¹⁴ Вот один пример из тысяч: все археологи сходятся лишь на том, что, по их мнению, дольмены предназначались для человеческих жертвоприношений. Много раз люди весьма сведущие показывали мне на камнях, служивших кровлей этим памятникам, углубления, куда, по их словам, укладывали человека перед тем, как его зарезать. Я уже говорил, что, к великому моему сожалению, всегда считал эти углубления результатом воздействия дождя и ветра. Так вот, эта столь распространенная версия находится в явном противоречии со свидетельством Диодора Сицилийского: он утверждает, что жертва друидов стояла на ногах, ибо, именно наблюдая за падением обреченного, они и делали свои предсказания.

¹⁵ У басков, у которых наличествует большинство этих внешних признаков, гораздо более выдающиеся скулы и широкое лицо, а главное, подбородок у них очень длинный и вытянутый.

¹⁶ Коль скоро я уж заговорил о мести, то позволю себе дать некоторые объяснения по этому поводу. Чувство мести, еще сильно развитое у нынешних корсиканцев, не может считаться чертою характера у современных валлийцев: должно быть, исключительная переменчивость помогает им легко забывать обиды. Но следует ли называть жажду мести страстью? Не есть ли это скорее одно из проявлений тщеславия? Корсиканская месть — это, собственно говоря, лишь старинная и дикая форма дуэли, которую я назвал бы национальным и прочно укоренившимся у нас во Франции обычаем. На Корсике богач — не в пример нашей стране — не отделен от бедняка сословными барьерами. Пожалуй, нигде вы не встретите меньше аристократических предрассудков, и нигде различные классы общества не находятся в более непосредственных и, я бы сказал, тесных отношениях, чем на Корсике. Все богачи здесь — землевладельцы, и живут они на своих землях в окружении своих арендаторов и пастухов, с которыми обходятся куда более учтиво, нежели это принято во Франции. Часто на Корсике можно наблюдать, как хозяин сидит за одним столом со своими работниками, а те обращаются к нему по имени, и все смотрят на себя как на членов одной семьи. Эта любовь к равенству, которая, замечу мимоходом, не менее сильно выражена и в характере французов, приводит к тому, что богач и бедняк придерживаются одних и тех же взглядов, ибо они ими постоянно обмениваются. На европейском континенте зажиточные люди в городах дерутся друг с другом на дуэли, но если бы они жили в тесной близости с простолюдинами, то те также дрались бы на дуэли. Двое наших крестьян бранят один другого, но не дерутся на дуэли; став солдатами, эти же люди из-за малейшего оскорбления затевают поединок, ибо они живут теперь в среде, где существует преувеличенное понятие о чести. Прибавлю, что некогда месть была на Корсике суровой необходимостью, ибо в период мерзкого владычества генуэзцев обиженный бедняк не мог рассчитывать на правосудие. Даже в наши дни тяжба почти всегда предшествует убийству. Мечь укоренилась на Корсике, приняв тут характер незыблемого обычая, предрассудка, который разделяют даже иностранцы, постоянно живущие на острове; в этом году я сам наблюдал красноречивый пример мести среди греков, обитающих в Карджесе, а ведь они долгое время славилась мягкостью нравов. Повторяю, обычай, жестокий предрассудок, заставляющий человека сидеть в засаде с ружьем в руках с тем, чтобы наверняка убить своего врага, — это форма дуэли, такая же, как поединок на шпагах или на пистолетах. И, как ни отвратителен этот предрассудок, не следует судить о нем по его по-

следствиям, а главное, не следует видеть в нем отличительную черту целого народа. Лучше уж обратиться к первопричинам явления и попытаться понять, не является ли оно пороком, присущим человеческой природе вообще. Следует пожалеть, что наши гуманные формы дуэли не были перенесены на Корсику. Храбрость и тщеславие, присущие жителям этого острова, привели бы к быстрому внедрению дуэли, и, судя по всему, вследствие этого ссоры между корсиканцами стали бы куда менее кровопролитными. (В работе г-на Робике рассказывается о том, как запрет, наложенный властями на дуэль, привел к четырем убийствам.)

¹⁷ Лишь в одном географическом названии я усмотрел иберийский корень. Это Антона. «Аитц» на баскском наречии — «утес, ветер»; «она» — «хороший».

¹⁸ Г-н Грегори соблаговолил передать мне любопытный текст Скимна с острова Хиос; из него можно заключить, что этот географ смотрел на Корсику как на остров, зависимый от той части европейского материка, где жили кельты.

¹⁹ Роль этого символического ключа легко объяснима в погребальном обряде.

²⁰ Я знаком с этими памятниками лишь по рисункам, которые мне соблаговолил передать г-н делла Мармора.

²¹ Был консулом в 494 году от основания Рима.

²² По большей части они относятся к раннему и позднему периоду Римской империи. Особенно много здесь монет императора Константина. Я видел на Корсике лишь две монеты периода Римской республики; их показывали мне в г. Леви, но обе они были найдены в Алерии.

²³ Префект Корсики обладает весьма любопытным камнем: это сердолик, на котором вырезана голова юноши; на завитых волосах его — сетка, похожая на те, какие были обнаружены в погребальных урнах, найденных в виноградниках св. Иоанна; возможно, что такие сетки были национальным головным убором.

²⁴ Древние называли эту реку Ротанус.

²⁵ Быть может, эта часть города была заброшена в эпоху, когда население Алерии сильно поредело, а, возможно, это произошло тогда, когда нападения мавров вынудили жителей переселиться в ту часть города, которую легче было защищать. В городе Лилльбон также можно видеть заброшенный квартал.

²⁶ Столб стоит чуть наискось, в нескольких метрах от северного угла крепостной ограды.

²⁷ Примеры такого рода часто встречаются; однако составить твердое мнение на сей счет удастся лишь в том случае, если подземелье будет полностью расчищено.

²⁸ Я приписал эти сооружения мусульманам, но они могут быть и делом рук христиан VII или VIII века.

²⁹ После написания этих заметок я прочел интересное исследование г-на Робике, который утверждает, будто Бонифачо стоит на месте старинного порта Фавони. Город Палла, видимо, находился на мысе Тиццано.

³⁰ Несколько лет назад некоторые глыбы были вывезены из каменоломни: из них вытесали столбы для причалов в порту Бонифачо.

³¹ Г-н делла Мармора обнаружил нечто подобное и на одном из сардинских островков возле Маддалены.

³² Колонны, которые стоят в апсиде церкви св. Пертео, сделаны из розоватого гранита, совсем непохожего на тот, который добывали в каменоломне острова Кавалло.

³³ Многие корсиканцы перешли в мусульманскую веру.

³⁴ См. ниже описание церкви св. Кристины в Червионе.

³⁵ Резьба эта выполнена не всюду; она не отличается, кстати, ни изяществом, ни богатством, какие присущи романской архитектуре на юге Франции.

³⁶ В 1119 году архиепископ Пизы Петр прибыл на Корсику в сопровождении многочисленной свиты.

Нельзя ли предположить, что именно в это время и была реставрирована соборная церковь на равнине Мариана?

В 1550 году она уже была примерно в том состоянии, что и ныне.

³⁷ Вокруг этого храма видны остатки крепостной ограды, которая, думается, была сооружена одновременно с церковью; ограда, несомненно, имела военное значение.

³⁸ Размер гранитных, тщательно обтесанных камней — от 30 до 40 сантиметров.

³⁹ Внутри колокольня имеет в ширину три метра. Толщина ее стен — один метр.

⁴⁰ Считается, что Неббио — некогда довольно большой город — был разрушен сарацинами. Церковь, воздвигнутая после их изгнания, принадлежала какому-то монастырю.

⁴¹ Пилястры в апсиде вовсе не имеют капителей.

⁴² Из белого и очень хорошего известняка.

⁴³ Следует помнить, что стрельчатая арка, которую довольно рано начали применять на юге Франции в сводах и аркадах, появилась в оконных проемах много позднее того времени, когда она приобрела широкое распространение на севере страны.

⁴⁴ Церковь св. Екатерины в Сиско была воздвигнута неподалеку от развалин старинного аббатства, возникновение которого относят к 400 году нашей эры. Виталис сообщает, что он встречал в старинной дарственной грамоте, составленной корси-

канским феодалом маркизом де Масса в пользу монахов Монте Кристо, упоминание об этом храме или аббатстве, названном там *Sancta Maria Magdalena fluminis Sauri**. Эта же самая церковь позднее перешла к монахам-камальдулам на основании буллы папы Климента VI; произошло это приблизительно в 1342 году. Семидеи, говоря о башне, руины которой еще видны на мысе Сагро, замечает, что мыс этот в старину называли мысом Сауро.

⁴⁵ Такая поездка занимает слишком много времени, так что предание это кажется маловероятным.

⁴⁶ Замечу мимоходом, что римские цифры в апсиде разделены точками, стоящими между каждым разрядом чисел; это сделано с явной целью облегчить прочтение даты: M. CCCC. LXX. III. Не указывает ли это на постепенный переход от римских цифр к арабским? Такое разделение римских цифр часто наблюдалось в средние века; в нынешнем году я сам видел довольно убедительный пример тому в надписи, врезанной в одну из стен церкви в городе Крэст (департамент Дром): надпись эта повествует о привилегиях, дарованных городу в 1188 году.

⁴⁷ Кладка этой колокольни, воздвигнутой, впрочем, относительно недавно, заслуживает упоминания вследствие своей необычности. Ряды образующих ее гранитных глыб расположены не горизонтально. Можно счесть это подражанием так называемой циклопической кладке.

⁴⁸ Побережье Корсики защищали башни, которые были сооружены никак не раньше XIV века. Их строили на счет местных жителей, которые шли на все, лишь бы обеспечить безопасность побережья от набегов североафриканских пиратов. В начале XVIII века число этих башен достигало 85. Канари следующим образом перечисляет их:

- 15 башен — на северном побережье острова,
- 34 — на западном побережье.
- 6 — на южном побережье.
- 30 — на восточном побережье.

⁴⁹ Утес, на котором построен город Бонифачо, очень крут и почти со всех сторон нависает над морем. Еще и сейчас вам показывают две лестницы, вырубленные прямо в скале и ведущие к узкой полосе песчаного берега, которую нередко заливают волны. Одна из этих лестниц служила монахам обители св. Марии: они спускались по ней к берегу моря в те часы, когда рыбаки возвращались с уловом, для того чтобы получить свою долю рыбы. Другая лестница, по преданию, была вырублена солдатами Альфонса Арагонского, которые рассчитывали таким способом овладеть городом Бонифачо во время памятной осады 1420 года.

* Св. Мария Магдалина, свет Саури (лат.).

Однако достаточно вспомнить о высоте утеса, который круто поднимается более чем на двести футов, чтобы убедиться в невозможности осуществить подобную работу на глазах у врага. Известно своеобразное расположение гавани Бонифачо, вход в которую столь узок, что его можно принять за русло реки, пробивающей себе путь меж двух громадных утесов. Блокировать эту гавань и преградить в нее доступ — дело нетрудное. Арагонцы добились этого, протянув цепь с одного берега пролива на другой. Осажденные, без сомнения, заранее предвидели такую опасность и нашли способ сообщаться с морем со стороны, противоположной гавани. Очевидно, в этих целях и была вырублена лестница, сооруженная которой приписывают арагонцам. По всей вероятности, мужественные жители Бонифачо, поспешившие сообщить о приближении генуэзского флота, поднялись в город этим путем, а не втаскивали на утес при помощи лебедек друг друга и свой челн, как утверждает Петр Кирнеус в своем слишком уж поэтическом рассказе об осаде Бонифачо.

⁵⁰ Мне следовало бы раньше упомянуть о двух любопытных барельефах, которые находятся в городе Алерия: их, видимо, перенесли туда из какого-нибудь ныне уже разрушенного храма. На одном из них, вделанном в стену современного дома, изваяно чудовище с двух головами. На другом барельефе изображены два фантастических чудовища, борющихся друг с другом. Это излюбленный сюжет средневековых ваятелей. Я полагаю, что оба барельефа относятся к началу XIII века: они выполнены топорно, однако гораздо лучше, чем большинство скульптурных украшений, о которых я уже упоминал.

Приложение

НАРОДНАЯ КОРСИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Я привожу здесь несколько образцов народной корсиканской поэзии. Когда умирает человек, особенно если его убивают, его кладут на стол, и родственницы — а если их нет, то жены или дочери друзей, а то и вовсе посторонние женщины, известные своим поэтическим даром, — импровизируют стихотворные причитания на местном наречии. Порою дочь или вдова покойного поет либо декламирует над его трупом. Подобный же обычай существует и у греков, где этого рода надгробные причитания называются *Μοιρολόγι*. На Корсике их именуют: на восточном побережье — *voceru*, *bisceru*, *bisceratu*, а по ту сторону гор — *ballata*. Слово *voceru* происходит от латинского глагола *vociferare**, от которого корсиканцы отсекли два слога.

Обычная тема этих песен — месть, и нередко какая-либо прославленная *bisceratrice*** оказывает такое влияние на окружающих неистовым пылом своих свирепых импровизаций, что все селение берется за оружие.

Если человек умер от болезни, то надгробные причитания сводятся к набору общих мест, к восхвалению его добродетелей и так далее. Обыкновенно над ним причитает его вдова; она вопрошает усопшего: «Чего тебе не

* Кричать, вопить (лат.).

** Плакальщица (корсик.).

хватало? Разве не было у тебя дома? Коня? Зачем ты нас покинул?»

Недавно в Боконьяно умер один человек; друзья пришли в его дом, чтобы по здешнему обычаю поцеловать покойника. И один из них сказал, обращаясь к нему: *O che tu fossi morto delle mala morte, t'avremmo vendicato!*— «О, почему не умер ты злою смертью (то есть не был убит)! Мы бы отомстили за тебя!» Как видите, Корсика еще очень мало похожа на европейский континент.

СЕРЕНАДА ¹ ПАСТУХА ИЗ ДЗИКАВО

Пойду я в город к нашему судье,— тебя хочу я в краже обвинить; пойду туда в присутственный я день, свое прошение ему вручу, а коли там я правды не найду,— до самого министра я дойду: негоже девушке такою быть — внушать любовь и не любить самой.

Но коль меня захочешь полюбить, то вот как ты должна себя вести: услышишь голос мой, меня кляни, а увидав меня, перекрестись; и кумушки прикусят языки, заметив, что меня ты гонишь прочь; а после, вечерком, пошли за мной подружку задушевную твою.

Тебя я радостью зову своей; я от любви к тебе стал глух и нем, и мучусь пуще грешника в аду, и весь горю, о помощи молю. Неблагодарная! Смеешься надо мной? Зачем меня ты в сети завлекла? Уж лучше без взаимности любить, чем быть любимым и обманутым тобой.

Душа моя! Смотри, какой я стал: вхожу во храм, но где я — не пойму; не слышу, что священник говорит, и «Богородицу» я не могу прочесть,— губами шевелю, а толку нет, затем, что слишком верен я тебе. Тебя одну я лицезреть хочу.

Как только где увижу я тебя, тотчас молю: «Голубушка, стой! Позволь мне наглядеться, не спеши, ведь больше ни о чем я не прошу». Твоя мамаша злобная меня хотела б мертвым увидеть скорей; кричит: «Эй, ты, проваливай отсель и на мою девчонку глаз не пяль!»

Я исповедаться вчера пошел, и знаешь, что велел священник мне? Он приказал совсем тебя забыть, не то, сказал, зачахну и умру. Но без тебя скорей зачахну я, сойду с ума, сокровище мое! Скажу тебе я правду, не солгу: любя тебя, невольно я грущу, а если разлюблю, то мне не жить.

Больной быстрее с постели хочет встать, стремится узник выйти из тюрьмы, попутный ветер нужен моряку, чтобы он мог направить парус свой. Тот алчет золота, тот — серебра, а этому цехины подавай! А я, я только одного хочу: хочу поцеловать твой алый рот, поцеловать — и после умереть.

Влюбленный голубок чертит круги, над лесом и над полем он парит, воркует здесь, там в воздухе кружит, — свою подружку хочет он найти. А коли не отыщет, загрустит и жалобно песню запоеет; когда же я тебя не нахожу, то мука смертная меня томит.

Я так тебя люблю, душа моя!.. Никто тебя не станет так любить, навек ты в сердце вписана мое, из головы нейдешь ты у меня. Ты хочешь ли понять, как я люблю? Изволь, скажу: всем сердцем, всей душой! Когда бы без тебя я в рай попал, то оставаться бы не стал в раю.

ПОГРЕБАЛЬНОЕ ПРИЧИТАНИЕ ИЗ НЬОЛО

Пряжу я пряла на прялке,
Вдруг ужасный шум раздался:
Прогредел ружейный выстрел
И в груди моей отдался,
И почудился мне голос:
«Брат твой с жизнью распрощался».
Распахнувши дверь, в испуге
Я наверх к нему вбежала.
«В сердце я навывлет ранен!» —
Прохрипел он. Я упала.
Хорошо, что в ту минуту
Разум я не потеряла.
Шаровары я надену,

Пистолет себе добуду.
Вся в крови твоя рубаха²:
Век про это помнить буду...
Нет мужчины в доме нашем,
Я о мести не забуду...
Кто ж злодеев покарает?
Силы кто найдет такие?
Наша мать, что в землю смотрит?
Иль сестра твоя, Мария?
Если б Ларио³ не умер,
Были б мертвы те, другие!
Оскудел наш род могучий,
И сестра твоя вдовеет —
Нету брата, нету мужа —
Молча в горе сиротеет...
Все же можешь быть спокоен:
Отомстить она сумеет!

ПРИЧИТАНИЕ БЕАТРИЧЕ ДЕ ПЬЕДИКРОЧЕ

*на смерть Эммануэли из Пьяццолле,
мирового судьи кантона Орещца, убитого в 1813 году*

Эту весть я услышала
У источника с водою.
Я спросила: «Что случилось
Нынче под горой Орещца?»
И сказали мне: «В Пьяццолле
Пролилася кровь людская».
Шла я мимо нашей церкви,
Света божьего не видя,
И платок, что я держала,
Вымок, точно был в реке он.
На земле лежит мой голубь,
Перышки летят по ветру...
Вы довольно отдохнули,
Господин судья, во храме.
Не пора ли вам подняться?
Ведь давно вас ждет священник,

И накрыт уж стол к обеду.
Нынче вашу кровь пролили,
Пьет ее земля сырая...
Если б я была при этом,
Вашу кровь бы собрала я
И Пьяццоле окропила б,
Чтобы кровь та ядом стала! ⁴
Проклинаю перст поганый!
Проклинаю злую руку,
Руку подлую убийцы!
Кто он? Турок? Лютеранин?
Из страны ли он соседней?
Или из земли далекой?
Где же ваша дочь родная?
Пусть себе платочек купит
И его в крови омочит,
В благородной отчей крови!
Пусть платком повяжет шею,
Чтоб не шло на ум веселье.
Подымайтесь, поселяне,
Все свои дела оставьте!
Вижу, вы уже идете,
Вы уже вооружились.
Умер наш судья почтенный,
Наш защитник и заступник ⁵.

ИМПРОВИЗАЦИЯ (баллата)

Марии Р. по случаю смерти ее мужа, убитого вместе со своим двоюродным братом на дороге из Таллано в Леви (1838 год)

Любовь сестры своей ⁶, возлюбленный мой брат, коричневый олень, бескрылый сокол мой! Неужто здесь Она? ⁷. Не верю я тому. Вас вижу пред собой, рукой касаюсь вас, супруг возлюбленный, лобзаю ваши раны.

Мой мраморный утес, мой парус на волнах, мой сказочный герой, дитя земли родной! Я знала наперед: жизнь нам грозит бедою.

Он быстроногим ⁸ был, он стойким был в бою. Когда бы он имел оружие с собой, обидеть не посмел никто б его тогда.

Он слаще меда был! Вкуснее хлеба был! Казалось, что сам бог его рукой слепил.

Как привечали вас в том городке Леви! Все вышли из домов, был слышен крик: «Виват!» Епископа приезд не отмечают так.

Когда бы знать могла ваша сестра о том!.. Ведь родители мои боготворили вас; мужчин несметный рой я б привела туда, и впереди их всех сама бы я пошла!

Я прискакала к вам. В чем провинилась я? Не вышли вы ко мне, не встретили меня; простоволосая, я к вам в покой вошла, и там лежали вы, пронзенный, словно вепрь.

О сладкий сахар мой, мой вересковый мед! Возлюбленный мой брат! Застыла кровь моя.

Как часто мой отец мне говорил о вас! Высматривал он вас в подзорную трубу ⁹. И вот вы к нам пришли,— я приглянулась вам.

Как солнышко, ясны! Как море, широки! Как горы, высоки! Вот были вы какой!

Не плачьте, матушка ¹⁰. Я буду вам как дочь. Упал наш гордый дуб с зеленою листвою. Отныне мой удел — лишь горе и тоска.

Не прибрана постель, и не замешан хлеб... Приехала вчера, а нынче ухожу... О, как несчастна я! Зачем я родилась? Ведь утром вся в цветах и в кольцах я была, теперь их надо снять. Мой брат! Уж пробил час, опять должна надеть я черные цвета. До гробовой доски ¹¹ их больше не сниму.

Я в среду поутру вас с трепетом ждала и не сводила глаз с дороги в этот час — не ведала еще, что вы в руках убийц.

Ах! Если б знала я в тот день, на рождество, когда вы, изловчась, хотели сесть в седло!.. Но в тот же самый миг вы были сражены¹²... О, лучше б мне тогда совсем не встретить вас!

В отлучке братья все, здесь нет ни одного: Антонио в *макй*, и в Бастии Пьерро. Меня со всех сторон преследует беда.

О, горе королю! Проклятие суду! Всем тем, кто запретил оружие носить¹³. Теперь пора убийц,— мы средь убийц живем! Ведь будь вооружен мой муж, он был бы жив: боялись все его, как моря, как огня. Увы! Постыла жизнь, ничто не мило мне.

Чтобы воспеть его, быть надо не женой,— поэтом надо быть иль римским школяром, легко водить пером или парик носить. О да, чтобы воспеть все подвиги его, серебряным пером, чернильницей золотой должна бы я владеть; чернилами — моря, бумагою — земля должны бы мне служить!

Нет, низости такой еще не видел свет! За что убили их, не причинивших зла? Невинными они погибли, как Христос.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Обычай петь серенады уходит в прошлое. Еще несколько лет назад их можно было услышать очень часто: их пели, аккомпанируя себе на гитаре, и перед каждым новым куплетом музыканты разряжали ружья, стреляя в воздух.

² Окровавленная рубаха убитого хранится в его семье, чтобы напоминать о мщении. Ее показывают родичам, чтобы побудить их наказать убийц. Иногда вместо рубахи сохраняют клочки бумаги, омоченные в крови убитого; клочки эти вручают его детям, как

только они достигают возраста, когда уже могут обращаться с ружьем.

³ Уменьшительное имя — от имени Илларион.

⁴ Намек на окровавленную рубаху. Женщина-импровизатор хочет сказать, что она собрала бы кровь убитого мирового судьи и показала бы ее друзьям его в Пьяццолле, чтобы побудить их к мести.

⁵ Это причитание, как и предыдущее, передал мне г-н Капель, советник королевского суда в Бастии, который готовит сейчас интересный труд о нравах и обычаях корсиканцев.

⁶ На Корсике супруги ласково называют друг друга *fratello, sorella*, то есть «брат, сестра». В Испании они называют друг друга *hijo, hija*, то есть «сын, дочь».

⁷ Имеется в виду смерть. Ее не называют, чтобы не произносить вслух пагубного слова.

⁸ Чисто гомеровское выражение.

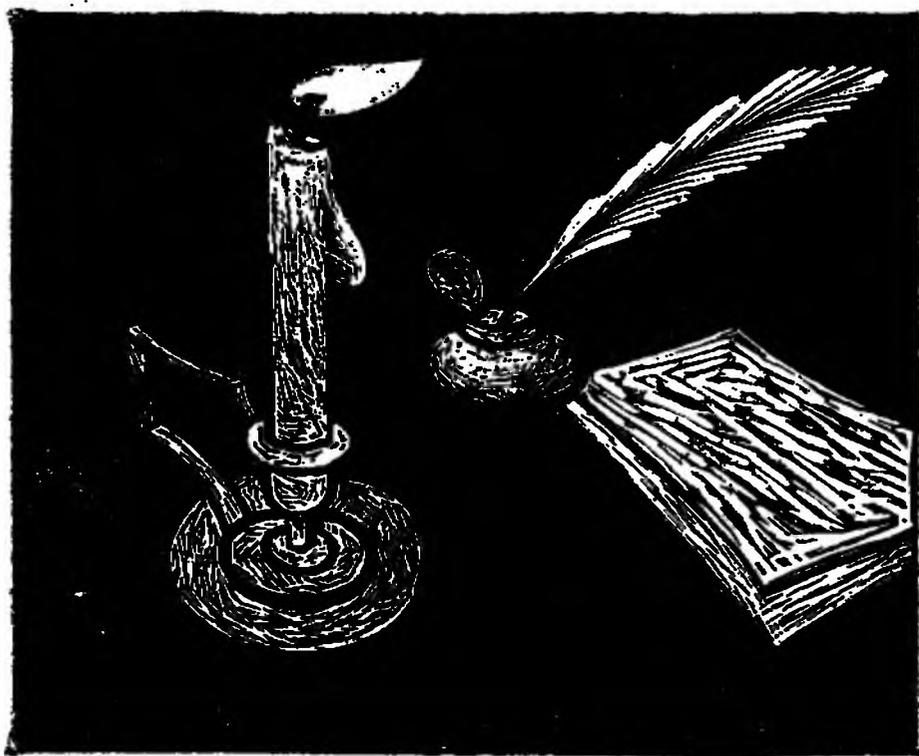
⁹ Привычка быть постоянно начеку и опасаться внезапного нападения привела к тому, что подзорная труба сделалась предметом обихода. Почти все те, кто скрывается в маки, не расстаются с нею.

¹⁰ Я думаю, что она обращается к своей свекрови.

¹¹ Траур по мужу носят всю жизнь. Очень редко вдова вторично выходит замуж.

¹² Я не вполне уверен, что правильно понял смысл последней фразы. Ее можно перевести и так: «Но, увидав меня, тотчас влюбились вы».

¹³ Намек на запрещение носить оружие до начала охотничьего сезона и после его окончания.



Статѝи

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ИСПАНИИ



До Майкеса испанский актер, чуждый самым обычным представлениям о своем искусстве, ограничивался рабским подражанием тому, что на его глазах делали его предшественники. При этом он с полной искренностью полагал, что ему надо только знать свою роль на зубок и произнести ее на сцене без лишнего шума. Если он выполнял эти два условия, то мог с полной уверенностью рассчитывать на аплодисменты публики. На декорации и костюмы обращалось столь же мало внимания.

В пьесе под заглавием *Наставник Александра* актер Роблес исполнял роль Аристотеля в вышитом камзоле, шелковой мантии, хорошо напудренном парике, при шпаге и трости с золотым набалдашником. А между тем Роблес являлся тридцать лет тому назад Росцием испанского театра, хотя он начинал говорить, лишь предварительно кашлянув пять-шесть раз или поиграв носовым платком, перчатками либо тростью, которую перекладывал из одной руки в другую. После этого можно составить себе суждение о том, пришлось ли актерам по вкусу новое направление в драматургии. Потому-то Моратину и было так трудно сперва добиться, чтобы его комедии принимались к постановке, а затем чтобы репетиции проводи-

лись с тщательностью, требуемой для сценического успеха. А другим, менее известным или менее ловким писателям неизбежно приходилось страдать от интриг или плохой игры актеров.

Однако же в начале XIX века благодаря сетованиям просвещенных людей и насмешкам иностранцев испанское правительство решилось учредить нечто вроде трибунала по делам драмы (*junta censoria*), куда входили известные литераторы, между прочим, Моратин и Эстала. Основана была школа декламации, подобная парижской, и во главе ее поставили г-на Кастьяноса, бывшего актера, обладавшего большим опытом: он много путешествовал по Франции и Англии с целью изучить сравнительный прогресс сценического декламационного искусства. К сожалению, ему недоставало главного качества, необходимого преподавателю, — умения обучать. Вдобавок *junta censoria* принялась издавать неприменимые правила и чинить молодым авторам новые препятствия. Таким образом, два учреждения, которые могли бы иметь решающее влияние на испанский театр, оказались бесполезными, и второе из них, может быть, надолго осталось бы в том же состоянии, если бы Майкесу не пришла в голову счастливая мысль покинуть на время родину и провести несколько месяцев в Париже.

Майкес был сыном посредственного актера и с юных лет посвятил себя отцовской профессии. Двадцати лет он едва умел читать, а к тридцати еще не обучился письму. Ему так и не довелось приобрести внешний лоск, который дает общение с людьми света. Искусство не дало ему ничего, но природа щедро вознаградила его за это, — она наделила его всевозможными физическими и нравственными качествами: изящной фигурой, греческим профилем, красивыми, очень выразительными черными глазами, звонким и богатым оттенками голосом, телодвижениями, всегда соответствующими мысли, благородной осанкой, умением принимать скульптурные позы, тонкой чувствительностью, творческой живостью ума и природным здравым смыслом, который всегда хорошо служил ему во всех непредвиденных и щекотливых положениях. Все эти качества сделали его одним из самых замечательных людей, когда-либо рождавшихся на Иберийском

полуострове. Ему не хватало лишь одного: родиться в стране, которая сумела бы лучше оценить его дарования и лучше воспользоваться ими.

Майкеса могла лишь возмутить порочная система сценической декламации, распространению которой содействовали невежество и мода. Он явился в Мадрид и, поддержанный только своей мощной способностью вникать в предмет и наблюдать его, осмелился говорить на сцене так, как говорят в обыденной жизни. Но пример одного лишь человека, не имеющего влияния ни на публику, ни на людей своей профессии, только раздражал сторонников рутины. Его обвиняли в холодности и нерадивости или освистывали, когда он пытался говорить. Тем не менее в течение трех лет Майкес упорно держался своей системы. Под конец, убедившись, что ему не удастся одолеть слепое упрямство публики, если он не сможет опереться на чей-нибудь непререкаемый авторитет, он продал все, что у него было, на оплату поездки в Париж и отбыл, заявляя, что едет к знаменитому Тальма совершенствоваться в сценическом искусстве.

Этот удивительный человек не знал ни одного слова по-французски, и, казалось, ничто не могло ему обещать в Париже никаких выгод и удовольствий. Бедный, не имеющий ни покровителей, ни друзей, ни рекомендаций, он знал, что окажется в положении человека, упавшего с луны. Впрочем, он не собирался оставаться в Париже дольше восьми — десяти месяцев, прекрасно при этом понимая, что такой срок недостаточен. С какими же намерениями он ехал в Париж? Да ему просто хотелось иметь возможность рассказывать по возвращении о Париже. И здесь следует заметить, что Монтестье, Вольтер и вообще большая часть иностранцев, писавших об Испании, давали об испанцах ложное представление, утверждая, что это один из самых гордых и тщеславных народов в Европе: во всем, что касается литературы и искусства, это совершенно неверно. Для испанца человек, с которым он ежедневно видится на прогулке, не писатель, не артист и не литератор, это всего-навсего его знакомый. Его тщеславие (если таковое имеется) относится к вещам уже минувшим или же связано с еще не возникшими, но оно пренебрегает тем, что проходит у него непосредствен-

но перед глазами. В этом отношении Испания может рассматриваться как рай для мертвых, внутриутробное бытие для еще не родившихся и чистилище для живых. Современный продукт национального творчества оценится в ней лишь постольку, поскольку он касается нравов или институтов зарубежья: одним словом, в нем находят лишь одно достоинство — заимствование, и для того, чтобы понравиться испанцам, в нем не должно быть ничего испанского. Так и Майкес, которого презирали, пока он не уехал из Испании, стал предметом всеобщего внимания, едва только мадридские артистические кружки объявили о цели его путешествия. Его сразу перестали называть однообразным и пресным актером; теперь в нем видели только будущего ученика Тальма, бесстрашного путешественника, который в своем стремлении обучиться новому решил преодолеть громадное расстояние между Мансанаресом и Сеной.

По приезде в Париж Майкес отправился с визитом к Тальма; тот принял его весьма сердечно и попросил прочесть отрывки из какой-нибудь испанской трагедии, которые дали бы возможность судить о его даровании. Майкес продекламировал десятка два стихов из одной трагедии Айялы, и Тальма был так поражен выражением и мимикой его лица, немой красноречивостью взгляда, естественностью жестов, что не колебался сразу же отвести ему одно из первых мест в храме Мельпомены.

Путешествие это не могло не расширить умственных горизонтов Майкеса. Он наблюдал, сравнивал и усваивал все, что могло служить ему на потребу. Он остерегся от того, чтобы в искусстве Тальма, Лафона и мадмуазель Марс черты подлинного искусства смешать со всем, относящимся либо к национальным нравам и обычаям, либо к механизму французской версификации. Поэтому он почерпнул у французских актеров лишь то, что применимо было к испанской сцене. Можно добавить на основании его собственных признаний, что в отношении декораций, внутреннего распорядка в театре и исторической верности костюмов он за время своего путешествия очень многому научился.

Возвращение Майкеса в Мадрид после десятимесячного отсутствия отмечено было самым блестящим успе-

хом. Публика соблаговолила заметить, что он ученик Тальма. Непринужденность его манер и достоинство, с которым он держался на сцене, явно свидетельствовали о том, что он подышал воздухом Сен-Жерменского предместья. Прекрасный пол находил его лицо более привлекательным и живым, с тех пор как оно омылось в прозрачных струях Сены; усомниться в этом было бы просто святотатством. Так, Майкес обрел популярность, которой не могли обеспечить ему ни просвещенная критика Лусана или Веласкеса, ни открытое покровительство министра, ни даже исполнение лучших произведений Моратина. Тогда-то в Испании и распространился вкус к классической комедии, которую актеры научились прилично играть, а поэты смогли писать в этом стиле без риска скомпрометировать себя или оказаться непонятыми.

К тому же времени можно отнести и обычай ежедневного представления трагедии. В ней применяли такой же способ читки стихов и такие же декорации, как и в комедии; в костюмах наблюдалась та же небрежность. Майкес оказался не только выдающимся трагиком, он открыл и испанское декламационное искусство, основал новую, вполне самобытную школу. Удачный дебют побудил писателей развивать дотоле чуждый Испании литературный жанр.

Прежде чем заговорить о тех, кто обогатил испанскую сцену после этой благодатной реформы, мы считаем своим долгом сказать несколько слов о Сьенфуэгосе, чьи трагедии вместе с другими его поэтическими произведениями напечатаны были в конце прошлого столетия.

Сьенфуэгос служил в министерстве иностранных дел Мадрида и являлся одним из самых видных членов Испанской академии. Он был превосходный лирик, умный писатель; весьма просвещенный литератор и достойный уважения гражданин. Ему принадлежат четыре трагедии: *Идоменей*, *Питток*, *Зораида* и *Графиня Кастильская*. Две первые никогда не были представлены на сцене и, вероятно, никогда не будут — во всяком случае, с успехом — из-за их сухости и скуки, хотя стихи и вызывали похвалы; две другие имели успех, и их иногда еще играют, хотя сейчас они не производят особого впечатле-

ния. *Зораида* — хорошо написанная пьеса, где верно обрисованы смуты в Гранаде во время войн Абенсеррагов и Зегри. Сюжет придает ей романтический характер, сообщающий некоторым деталям невыразимое очарование. Потому-то из всех трагедий эту испанцы читают охотнее всего. Однако то ли потому, что арабским сказаниям и легендам лирический жанр соответствует больше, чем драматический, то ли потому, что сюжет этой трагедии автором был недостаточно хорошо задуман, несомненно, что во время представления ни ситуации, ни речи действующих лиц не трогают зрителя. Он ощущает какую-то пустоту, в которой сперва не отдает себе ясного отчета, но вскоре обнаруживает, что характеры очерчены слабо, диалог страдает длиннотами, и вследствие этого действие развивается вяло. К тому же развязка не вызывает ни удивления, ни каких-либо иных сильных чувств, ибо она лишь подтверждает заранее возникающие предположения. Что касается *Графини Кастильской*, то это единственная трагедия Сьенфуэгоса с подлинно трагическим сюжетом. В ней можно обнаружить только один недостаток — скучную медлительность развязки. Графиня Кастильская проглатывает яд приблизительно в середине пятого действия и не покидает сцены и не перестает говорить, пока не умирает в самом конце его. Столь продолжительная агония, разрушающая всякую иллюзию правдоподобия, не может захватить внимание зрителя. Мы представляем себе Мельпомену с кинжалом, а не со склянкой опиума в руке.

Для того, чтобы захватить зрителя, сценическая катастрофа должна быть кровавой и стремительной. Если надо произвести на зрителя глубокое впечатление, занавес следует опускать тотчас после завершающего удара. Однако же, не будь этой неудачной развязки, данная трагедия могла бы считаться отличным произведением. В ней имеется подлинный исторический колорит, сжатый и живой диалог, звучные стихи; драматическое действие хорошо развивается; характеры хорошо намечены и развиты, в особенности характер графини, где сочетаются гордость принцессы, слабость матери, преданность влюбленной и свойственная женщине вспыльчивость.

Вот как Лопе де Вега вышучивает драматургический вкус своих соплеменников:

...*Que la cólera*
De un espoñol sentado ne se templa,
Si non le representan en dos horas
Hasta el final juicio desde la genesis.

«Чтобы утолить жадное любопытство испанца к театральным зрелищам, ему нужно за два часа представить все — от сотворения мира до страшного суда».

Несмотря на эту насмешку, которая может навести на мысль, что Лопе не одобрял жанра, бывшего тогда в моде, он оставил нам несколько сот комедий, начисто отвергающих правила Аристотеля. Кальдерон, Кастро и второразрядные драматурги оказались не более щепетильными в этом отношении. В их произведениях много событий, мало разговоров, часто есть воображение и удачные мысли, но редко наличествуют последовательное развитие действия и хорошо обрисованные характеры. Как исключение я все же назову образ Креспо в *Саламейском алькальде*, превосходящий, на мой взгляд, все характеры, созданные Шекспиром. Но как бы там ни было, испанский театр послужил образцом для всех других. Англичане, немцы, французы разрабатывали ту же самую жилу, и я убежден, что на сцене не бывает ни одного положения, которого нельзя было бы найти в испанских комедиях XVI и XVII столетий*. Даже *Фауст*, эта, казалось бы, столь оригинальная драма, обнаруживает поразительное сходство с *El Magico prodigioso*** Кальдерона. Я даже думаю, что, не будь инквизиции, испанец дал бы нам дьявола несколько более дьявольского, чем печальный Мефистофель.

Большим недостатком испанской драматургии является ее нелепый стиль. Зрители тех времен требовали, чтобы им тешили ум и сердце. Правда, они хотели и трогательных положений и хорошо задуманного плана, но сверх того также и стиля, уснащенного остротами, не-

* Здесь незачем приводить *Сиду*, которого Корнель зачастую портит. Советую непредубежденному читателю сравнить французскую трагедию с первой частью *Las Mocedades del Cid* Гильена де Кастро, переведенной в двадцать четвертом выпуске *Иностранных театров*. (Прим. автора.)

** Чудодейственный маг (исп.).

ожиданными фигурами и игрой слов. Они любили сквозь слезы умиления разгадывать каламбур, и чем закрученнее, жеманнее, а главное, непонятнее были стихи, тем больше им рукоплескали.

Знаменитая фраза из *Дон Кихота*, которую всегда приводят: «Благоразумие неблагоприятно...» и т. д.— дает представление об этом стиле *culto* *, как его тогда называли. Да и сам Сервантес, который так отлично его высмеял, не всегда от него свободен, например, в своей *Осаде Нумансии*.

Кальдерон, Лопе де Вега, Кастро умерли, а вместе с ними и испанский гений. Оказалось гораздо легче подражать их недостаткам, чем их достоинствам, и вот начался целый потоп бездарных комедий, вполне заслуживающих участи, постигшей библиотеку ламанчского рыцаря.

Вольтер с обычным своим ехидством подчеркнул все недостатки испанского театра, не сказав ни слова о его достоинствах. Монтескье в своих *Персидских письмах* говорит: «Из всех их книг хороша только та, которая показала нелепость всех прочих». Идя по их стопам, не один француз смеялся над Лопе, которого он, может быть, даже и не читал. Но испанцы целовали палку, которой их били. Вольтер и французские философы, запрещенные инквизицией, читались тайком. Известно, сколь убедительна бывает запретная книга. Испанцам стало стыдно, что они так долго восхищались «чудовищными фарсами», над которыми смеялся *divino* ** Вольтер, и вот всевозможные светлые умы стали повсюду переводить французские трагедии и даже пытались сочинять свои собственные по их образцу.

К сожалению, эти произведения привлекали так мало зрителей, что отчаявшиеся комедиографы отказались от жанра, приносившего им только похвалы Академии, коим они охотно предпочли бы реалы, вырученные от публики. Реформа, которую один за другим стремились ввести Моратин-отец, Ириарте, Тригерос, потерпела крах.

Вот при каком положении вещей появился дон Лусьяно Франсиско Комелья, единственный, кому в течение нескольких лет удавалось очаровывать театральную

* Изысканный (исп.).

** Божественный (исп.).

публику полуострова. Достойный по своей плодovitости преемник Лопе и Кальдерона *, он оставил около сотни комедий, худшая из которых, по словам актеров, дала больше выручки, чем лучшая пьеса Лопе. Он нашел некую среднюю линию между новым, французским, жанром и старым, испанским. Действие в своих драмах он ограничил несколькими днями; он отказался от стиля *culto* и от *gracioso* **, этого странного персонажа, обязательного в старинных трагедиях; вместо всего этого он ввел чувствительные излияния, стихи с назидательными изречениями, мелодраматических тиранов и предателей и пушечные выстрелы. Сам того не подозревая, он порой находил подлинно драматические положения, но большей частью творил свои произведения по одному образцу. Злодей совершил преступление, в котором заподозрен невинный; все улики, казалось бы, против него, ему грозит гибель, но в последней сцене все раскрывается: невинный вознагражден, злодей присужден к казни. Чтобы утолить возмущение добродетельной публики, он придумывает даже необычные способы казни. Так, в драме *Federico Secundo en el campo de Torgau* *** предатель Варкотс приговаривается прусским монархом к сожжению заживо, невзирая на его мольбы о более легкой казни.

*Dad me al menos
Un suplicio mas benigno *****

Из этого видно, что он очень мало озабочен исторической достоверностью, чем сильно отличается от старинных писателей, которые были к ней весьма привержены.

Слава Комельи, достигнув апогея, тотчас же рухнула перед лицом нового соперника.

Дон Леандро Фернандес де Моратин, сын того Моратина, о котором мы уже упоминали, начал с пьес в классическом духе, никакого успеха не имевших (из них отметим *Старика и молодую женщину* — *El viejo y la niña*). Завидуя славе Комельи и относясь с презрением к его

* Сборник избранных произведений Кальдерона содержит сто двадцать комедий. Полагают, что Лопе де Вега написал около тысячи восьмисот пьес, многие из которых утеряны. (Прим. автора.)

** Шут, забавник (исп.).

*** Фридрих II в Торгаусском лагере (исп.).

**** Дай мне хотя бы более легкую казнь (исп.).

произведениям, он сочинил небольшую комедию почти без действия, являющуюся хлесткой сатирой на его соперника. *Новая комедия*, как он ее озаглавил, имела огромный успех, и с той поры Моратин завладел испанской публикой, у которой вошло в привычку восхищаться его пьесами.

Здесь Комелья выводится под именем дона Элеутеро. Этот плохой поэт, написавший комедию об осаде Вены, — намек на вкус Комельи к войнам и другим общественным потрясениям. Его, разумеется, освистывают, и вот он уже в больнице для бедных. Весь комизм этой вещи в изображении нищеты и безумных надежд поэта и его семьи. Мадридскую публику особенно веселило, когда Марикита жаловалась, что ей надо накормить шесть душ, а у нее только фунт огурцов и полхлеба. Вот уж поистине остроумно! Признаюсь, что я никогда не находил смешным голодного человека, но у мадридской публики было на этот счет другое мнение.

Что значит «да» в устах девушек (El sí de las niñas)? Старику приходит в голову просить руки юной Франсиски, которая по своей робости или глупости отвечает на его признания «да». Но у старика есть племянник, молодой подполковник, способный без чьей бы то ни было помощи захватить вражескую батарею (дело в Испании довольно редкое). Чувствуется, что он любит Франсиску и пользуется взаимностью. Однако, едва узнав о предполагаемом браке, он скромно отходит в сторону, но дядюшка, благожелательный, как все вообще комедийные дядюшки, растроганный почтительной уступчивостью племянника, соединяет его со своей суженой, отказавшись от нее с традиционным великодушием.

Ясно, что дядюшка — благородный человек, и вообще в этой пьесе нет ни одного по-настоящему смешного персонажа. От знакомых испанцев я слышал, что это — нововведение, и притом весьма удачное. Однако, на мой взгляд, оно еще усиливало пресноту сюжета.

Старик и молодая женщина (El viejo y la niña). Старик женится — в третий раз — на девятнадцатилетней девице. На беду он ревнив, что многие найдут вполне естественным, принимая во внимание, что благодаря обычной на сцене случайности ему приходится дать у себя приют бывшему возлюбленному своей жены. К сча-

стью, возлюбленный полон всяческих добродетелей и довольствуется тем, что испускает бесконечные вздохи, на каковые не скупится и юная жертва. Тем не менее он считает более разумным бежать от искушений лукавого и уезжает в Америку.

Ситуация не меняется в течение всей пьесы, развязка predetermined с самого начала, а потому, само собой разумеется, комедия лишена какой бы то ни было занимательности. Жалобы обоих влюбленных утомляют зрителя, а старый муж вызывает у них почти такую же скуку, как и у своей жены. Однако в комедии есть одна вполне удовлетворительная роль: старый слуга Монос, обидчивый ворчун, считающий, что, поскольку он шестнадцать лет прожил у старика в доме, его место так же незыблемо, как место пэра в королевском совете. Его сумрачный вид и унылые речи придают некоторую забавность трем смертельно тягучим действиям.

Барон (El Baron). В дом старой Моники втерся жулик, который убеждает ее, что он барон, имеет земли, замки, бриллианты и т. п. Старуха готова отдать ему в жены свою дочь, но все своевременно раскрывается. Характер главного персонажа вызывает такое омерзение и отвращение, что от этого страдает комизм пьесы, а мы уже говорили, что отличительное свойство пьес Моратина — некоторая преснота.

Барону предпослано предисловие, в котором автор хвалится, что сочинил свою комедию по всем правилам искусства, без которых даже величайшие гении делали одни только промахи (*desaciertos*). Он скромно добавляет: «Если, на мое счастье, пьеса эта будет принята благосклонно, она послужит лишним доказательством того, что несложной интриги, характеров, почерпнутых из действительности, изображения национальных нравов, живости в диалоге и хорошей морали достаточно, чтобы драматический поэт обрел всеобщее уважение». Требовать от Моратина большего было бы, разумеется, несправедливо, но никогда еще писатель так охотно не произносил самому себе приговора.

La Mojigata (Святоша). В Испании эта пьеса почти единодушно считается шедевром Моратина *. Сюжет за-

* Она не переведена на французский язык. (Прим. автора.)

имствован из *Школы жен* и *Тартюфа*; между прочим, там использована и знаменитая сцена, где Тартюф сам себя обвиняет в тот момент, когда его ловят с поличным (действие II, явление IV).

Ханжи стали вопить о соблазне, инквизиция запретила пьесу, и Моратин, наверно, поплатился бы за свою дерзость гораздо дороже, чем Мольер, если бы в нем не принял участия всемогущий тогда Князь мира. Преследование привело лишь к тому, что комедия возвысилась в глазах очень многих.

У двух братьев дочери, которых они воспитали каждый на свой лад. Донья Клара живет замкнуто, читает Фому Кемпийского, вечно бормочет молитвы и объявляет о своем намерении удалиться в монастырь. Донья Инес, напротив, вращается в свете, танцует, развлекается и хочет выйти замуж.

Непонятно, зачем донья Клара так широковещательно заявляет о своей набожности и какой ей в этом смысл, Как бы там ни было, но она пишет любовные записки молодым людям и отвечает покашливанием (*tosecilla*), когда ей устраивают серенады. Некий школяр, прибывший, чтобы жениться на ее сестре, понравился ей, а ему очень нравится наследство, которое ей предстоит получить. Они назначают друг другу свидание, но парочку обнаруживают, святоша, однако, выходит сухой из воды, сумев изобразить дело так, будто на свидании была не она, а ее кузина Инес. Она вступает в тайный брак, но — увы! — родственница, которая должна была оставить ей свое состояние, лишает ее наследства в пользу ее двоюродной сестры. Следует обычное раскаяние и в конце — прощение.

Роль школяра восхищает своей естественностью; это типичный вертопрах, только что вышедший из учебного заведения, не привыкший к свету, неловкий, робкий с женщинами, занимающими некоторое положение в обществе, и нагловатый с другими. Характер святоши отлично обрисован; он гнусен не во вред комизму. Все прочие роли в большей или меньшей степени оставляют желать лучшего.

Видимо, для того чтобы сообразоваться с требованиями комического искусства, Моратин во всех своих пьесах выводит жуликоватых и лживых лакеев, которые воруют

для своих господ и дают им советы. На мой взгляд, только Мольеру и Реньяру может быть дозволено выводить на сцену столь неправдоподобных персонажей.

Моратин обладает простым и ясным стилем, что у испанского писателя заслуживает быть отмеченным.

В его произведениях трудно обнаружить бьющие в глаза недостатки, но зато в них тщетно было бы искать тех смелых красот, тех необработанных алмазов, которые так часты у Кальдерона и Лопе. Одним словом, Моратин, на мой взгляд,— это пример того, чего может достичь, пользуясь классическими правилами, посредственный, но образованный писатель.

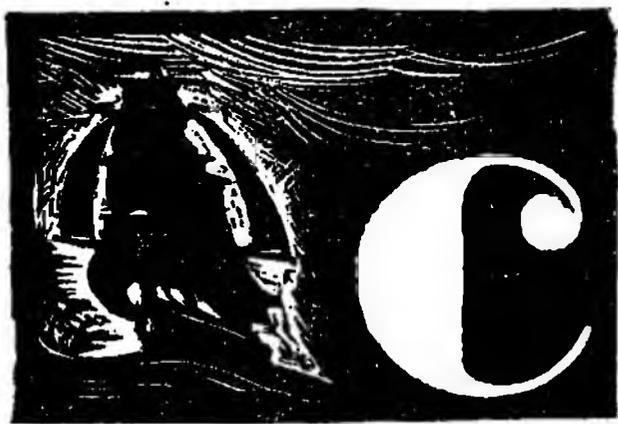
Моратин уже давно ничего не пишет; он безраздельно царит на испанском Парнасе, где мы и предоставим ему мирно наслаждаться своей славой.

БАЙРОН

I

«МЕМОУАРЫ ЛОРДА БАЙРОНА»,

изданные господином Муром,
переведенные госпожой Беллок



праведливо считают, что Англия — страна свободы, и верно: у англичан есть *Habeas corpus* и свобода печати, можно безнаказанно рисовать карикатуры на короля и министров и даже — правда, с некоторыми предосторожностями — нападать на бога и государственную религию. Короче говоря, желчный и раздраженный писатель может давать выход своему дурному настроению, не рискуя поссориться с правосудием. Но есть в Англии еще другая власть, более непреклонная и, главное, куда более обидчивая, — это небольшая клика, именующая себя хорошим обществом, порядочными людьми, высшим светом. Кто имел несчастье ей не угодить, погиб навсегда. Грозный интердикт пап в средние века был не так страшен, как в современной Англии приговор светского общества. Стоит вам его оскорбить, и вы становитесь парией. Всякий человек из общества или желающий таковым казаться будет избегать вас как зачумленного. Никто не станет с вами знаться, кроме людей уже заклейменных — и часто справедливо заклейменных общественным мнением. И точно так же, как честный буржуа, приведенный по ошибке полицейского в зал предварительного заключения в тюрьме Сен-Мартен, оказывается в одной куче с ворами и мошенниками, так и

несчастный, изгнанный из хорошего общества, вынужден жить с людьми, которых презирает.

За какие же преступления постигает человека столь жестокая кара? О, за самое тяжкое из всех преступлений — за то, что он нарушил *приличия*. Но кто может точно определить, в чем состоят эти *приличия*? Явиться в гостиную в сапогах — это нарушение приличий; открыто не считаться с какими-нибудь установившимися обычаями или предрассудками — это тоже значит нарушать приличия, ибо лицемерие (*cant*) сейчас в моде; особенно же непростительно не соглашаться в чем-либо с этой высшей властью, мнящей, что только одна она призвана решать, что хорошо и что дурно.

Кто общался с отлученным от церкви, сам подвергался отлучению. Английское общество не менее сурово поступает со смельчаком, который остался верен своему другу, изгнанному из гостиных. Очевидно, считается, что даже сердечным сокрушением нельзя загладить вину, ибо виновному отказывают в посреднике, который мог бы поведать судьям о его раскаянии.

Лорд Байрон имел несчастье чуть ли не при первом своем появлении в свете навлечь на себя ненависть всей этой лицемерной клики, ныне деспотически правящей в Англии. В чем он провинился, до сих пор остается тайной и, может быть, останется тайной навсегда, ибо эта клика не менее осторожна, чем святейшая инквизиция, которая, как известно, остерегается сообщать обвиняемому, за какое именно преступление его отправляют на костер. Как бы то ни было, Байрон, получив отвращение ко всему, что его окружало в Англии, покинул навсегда эту классическую страну лицемерия и умер в Греции за свободу. Он написал историю своей жизни, но запретил публиковать ее, пока он жив, так как слишком презирал своих гонителей, чтобы оправдываться перед ними; он обращался к суду потомства. Хотя он и порвал всякие связи с непонимавшими его соотечественниками, он все же верил, что среди них у него есть друзья. Во всю свою жизнь лорд Байрон так и не научился судить о людях. Он избрал Томаса Мура хранителем своих мемуаров и с обычной своей щедростью распорядился, чтобы все доходы от их издания были переданы сыну этого писате-

ля. Сколько людей гордилось бы доверием Байрона! Но Томас Мур увидел во всем этом только денежный подарок, которым мог распоряжаться по своему усмотрению. Он взял рукопись. Байрон умирает. Книгоиздатель Меррей хочет опубликовать его мемуары. Страшный переполох в Англии! Ханжи, блюстительницы нравственности—вся эта клика в ужасе: «Лорд Байрон и при жизни не очень-то с нами церемонился, что же он скажет о нас после смерти? Прямо ли назовет имена или ограничится прозрачными инициалами?..» Вывод: надо помешать изданию *Мемуаров*, а если можно, то и совсем их уничтожить.

Все переговоры велись от имени леди Байрон: она и раньше уже бывала покорным орудием в руках врагов своего мужа. В сущности, ее заставили сказать: «Мой муж был негодяем. Он и после смерти хочет развращать души, публикуя сатанинскую теорию, которую при жизни осуществлял на практике. Сожгите эту мерзкую книгу, которую он доверил вашей честности, вашей дружбе!» И все тартюфы завопили хором: «Сожгите, или мы предадим вас анафеме! Если сожжете, вы будете нашим вассальным поэтом, а мы — вашими милостивыми сюзеренами. Может быть, даже иной раз пригласим вас обедать. А не сожжете, обрушим на вас то самое отлучение, против которого Байрон при всей своей славе не мог бороться».

И Мур сжег *Мемуары* Байрона, хотя тот и называл его своим другом, сжег их, как простой вексель, выданный Байроном на его имя. Он, стало быть, не понимал, что эта книга принадлежит не только ему, что она собственность всех поклонников байроновского гения, что она принадлежит потомству! «Но что мог сделать я, маленький человек,— скажет он,— против этой могущественной клики, которая на меня ополчилась?» В таком случае ответим мы: не надо было брать на себя задачу, превышающую ваши силы и ваше мужество. Скажем прямо: вы предали друга в беде.

Казалось бы, этим сожжением *Мемуаров* Мур отрезал для себя всякую возможность написать когда-нибудь биографию Байрона. В самом деле, как бы он мог поступить? Изложить содержание *Мемуаров*, ничего в них не меняя? Но тогда зачем было их жечь? Или что-то изме-

нить? Но тогда кто бы ему поверил? Понимая трудность своего положения, Мур ограничился тем, что короткими и несущественными повествовательными вставками кое-как связал воедино письма и рукописные дневники, бывшие у него в руках. Эта публикация, которую автор назвал *Мемуарами лорда Байрона*, хотя и весьма неполная, представляет все же большой интерес. Мы ревностно отыскиваем даже второстепенные создания байроновского гения, но я не боюсь утверждать, что его переписка заслуживает не меньше внимания, чем самые значительные его произведения. Только чтение его интимных писем и в особенности его дневников, этой своего рода тайной летописи, которую он вел для себя, поможет нам понять странный характер благородного поэта и хотя бы со временем разгадать загадку его жизни. К сожалению, еще многие места остаются темными, а те, кто мог бы их прояснить, вероятно, будут хранить молчание.

Два уже опубликованных тома касаются жизни поэта от первых детских лет до того дня, когда он во второй и последний раз покинул Англию. Прежде чем приступить к краткому их разбору, я попытаюсь обрисовать главные черты его характера и проследить, как они повлияли на его поступки и на его творчество.

Наполеон сказал однажды, что будущее ребенка больше всего зависит от его матери. К несчастью для Байрона, его мать была женщина неумная, порывистая, вспыльчивая, то чрезмерно строгая с сыном, то безудержно его баловавшая. А так как он, кроме того, еще ребенком унаследовал знатный титул и большое, хотя и порядком расстроенное состояние, то он был очень плохо воспитан. Еще в детстве проявилась в нем та черта характера, которая сопровождала его всю жизнь и была для него источником непрестанных обид и огорчений,— его непомерное тщеславие. Это было, бесспорно, самое сильное и самое стойкое из всех чувств, когда-либо им испытанных. Никакая литературная известность не могла его утолить, малейшее противоречие жестоко уязвляло. Байрона страшила мысль, что его могут сравнивать с другими, он хотел славы особой, ни для кого, кроме него, не доступной. «Храм славы,— говорил он,— как и храмы

персов,— это вселенная. Наши алтари — вершины гор. Я удовлетворюсь какой-нибудь безвестной вершиной, а кто хочет, пусть берет себе Монблан и Чимборасо». Эта наивная гордыня напоминает нам того испанского гранда, который дворянина, посмеявшегося сказать ему «сударь», именовал в ответ «монсеньором», а герцогу, называвшему его «монсеньором», отвечал обращением «сударь», не желая ни с кем иметь общего титула. Вместо того чтобы радоваться грандиозным тиражам своих произведений, он презирал свой успех. «Я слышал,— говорил он с горькой иронией,— что на Чайльд Гарольда и Совершенную повариху большой спрос». В другой раз он записал в своем дневнике: «В двадцать шесть лет, говорят они... Да я сейчас уже мог бы, уже должен был стать пашой!»

Тщеславие умеет изобретать для себя всяческие мучения. Лорд Байрон, как известно, был необычайно красив, но он был хром. Это, собственно, не было увечьем, так как не мешало ему предаваться самым тяжелым физическим упражнениям и достигать в них совершенства. Скорее, это было незначительное уродство. Но Байрон воспринимал свою хромоту как величайшее несчастье и во всяком намеке на свою ногу видел смертельное оскорбление. Кто-то из его друзей однажды внушал ему, что он должен благодарить провидение за все блага, коими оно его осыпало, и прежде всего за блестящий ум, дарованный ему от рождения. «Возможно,— ответил он,— что моя голова возвышает меня над другими людьми, но вот эта нога ставит меня гораздо ниже их». Из страха потолстеть он придумал для себя диету, способную вконец разрушить менее крепкое здоровье, и бывал очень польщен, когда ему говорили, что у него больной вид.

Байрон вовсе не был человеконенавистником и холодным эгоистом, наоборот, он был очень чувствителен; *Мемуары* о том свидетельствуют. Сердце его чутко откликалось на все впечатления, он умел один чувствовать за многих. Но он обладал способностью, отличающей поэта: даже среди бурных порывов страсти он мог наблюдать себя и позже использовал наблюденное в своем творчестве. «Всякое душевное потрясение кончается у меня стихами»,— писал он Муру. К несчастью, гордость,

побуждавшая его презирать других людей, мешала ему изучать их так же внимательно, как он изучал себя. Поэтому во всех его поэмах есть только один мужской характер — его собственный. Чайльд Гарольд — это Байрон в двадцать лет. Конрад и Гяур, Альп и Манфред — это опять-таки Байрон, восставший против общества, раздраженный его дурной организацией. Он презирает общество и ненавидит его. В более зрелые годы презрение остается, но ненависть ослабела, ее сменяет ирония — Байрон пишет *Дон Жуана*. На мой взгляд, это — самое точное изображение его характера и одновременно величайшее создание его гения.

Большинству биографов нравится думать, что гений человека проявляется еще в детстве. В Александре, смиряющем Буцефала, они прозревают покорителя Азии, и великого тактика — в Наполеоне, когда он дерется снежками с мальчишками своего возраста. Эти господа не забывают отметить и в Байроне черты столь же раннего развития: уже в десять лет, говорят они, он писал стихи. Но я не пророк и могу только пожалеть, что Мур, так много внимания уделивший его первым годам, не описал несколько подробнее более интересные периоды его жизни.

После университета Байрон, брошенный в мир без руководства и увлекаемый своим огненным темпераментом, неумеренно предался удовольствиям. Вино, карты, женщины — все эти развлечения одно за другим или, вернее, все разом поглощали каждую минуту. А эксцентрическая гордость побуждала его щеголять тем, что другие, более лицемерные или более осторожные, стараются скрыть от посторонних глаз. Ему нравилось показывать себя таким, как он есть, и даже — из причуды, довольно обыкновенной у молодых людей, — худшим, чем он был на самом деле. К этому времени и относится начало той ненависти, которой воспыало к нему английское светское общество, и травли, прекратившейся только с его смертью. Впрочем, насколько можно понять, все его прегрешения сводились к тому, что он открыто содержал любовниц низкого происхождения — дело, довольно обычное в кругу аристократов и осуждаемое общественным мнением далеко не с той строгостью, какую оно проявило по отношению к лорду Байрону.

Перейдем теперь к началу его литературной карьеры. Первый свой сборник стихов — *Часы досуга* — он опубликовал в двадцать лет и снабдил его примечаниями, в которых проглядывает и аристократическая спесь и нарочитое презрение к публике и ремеслу писателя. Между тем он был весьма далек от подобных чувств; наоборот, он прежде всего был писателем, а потом уже патрицием; меня убеждает в этом, во-первых, его обостренное литературное самолюбие, во-вторых, огромное значение, какое он придавал всякой похвале, исходившей от его собратьев по перу. Критики из *Эдинбург Ревью*, быть может, одушевленные той ревностью, которая всегда существовала между писательскими и аристократическими кругами, с чрезмерной строгостью отнеслись к его первому опыту. Критика была нельзя сказать чтобы несправедливая, но слишком страстная. Книжка Байрона была весьма посредственная и не заслуживала стольких разговоров. Но эта журнальная статья, возможно, определила его дальнейший путь. Нападки на его стихи привели его в негодование и ярость, от которой он успокоился только через две недели, после того как отвел душу, написав за это время свою знаменитую сатиру *Английские барды и шотландские критики*.

Этот своего рода памфлет в стихах наделал много шума, имел грандиозный успех и утвердил его репутацию как поэта. На мой взгляд, это самая слабая его вещь. Слог тяжелый, прозаический, путаный, остроты вымученные. Чувствуется, что это писал человек раздраженный, искавший случая подраться. Но он ополчился на влиятельных критиков, литературных тиранов, чья власть, правда, была общепризнана, но ненавистна для всей писательской братии, и только Байрон, один из всех, имел мужество восстать против этих деспотов и отплатить им обидой за обиду. В ярости он набросился на всех без разбора, следуя наставлениям знаменитого Джексона, своего учителя бокса: «Кто не за вас, тот против вас; делайте мулине и бейте направо и налево». Невинным попало наравне с виновными, и надо заметить, что почти все, кого он высмеял — скорее грубо, чем остроумно, — впоследствии были с ним в более или менее дружеских отношениях. Когда он читал корректуру, его — весьма кстати — познакомили с сэром Уильямом Геллом; не зная его

лично, Байрон обзывал его в своих стихах фатом, но теперь благодаря этой счастливой случайности препроводил потомству с эпитетом классика.

Насладившись мезтью, Байрон уехал на континент и предпринял большое путешествие, которое последовательно привело его в Португалию, Испанию, Грецию и Малую Азию. Путешествуя, он одновременно описывал в стихах места, которые посещал, и разнообразные чувства, которые они возбуждали в его душе. Из этих стихотворных заметок, как он сам их называл, составил *Чайльд Гарольд*—одно из самых замечательных его произведений, хотя и одно из наименее совершенных. В этой поэме объединены и как бы внутренне связаны все красоты и все недостатки его гения. По *Чайльду Гарольду* еще лучше, чем по другим его вещам, можно изучать отличительные свойства его поэзии. Это удивительная скупость словесного выражения и чрезмерное, подчас утомительное, изобилие мыслей. Ни один английский поэт не умел сказать так много в столь немногих словах, но Байрон часто не умеет сделать выбор среди осаждающих его мыслей; он перелагает их в стихи по мере того, как они приходят ему в голову, и иногда ослабляет мысль, повертывая ее, так сказать, всеми гранями. «Горе писателю,— говорил Вольтер,— который высказывает о каком-нибудь предмете все, что можно о нем сказать». Кроме того, эта вечная поглощенность собственными мыслями, привычка ими любоваться и прослеживать каждую во всех ее разветвлениях мешала ему согласовывать их и придавать им правильную эпическую или драматическую форму. Постоянно говоря о самом себе, он был неспособен построить рассказ, в котором действие развивалось бы последовательно, который имел бы начало и конец.

Чайльд Гарольд, а затем *Гяур*, *Абидосская невеста* и *Корсар* были напечатаны лишь по возвращении Байрона в Англию, то есть через два или три года после его отъезда. Мур публикует его переписку за время путешествия и за ближайшие годы, и она вся так интересна, что я отказался от мысли приводить здесь выборки, затрудняясь отдать предпочтение тому или другому письму. Некоторые свои путевые приключения он описывает очень подробно, но другие остаются для нас весьма

темными; к несчастью, именно они вызывают наибольшее любопытство, так как создается впечатление, что они-то и были самыми важными и должны были оказать влияние на жизнь и талант поэта.

Не подлежит сомнению, что пока Байрон путешествовал в Греции, он стал причиной, главным действующим лицом или свидетелем какого-то мрачного события, воспоминание о котором преследовало его всю жизнь и сообщало всем его писаниям оттенок меланхолии и отчаяния — одну из главных черт его поэзии. В своем дневнике он намекает на это событие, признаваясь, что память о нем тревожит его сон и причиняет ему жестокие муки: «Я написал *Абидосскую невесту* за четыре ночи, чтобы заклясть свои сны о ————. Если бы я не поставил себе этой задачи, я бы лишился рассудка, истерзав себе сердце». И далее: «Пробудился ночью после страшного сна. Что ж, разве и другим это не снилось? И какой сон! Но ей не удалось настигнуть... Неужели мертвые не могут успокоиться в могиле? О! Вся кровь у меня застыла!.. И я не мог проснуться... И...»

«В ту ночь тени умерших поразили душу Ричарда таким ужасом, какого не вызвали бы у него десять тысяч живых солдат, ведомых изменником ————»*.

«Не нравится мне этот сон! Мне ненавистно его окончание, давно погребенное в прошлом. Мне ли страшиться теней! Да, но когда они напоминают о... ну, неважно. Но если эти сны опять меня посетят, я испытаю, населен ли другой сон, самый глубокий из всех, такими же видениями».

Он добавляет: «Гобгауз сказал мне, что ходит странный слух: будто я сам и есть Конрад, подлинный Корсар из моей поэмы, и что та ее часть, где говорится об этом, осталась в тайне... Гм! Люди подчас бывают очень близки к истине, но никогда не могут разгадать ее всю. Он не знал, чем я был в тот год, когда он покинул Левант. И никто этого не знает; ни ————, ни ————, ни ————. Стало быть, это ложь. Но я бсюсь этих двусмысленных намеков злобного ума, который, говоря ложь, передразнивает истину».

* Намек на *Ричарда III* Шекспира. Ричард видел во сне тени людей, умерщвленных по его приказанию. (Прим. автора.)

Мне кажется, друзья благородного поэта могли бы с полным правом упрекнуть издателя за то, что он опубликовал эти загадочные записи, во всяком случае, за то, что он опубликовал их без объяснений. Неужели Мур не заметил, что своими умолчаниями он поощряет злобные домыслы врагов лорда Байрона? Он таким образом выдает его, безоружного, на жертву клевете, он, принявший на себя миссию защищать его.

Большинство своих поэм Байрон писал очень быстро: *Абидосскую невесту*—за четыре дня, *Корсара*—за десять. Но он все время их исправлял, неустанно отделяя черновик и обычно расширяя и развивая первоначальный замысел. Так, *Гяур*, вначале содержащий 400 строк, в последнем издании разросся до 1400. Случалось, что какой-нибудь стих Байрон исправлял три раза подряд в трех последовательных изданиях, с каждым разом все более приближаясь к совершенству.

О Востоке писали много, особенно в Англии, но никто не сумел придать своим описаниям правдивый местный колорит, восхищающий нас в поэмах Байрона. Он один из немногих поэтов, которые сами путешествовали и могли писать с натуры то, что другие описывали по книгам. «Мое единственное преимущество,— писал он Муру,— это, что я сам бывал в тех местах. Я знаю их досконально, и это избавляет меня от труда прибегать к книгам, хотя я с охотой бы их перечитал».

Женитьба Байрона и последовавшее вскоре за ней расторжение брака породили множество легенд; труд, который мы сейчас имеем перед глазами, по-видимому, их решительно опровергает. «Причины нашего разрыва,— говорит Байрон,— слишком просты, чтобы их легко было угадать». Если судить по его письмам к друзьям накануне свадьбы с мисс Мильбанк, он едва ли питал к ней такую страстную любовь, как принято думать. А все же он ее любил и, вероятно, надеялся, женись на ней, заменить спокойной и прочной привязанностью те бурные и мучительные чувства, которые испытывал к другим женщинам. Но душа столь пламенная и столь изменчивая не была создана для мирного счастья, какое мы черпаем в семейных радостях. Женившись, он вскоре заскучал, а жена, не умея рассеять его скуку, но догадываясь о ней,

чувствовала себя оскорбленной. Злые люди dokonчили разрушение этого брака, и без того уже пошатнувшегося, ибо характеры супругов были слишком несходны. Что же касается внезапности, с которой осуществился этот разрыв, — всего через год после свадьбы, — то здесь, по-видимому, вся вина на стороне леди Байрон, ибо она, в сущности, поддалась коварным наветам женщины, которую избрала своей наперсницей. Байрон заклеил эту особу в свирепой сатире, опубликованной им в газетах (см. в его сочинениях *Очерк из частной жизни*).

Разрыв между супругами послужил сигналом к тому, чтобы заговор, который втайне составлялся против лорда Байрона, стал явным. Газетные статьи, памфлеты, карикатуры — все средства были использованы, чтобы его опорочить. Но чем заслужил он подобное озлобление? Ни одно из тысячи клеветнических обвинений, возведенных на него, не было доказано. Быть может, его травили просто потому, что он был самым выдающимся поэтом Англии и хотел жить по-своему, свободным и независимым от всякой указки?

Леди Байрон не предъявила мужу никаких претензий, но ее молчание, которое, собственно говоря, было равносильно его оправданию, только очистило поле для самых злобных измышлений его врагов. Утверждали, что она ангел кротости, неспособный даже пожаловаться на чудовище, с которым ее сочетали вопреки ее воле. Клеветники дошли до того, что объявили Байрона сумасшедшим. Врачам было поручено его освидетельствовать: они застали его за письменным столом — он работал над *Осадой Коринфа* и *Паризиной*! После этого всякий дерзнувший выступить на защиту Байрона подвергался такому же остракизму. Стоило поэту появиться в обществе — и все женщины в ужасе покидали комнату, оскверненную его присутствием. В высшем лондонском свете только две дамы решались приглашать его на свои вечера; с робостью, показательной для английского общества, Мур обозначает их имена инициалами.

Удрученный такой несправедливостью, но слишком гордый, чтобы оправдываться, Байрон навсегда покинул Англию. Его отъездом оканчиваются два уже опубликованных тома, и на этом я кончу свою длинную статью.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ «МЕМУАРОВ ЛОРДА БАЙРОНА»,

опубликованных г-ном Муром

В Лондоне объявлено о новом издании книги г-на Мура *Мемуары лорда Байрона*; говорят, что на сей раз они выйдут с значительными дополнениями и исправлениями. Г-н Мур проявил некоторое мужество, написав биографию Байрона для английского общества, но еще больше он проявил трусости — тем, что так плохо защищал великого поэта от клеветнических нападок ханжей. И он уже испытал все печальные последствия *mezzo termine* *.

Многие читатели нашли, что он слишком строго обошелся со своим другом, которого должен был и мог защитить. Они указывали, что тем, что он сжег доверенные ему подлинные *Мемуары* и опубликовал без комментариев отрывки из дневников Байрона, он дал повод для подозрений весьма серьезного свойства. Короче говоря, люди, не стесняющиеся в выражениях, заявляли напрямик, что г-н Мур *предал* своего друга.

С другой стороны, лицемерная клика считала, что г-н Мур еще мало сделал: «Вы, правда, даете понягь, что ваш покойный друг был при жизни большим негодяем, но при этом выказываете почтение к его памяти, оскорбительное для нас. Не так надобно нам служить! Предавайте его нам в угоду, очень хорошо, но уж предавайте до конца, честно и откровенно и, главное, без этих угрызений совести, которые все портят». Попад, таким образом, между молотом и наковальней, г-н Мур оказался в крайне неприятном положении.

В особенности та часть мемуаров, где говорится о разрыве между лордом и леди Байрон, привела в негодование всех тартюфов, врагов благородного поэта. Г-н Мур объясняет это событием несходством характеров обоих супругов. Версия довольно правдоподобная, и если так, то Байрон повинен лишь в том, что, наскучив семейным счастьем, не сумел оценить высокие достоинства жены и вообще меньше занимался ею, чем своими

* *Mezzo termine* — среднее решение, компромисс, имеющий целью примирить противоположные претензии (итал.).

стихами. Но и леди Байрон, возможно, имевшая претензию быть для мужа тем, чем Форнарина была для Рафаэля, тоже, казалось бы, заслуживает порицания за то, что так внезапно его покинула. Надо видеть, как осторожно, какими вежливыми обиняками г-н Мур говорит о ее поведении, как он старается ее оправдать, приписывая ее скрытность и внезапный отъезд (на основании собственных слов Байрона, тут же приведенных) влиянию одной женщины, которой он не называет, и настояниям леди Ноэль, матери леди Байрон. Дабы обелить эту даму, леди Байрон удостоила обратиться через газеты к г-ну Муру с письмом, весьма длинным и запутанным, в котором нелегко разобраться. Письмо это — шедевр дипломатии; каждое слово, видимо, обдумывалось не менее долго, чем для тронной речи. Из этого документа как будто следует, что леди Байрон в течение некоторого времени (и, надо полагать, с достаточным основанием) считала своего мужа помешанным и из страха, что его помешательство может принять буйную форму, продолжала выказывать ему внимание и нежность, но затем, увидав, или узнав, или прочитав (этого она не уточняет) нечто, убедившее ее в том, что он вовсе не сумасшедший, она сама, по собственному побуждению, предприняла необходимые шаги, чтобы навсегда с ним расстаться. Как видите, это все та же тактика, что и в прошлом. Почему она поверила в это предполагаемое помешательство? Почему переменила мнение? Леди Байрон не желает нам объяснить. Обвинительный акт не опубликован; следствие остается в тайне; нам сообщают только приговор. Это ли не оригинал донны Инесы, так блестяще описанной в *Дон Жуане*?

«Инеса созвала врачей и аптекарей и пыталась доказать, что ее возлюбленный супруг помешан; но так как у него все же бывали светлые промежутки, она по зрелом размышлении решила, что он всего-навсего зол. Когда же ее просили поименовать свои обиды, она ничего не сумела сказать, кроме того, что ее долг перед людьми и богом требует от нее именно такого поведения, что всем показалось весьма удивительным». (*Дон Жуан*, песнь I, строфа 27).

Далее в ссору ввязался еще один боец, с истинно рыцарским жаром принявший сторону леди Байрон,—г-н

Кэмпбел, известный несколькими описательными поэмами в духе Делиля и, кроме того, издатель *Нью Монсли Мэгэзин*. В этом журнале он поместил резкий выпад против г-на Мура и его книги, которой, впрочем, по собственному признанию, он не читал, — такой ужас и отвращение она ему внушала. Он обвиняет автора в том, что своей публикацией он вынудил леди Байрон не оправдываться, нет (ибо ее высокая добродетель недосыгаема ни для каких нападков), но взяться за перо, «дабы головы ее друзей и близких не были раздавлены надгробным камнем лорда Байрона». Как видите, г-н Кэмпбел и в прозе сохраняет поэтическую манеру. Немного дальше он так выражает свое восхищение благородной вдовой: «Я с изумлением и даже завистью взираю на горделивую чистоту ее ума и совести, которые победоносно пронесли ее *утонченную чувствительность* сквозь столько горестных испытаний». Вся статья написана таким же слогом. В этой длиннейшей и смехотворной галиматье просвечивает злобная ненависть к Байрону, но ни одного прямого обвинения вы там не найдете. Ничего определенного и никаких объяснений. Тактика, которую применяли к благородному поэту при его жизни, слишком хорошо была разработана, чтобы отказаться от нее после его смерти.

Рассорившись теперь со светской кликой, г-н Мур, вероятно, горько сожалеет, что уничтожил в свое время подлинные *Мемуары* Байрона. Какой путь он теперь изберет? Униженно смирится и предаст прах своего друга его гонителям? Или же — так как, по-видимому, мало надежды, чтобы он мог снова войти в фавор у этих господ, — обретет в своем отчаянии мужество для борьбы с ними? Если он примет такое решение, из этой ссоры, надо надеяться, воспоследуют новые и очень важные сведения о жизни лорда Байрона. Творения этого великого человека слишком сильно нас волновали; понятно, что мы хотим лучше знать их автора.

P. S. Нам пишут из Лондона, что кое-кто пожелал увидеть в некоторых выражениях г-на Кэмпбела весьма странные намеки. Действительно, когда слова сами по себе имеют так мало смысла, в них очень легко вычитать скрытый смысл! Эти особы, которые вряд ли проявили бы такую догадливость, не будь они посвящены в тайну автором статьи, утверждают, что лорд Байрон сам испы-

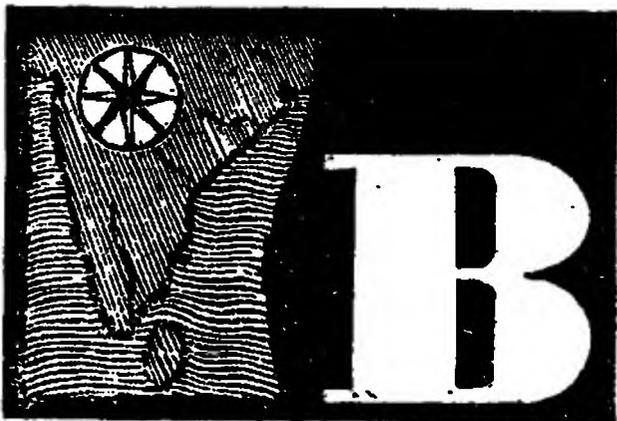
тал почти все описанные им страсти, что он и есть геро́й всех своих поэм. После чего они обращают наше внимание на таинственную любовь Манфреда, напоминающую любовь Рене, и добавляют, понизив голос, что тут Байрон рассказал собственную историю. Согласно этим догадкам (которые я могу рассматривать лишь как низкую клевету), поведение леди Байрон объясняется самым выгодным для нее образом. Сперва эта чистая душа видит только безумие в столь чудовищной страсти; затем, прозрев со временем, она бежит от этого ужасного человека. Ее великодушие, добавляют они, так велико, что она навеки замкнула роковую тайну в своей груди... и в груди еще десятка приятельниц, рассеянных по всему свету.

Клевета становится тем более опасной, когда она основана на предположениях, которые нельзя доказать, а стало быть, невозможно и опровергнуть. И ничего не нужно, кроме злобы, вечно живущей в сердце человеческом, чтобы распространить подобную клевету, особенно когда она направлена на гениального человека — своего рода чудовище, обычно ненавидимое современниками.

ВИКТОР ЖАКМОН

I

Господину директору «Ревю де Пари».
Май 1833 г.



Милостивый государь! Мы просили сообщить Вам то, что мне известно о коротком жизненном пути моего друга Виктора Жакмона, столь трагически погибшего в Индии почти уже в конце предпринятого им опасного путешествия. Родные Жакмона намерены опубликовать его переписку, но пока еще не вышла в свет эта книга, которая, несомненно, вызовет огромный интерес, я попытаюсь дать Вам некоторое представление о путешествии Жакмона и о бесчисленных трудностях, которые он преодолел.

В 1828 году он был причислен к Ботаническому саду в качестве путешественника-натуралиста, и на него было возложено поручение собрать в Индии естественонаучные материалы, интересные для этого учреждения, в частности, составить геологические и ботанические коллекции.

Если бы Жакмон побывал только в Дели или даже только в Калькутте и ограничился сбором научных данных в этих английских городах, он и то оказал бы науке огромную услугу, но он хотел сделать больше — он задался целью проникнуть на север Индии. Перед трудностями подобной экспедиции отступали самые смелые

путешественники, но Жакмон ощущал в себе упорство и мужество, способное победить любые препятствия.

Индия еще очень мало исследована; хотя европейцы давно владеют там значительными колониями, мы имеем лишь весьма неполные сведения о природе этой обширной страны, да и то лишь о той ее части, которая занята англичанами. Север Индии, можно сказать, совершенно неизвестен ученым. Правда, некоторые путешественники, в большинстве своем военные на службе Ост-индской компании, проникали по различным направлениям к северу от английских владений, но эти вылазки оставались без пользы для науки по недостатку у путешественников нужных знаний, а главное, в силу вынужденной кратковременности их экскурсий.

Владения компании граничат на севере с Китайской империей, в которую иностранцам нет доступа, а на северо-западе — с Пенджабом. Гималайские горы, отделяющие Тибет и Татарию от Индии и простирающиеся в самый Пенджаб, населены дикими племенами, которые непрестанно воюют со своими соседями. В этих местах любой предприимчивый человек, собрав вокруг себя сотню бандитов, уже не признает никакой власти и может, по примеру Атиллы, объявить себя врагом всего человеческого рода.

Жакмон намеревался изучить геологическое строение и естественные богатства этих гор. Пока он готовился к отъезду, одни пророчили, что ему все равно придется отказаться от своего замысла, другие давали советы, как его осуществить. Вот как сам Жакмон, уже пробравшись в эти, по общему мнению, недоступные места, рассказывает о своем предприятии:

«Для европейца моей профессии совершенно невозможно путешествовать в этих краях иным способом, чем это сделал я. Мне вспоминаются советы, которые мне из самых добрых побуждений давали люди, видевшие только маленький уголок Востока. Нет ничего легче, говорили они, чем пройти сквозь всю Азию, даже имея при себе тяжелый багаж. Надо только присоединиться к какому-нибудь купеческому каравану и т. д. и т. д. Все это взято из романов. Купцы, действительно, пробираются почти всюду (хотя и они, направляясь из Кашмира в Тегеран или даже в Мешхед, предпочитают круж-

ной путь через Лагор, Дели, Бомбей, Бушир, Шираз и т. д., избегая — и не без причин — более прямой дороги через Кабулистан). И если восточные царьки обворовывают их не догола, то только из соображений собственной выгоды: купцу оставляют частицу его торговых прибылей потому, что для владельцев земель, через которые он постоянно проходит, он нечто вроде курицы, несущей золотые яйца; глупо было бы ее зарезать. Но тот, кто проходит один раз и больше не вернется, будет ограблен до последней тряпки. И для европейских путешественников, как и следовало ожидать, не делают исключения.

Справедливость в человеке, который имеет власть быть несправедливым, почитается в этих краях чудом. Во всем вице-королевстве Кашмир нет никаких судебных органов, призванных улаживать ссоры между частными лицами и способных делать это сколько-нибудь беспристрастно, но за последний месяц ко мне много раз — и часто очень издалека — приходили люди с просьбой рассудить их. Они говорят, что слышали о моем *адаолуте* (справедливости), — и это меня бесконечно радует».

Жакмон писал это письмо в горах Кашмира, куда добрался после невероятных тягот. Уехав из Франции в середине 1828 года, он сперва задержался в Калькутте, где был очень хорошо принят генерал-губернатором Уильямом Бентинком, чье могущественное покровительство в дальнейшем часто бывало ему полезно. В Калькутте он прожил столько времени, сколько ему требовалось, чтобы усовершенствоваться в персидском языке и языке хинди, без чего его путешествие не принесло бы плодов, а также, чтобы собрать все необходимые сведения о нравах и обычаях стран, через которые ему предстояло проходить. Затем он направился в Дели, а оттуда уже в высокогорные районы Гималаев и Тибет. Исследования Жакмона, без сомнения, будут ценным вкладом в науку. До сих пор казалось, что геологическое строение Гималаев — это проблема, разрешения которой можно ожидать лишь в далеком будущем. Коллекции, собранные в этих горах Жакмоном, уточнят многое, что еще остается неясным, и, вероятно, разрушат не одну гипотезу. Как жаль, что он не успел сам опубликовать результаты своих гигантских трудов!

Проникнув в глубь китайских владений на расстояние нескольких дней пути, Жакмон вернулся в Дели, чтобы привести в порядок свои коллекции и затем предпринять новое путешествие — на этот раз в Пенджаб. Король Пенджаба, Рунджет Синг, единственный индийский властитель, в чьи владения англичане еще не пытались вторгнуться или насильственно установить там свой протекторат, принял Жакмона, как Карл Великий мог бы принять ученых, посланных калифом Гаруном-аль-Рашидом. По отношению к Жакмону Рунджет Синг, казалось, забыл привычную для восточных людей подозрительность: он оказывал ему всяческие знаки внимания, осыпал его богатыми подарками, предоставил ему все средства для того, чтобы путешествие его совершалось безопасно, — насколько это возможно в стране, где множество мелких князьков не слишком-то подчиняются приказам номинального владыки.

Пробыв довольно долго в Лагоре и Кашмире и совершив ряд дальних поездок в горы и долины этого королевства, Жакмон вернулся во владения Ост-индской компании. Сперва он остановился в Пуне, где некоторое время лежал больной; вскоре он настолько оправился, что мог продолжать путешествие, но здоровье его уже было подорвано перенесенными лишениями. Резкая перемена климата дала толчок к развитию болезни печени, столь губительной для европейцев. Телесные его силы истощились; его поддерживала только необычайная сила духа.

После Пуны он захотел побывать на острове Сальсет; убийственная жара и болезнетворные миазмы в тамошних лесах довершили разрушение его организма. Он заметил — но, увы, слишком поздно, — что ему нанесен роковой удар. В Бомбей он добрался в конце октября 1832 года и на другой же день слег. Тогда с обычным своим хладнокровием он стал готовиться к смерти. Прежде всего он принял меры к сохранению своих коллекций и рукописей, затем написал родным прощальное письмо, в котором, забывая о собственных страданиях, старался утешить тех, кому его смерть должна была причинить столь тяжкое горе. Наконец после месяца болезни он скончался в Бомбее 7 декабря 1832 года в возрасте тридцати одного года. Все время, пока он хворал, в нем при-

нимали самое трогательное участие многие англичане, знавшие его только понаслышке, однако заботившиеся о нем, как старые друзья.

Трудно было бы найти более подходящего человека, чем Жакмон, для той опасной миссии, которую на него возложили. Обширные и разносторонние знания, усердие в труде, любовь к науке и особенно находчивость при самых трудных обстоятельствах — все эти необходимые для путешественника качества присутствовали в нем. Мужество у него было врожденное: это не была какая-то безрассудная отвага — просто он не считался с опасностями, ибо никогда еще не встречал такой, которая смутила бы его душу.

Я не берусь в этих немногих строках ближе познакомить Вас с Виктором Жакмоном, как с человеком. Строгий к себе и снисходительный к другим, хотя и с острым глазом на все смешное, он остается для меня живым воплощением философа-стойка, изображенного нам Лукианом, его Мениппа, но Мениппа, полного доброты и истинной чувствительности. Его путешествие, его научные труды прославят его имя среди ученых, а друзья Жакмона никогда не забудут изящества и живости его ума, благородства его характера, его преданности тем, кого он любил.

II

«НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА ВИКТОРА ЖАКМОНА»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Париж, 20 октября 1867 г.

Многоуважаемый Мишель Леви!

Вы просите меня написать биографический очерк о Викторе Жакмоне для его *Неизданной переписки*, которую Вы предполагаете выпустить в свет. У меня есть возражения. Прежде всего, разве недостаточно его писем для того, чтобы познакомить с ним читателей? Виктор Жакмон умер тридцати двух лет и не оставил нам

материала для законченной биографии. Его усердные изыскания, его неустанные труды по собиранию материалов для большой научной работы, его долгое и опасное путешествие — вот его жизнь. И он рассказывает о ней своим друзьям лучше, чем кто-либо другой мог бы это сделать. Мне кажется ненужным и даже не совсем удобным предлагать вниманию публики какие-нибудь мелкие и не имеющие значения факты, анекдоты совершенно частного характера, которые стали мне известны благодаря моей долголетней близости с Виктором Жакмоном и его семьей. Но я не хочу, чтобы Вы обвинили меня в лени, поэтому в доказательство моей доброй воли попытаюсь рассказать Вам кое-что о его характере и его привычках. Даже самому любезному человеку, когда он впервые входит в чужую гостиную, нужно, чтобы его представили. Я представляю Виктора Жакмона тем, кто еще ничего не читал из его *Переписки*. Тем же, кому знакомы предыдущие издания, я советую пропустить это предисловие и начать прямо с первого письма.

Виктор Жакмон был высокого роста — пять футов десять дюймов — и казался еще выше от худобы и оттого, что голова у него была небольшая. Длинные и вьющиеся темно-каштановые волосы частично закрывали его лоб. Глаза у него были темно-серые, и, так как он был очень близорук, многим казалось, что взгляд у него какой-то рассеянный. Что же касается выражения его лица, то оно так быстро менялось, что даже трудно было его определить, и на этот счет есть разные мнения: одни говорили, что лицо у него открытое и располагающее к себе, другие — что оно выражает надменность и недовольство. Те, кто высказывал это последнее суждение, кажутся мне людьми весьма непроницательными; дело, вероятно, в том, что Жакмону с ними просто было скучно. А скрывать свои чувства он не умел. Насколько он бывал приветлив и разговорчив с теми, кто ему нравился, настолько же молчалив и замкнут с теми, кто почему-либо внушал ему неприязнь. С первыми он даже допускал своего рода невинное кокетство — «любезничал напропалую», по его собственному выражению, и без труда завоевывал их дружбу и доверие. Другие ясно видели, что наводят на него скуку, и сами его терпеть не могли.

Приведу вам пример, из которого видно, как он умел, можно сказать, с первого взгляда очаровать человека. Перед отбытием в Индию он съездил в Англию, чтобы заpastись рекомендательными письмами, без чего ему было бы почти невозможно путешествовать по обширным владениям почтенной компании. В Лондон он явился вооруженный рекомендациями от министра иностранных дел, от профессоров — руководителей Ботанического сада и от виднейших членов Академии наук. Ему тотчас выдали все необходимые пропускные свидетельства и письма к местным властям и вдобавок устроили в его честь несколько банкетов. Когда он уже уехал в Париж, один из директоров компании обратился к мистеру Саттону Шарпу, видному английскому юристу и большому другу Виктора Жакмона. «Можете вы дать мне слово джентльмена, — сказал он, — что ваш друг не является шпионом французского правительства?» «Конечно! — воскликнул Шарп. — Но к чему этот вопрос?» «А к тому, что если это так, то я вручу вам рекомендательное письмо для него». «Да ведь вы уже дали ему добрый десяток писем к представителям компании?» «Ну да, таких писем, какие обычно дают. А теперь он получит такое, каких никогда не дают». Меж тем Жакмон всего два раза виделся с этим услужливым и подозрительным директором.

Секрет его обаяния состоял в том, что, желая кому-нибудь понравиться, он не скрывал перед этим человеком ни мыслей своих, ни чувств и держался совершенно естественно. Мало кто способен устоять против такой откровенности, когда она сочетается с самобытным умом и высокой образованностью. Его иногда обвиняли в пристрастии к парадоксам. По-моему, он отнюдь не страдал этим пороком. Наоборот, во всех спорах, в которых он принимал участие, он добивался — во всяком случае, верил, что добивается — только истины, но часто придавал своей мысли своеобразную форму, которая и вводила в заблуждение тех, кто не умеет отличить внешность от существа. Прелесть его ума именно и заключалась в полном отсутствии вычурности и изысканности. Добавлю, что необыкновенно приятный тембр его голоса тоже, вероятно, немало содействовал его успехам как собеседника. Я никогда не слышал голоса более музыкаль-

ного от природы. Когда он говорил, мне вспоминались строки Шекспира:

*Oh! it came on my ears like the sweet south
That breathes upon a bank of violets*.*

Не стану скрывать его недостатки. Глупость — и особенно пошлость — слишком уж его раздражала. Он ее не выносил и возмущался ею. Бейль, столь же нетерпимый в этом отношении, но более рассудительный, как-то упрекал его за то, что он всерьез гневается на людей, имеющих несчастье быть глупыми. «Или вы думаете, — добавил он, — что они делают это нарочно?» «Не знаю и знать не хочу», — отвечал Жакмон свирепым голосом. Он охотно стал бы на сторону господина де М., который утверждал, что дурной вкус ведет к преступлению.

Я не знаю сердца более горячего и отзывчивого, чем у Жакмона. Это была нежная любящая натура, но он так же старательно скрывал свои чувства, как другие скрывают свои дурные наклонности. Во времена нашей молодости нас шокировала фальшивая чувствительность Руссо и его подражателей. С нашей стороны это был протест против устарелого направления и, как всегда в таких случаях, преувеличенный. Мы хотели быть сильными и презирали сантименты. Возможно, и Жакмон невольно поддался общей тенденции своего поколения. Однако мне кажется, что внешнее его бесстрашие было все же плодом не моды, а внутреннего убеждения. Он был стойком в полном смысле слова, не по натуре, а по взглядам, и хотя не отрицал страданий, но считал, что человек должен найти в себе силу их побороть, да и вообще должен непрерывно учиться побеждать себя. Мне случилось не раз быть свидетелем такого борения между его нервами и его волей, и, боюсь, победа стоила ему дорого.

Способность властвовать над своими чувствами он унаследовал от отца, и это не единственная черта сходства между ними. В тот последний день, который он провел в Париже, я обедал вместе с ним, его отцом и его братом Порфиром. Трапеза была далеко не веселая, одна-

* Он слух ласкал мне, точно трепет ветра,
Скользнувший над фиалками тайком.

ко, я думаю, никто, глядя со стороны, не догадался бы, что эта столь дружная семья готовится к долгой разлуке с одним из своих членов. Когда настал час отъезда, Виктор обнял отца и сказал: «Надеюсь, вы будете заботиться о своем здоровье. Берегитесь простуды». «Не беспокойся. Посылай нам весточку, когда сможешь», — ответил отец, снимая очки, и потянулся за томиком Вальтера Скотта, который читал вперемежку с каким-то философским трактатом. Старая служанка заливалась слезами. Виктор немного быстрее, чем обычно, сбегал по лестнице. Уже сидя в почтовой карете, отбывавшей на Брест, он взял меня за руку и сказал, насколько мог, твердым голосом: «Почаще бывайте у него...» Он был так молод и, казалось, такого крепкого здоровья, в нем было такое удачное сочетание решимости и осторожности, что никакое недоброе предчувствие в ту минуту меня не коснулось.

Эта притворная бесчувственность, которая, кстати сказать, не обманывала никого из близко знавших Жакмона, в его письмах сказывается гораздо меньше, чем в устных беседах. Меня часто удивляла эта разница. Но, во-первых, Жакмон не рассчитывал, что его письма будут читать кто-нибудь, кроме его друзей. Наедине с листом бумаги он не боялся, что кто-то ответит иронической усмешкой на движение его души. В одиночестве он не испытывал ложного стыда. А кроме того, вдали от друзей он был доступнее для всех тревог, какие сопутствуют истинной привязанности, и это побуждало его с большей силой выражать свои чувства.

Литературой он никогда всерьез не занимался. Он, правда, много читал, но не для того, чтобы усовершенствовать свой слог. Отдать свои мысли и впечатления на суд публики — такая идея не приходила ему в голову; мне даже кажется, она ему претила. У него это не было следствием гордости или, наоборот, излишней скромности, но обращаться к публике казалось ему столь же странным, как обсуждать свои дела с незнакомым человеком. Помню, как-то зашел разговор о любовной сцене в одном романе, которую все находили прекрасной, и кто-то сказал, что она потому так удалась автору, что в ней он описал пережитое им самим. «А что сказали бы вы, — спросил Жакмон, — о хирурге, который

отпрепарировал бы свою любовницу и выставил ее в научном кабинете медицинского института?» Все пришли в ужас, но Жакмон заявил, что анатом в данном случае поступил бы все же порядочнее, чем этот писатель. «Его роман никого не научит любить, а распотрошенная женщина по крайней мере принесла бы пользу студентам».

Виктор Жакмон написал несколько статей для научных журналов, в том числе, кажется, в 1825 или 1826 году, одну превосходную, в которой давал картину достижений геологии к тому времени. По отзывам ученых, это был весьма точный обзор всех опубликованных в Европе работ. Изложение было такое последовательное и ясное, что статья представляла интерес даже для людей, неприкосновенных к науке. Жакмон, кажется, сам был удивлен своим успехом. Он писал с блеском, точно так же, как господин Журден говорил прозой, — сам о том не догадываясь. Он поразительно владел пером. Я держал в руках рукопись его *Путевого дневника*, который в печати составляет четыре тома ин-кварто. И хотя записи эти велись наспех, изо дня в день, часто под открытым небом или в дырявой палатке, в них почти нет помарок, да и впоследствии, в корректуре, мне нечего было исправлять, кроме нескольких опечаток. Это умение сразу писать начисто, без помарок, было наследственным талантом в их семье. Отец Виктора, насколько я знаю, не перечеркнул ни единого слова во всех своих объемистых сочинениях. В отношении письменных принадлежностей Жакмон не был разборчив: писал любым пером, какое попадет, и всякая бумага ему годилась — от принятого в Англии официального формата (13 на 17 дюймов) до огромных листов в золотых блестках, на которых он писал в Кашмире. Его рукопись, написанная всегда четким почерком, представляет собой любопытную коллекцию всех видов бумаги, бывших тогда в ходу в Индии.

Мне кажется, у него не было особого призвания к естественным наукам. Думаю, он достиг бы успеха в любой области, ибо всюду внес бы свой проницательный ум, а также прилежание и упорство, с которым делал все, что считал своим долгом. Но некоторые обстоятельства привели его к решению целиком посвятить себя изучению ботаники и геологии.

Еще в ранней юности, работая в лаборатории господина Тенара, он едва не отравился насмерть во время эксперимента, который проводил без достаточных предосторожностей. Его здоровье очень пострадало и восстановилось лишь после многих лет строгого режима. Врачи советовали ему как можно больше бывать на воздухе, побольше ходить или ездить верхом. Средство это помогло, а ботаника и минералогия, вначале служившие ему развлечением во время этих иногда очень утомительных поездок, вскоре стали главным делом его жизни. Совершая свои путешествия, он познакомился со многими выдающимися натуралистами, и беседы с ними лучше всяких книг облегчили ему скуку первоначальных занятий. Превосходная память, счастливая склонность пристально наблюдать, сравнивать и анализировать все проходившее у него перед глазами помогли ему сделать быстрые успехи и глубоко заинтересоваться тем, что сперва служило ему лишь забавой в часы одиночества. Одновременно он изучал медицину, но скорее из философской любознательности, чем с намерением сделать врачевание своей профессией. К последнему он видел два существенных препятствия: во-первых, неточность самой науки и ответственность, лежащую на тех, кто применяет ее на практике, где так легко впасть в ошибку; во-вторых, своего рода шарлатанство, почти неизбежное и, может быть, даже необходимое для успеха на врачебном поприще, но претившее его гордой, честной и правдивой натуре. Он решил поэтому всецело посвятить себя естественным наукам, рассудив, что здесь ему не нужно будет ни опасаться роковых промахов, ни заботиться о привлечении пациентов, и тем не менее он сможет приносить пользу. Приносить пользу было его неизблемым принципом, которым он весь был проникнут и в котором уже не допускал сомнений. Видя в этом первый долг человека, он готов был считать преступниками всех, кто не обращал своих дарований на общее благо. Думаю, этот принцип был у него результатом врожденного великодушия, а не философского рассуждения и еще меньше — религиозных верований, ибо во многих других вопросах он проявлял себя полным скептиком.

Отправляясь в Индию, он не закрывал глаза на то,

что лучшие годы его жизни уйдут на соби́рание мате́риалов, которые по возвращении ему еще придется обрабатывать. И хотя он был отнюдь не равнодушен к славе, он не обольщался насчет размеров той известности, на какую мог надеяться. «Заслуги ученого,— говорил он,— всегда остаются более или менее непонятны толпе. Она лишь верит тому, что ей говорят о них дипломированные столпы науки, а их приговоры часто бывают ненадежны. Иные из зависти стараются принизить тех, кто выдвинулся, да и среди самых честных много ли найдется таких, кому приятно видеть, что другой открыл нечто новое на тропе, по которой и сами они проходили? Насколько же счастливее писатель! Он обращается ко всем, и все его понимают и могут оценить, не спрашивая мнения какого-нибудь судьи, может быть, вовсе не достойного доверия. Но так ли полезен писатель, как ученый? Не имеет ли безвестный изобретатель топора или пилы больше прав на нашу благодарность, чем Гомер?» Что касается богатства, Жакмон знал, что избранный им путь к нему не ведет, но он ценил деньги только за ту свободу, которую они дают. При его простых вкусах и презрении ко всем радостям тщеславия ему нужно было немного — ровно столько, чтобы вести жизнь философа.

ШАРЛЬ НОДЬЕ

Речь, произнесенная при вступлении во Французскую академию 6 февраля 1845 г.



иловитые государи!

Ваш выбор налагает на меня трудную обязанность. Говорить о понесенной вами утрате значит показать вам, сколь многого мне недостает, чтобы возместить ее. Но не это опасное сравнение тревожит меня в настоящее время. Я боюсь лишь одного, — что не сумею отдать должное человеку, который оставил среди вас неизгладимую память.

Я призван описать вам жизнь Нодье. Какая увлекательная тема, какая простая с виду задача! Он часто рассказывает о себе в своих творениях. Кому не памятли трогательные эпизоды из современной истории, необычные приключения, где он пожелал вывести самого себя, великие люди иного века, так зримо воскрешенные его пером, что они кажутся нам издавна знакомыми! Если бы я собрал воедино все эти разрозненные черты, если бы я в некотором роде предоставил слово Нодье и повторил то, что никто не скажет лучше него, вы позабыли бы обо мне, внимая ему, и мне не пришлось бы опасаться во время этого первого испытания, что вы пожалуете о проявленной вами благосклонной снисходительности, которой я обязан честью занимать место среди вас. К несчастью, господа, такой способ мне не дозволен. В самом деле, предположив, будто Нодье хотел выдать себя за историка и в особенности за биографа, я показал бы, что плохо понимаю писателя и не знаю не только особенностей его таланта, но и склада его ума. Идет ли речь о нем самом или о других, Нодье нет дела до стро-

гого соответствия с фактами. Для него все в жизни драма или роман. Он всюду ищет характерных черт и красок. Любое имя вызывает в его памяти образ, а образ порождает вскоре целое полотно. Он, как бы забавляясь, расцвечивает все, чего бы ни коснулся. Сократ вылепил для Пропилеев статуи граций в великолепных одеждах; Нодье набрасывает на историю покрывало, заимствованное у поэзии. А порой выводит самого себя по примеру тех художников древности, которые изображали себя на картинах коленопреклоненными у ног пресвятой девы или сидящими за столом среди апостолов.

Мне невольно вспоминается, господа, изречение человека, считавшего себя эрудитом, хотя в глазах потомков он останется преимущественно одним из искусных литераторов нашего времени. «Плутарх,— говорит Курье,— заставил бы Помпея выиграть битву при Фарсале, если бы это помогло ему хоть немного закруглить фразу». И он прав. Нодье тоже принадлежал к школе Плутарха. Не знаю, впрочем, господа, были ли вполне сознательны все вымыслы писателя и, поддавшись воображению, не ошибался ли он иногда, полагая, будто обращается к своей памяти. Подобно азиатским курильщикам опиума, менее восприимчивым к внешним впечатлениям, чем к образам, навеянным этим пьянящим зельем, он привык жить в одиночестве среди порождений своей фантазии, словно в мире реальности. Подчас его искрометные грезы безотчетно сливались с воспоминаниями о событиях менее увлекательных, участником которых он был. Как поэт, он не мог понять неблагодарного труда летописца. И сегодня, господа, мне выпала на долю задача, которой пренебрег Нодье. К сожалению, он знаком мне только по произведениям, но я постарался собрать, где мог, достоверные случаи из его жизни. Обзор, который я собираюсь предложить вашему вниманию, конечно, весьма несовершенен, но благодаря сведениям, любезно предоставленным мне, смею по крайней мере думать, что он правдив.

Воспитание, которое Нодье получил с детства в отчем доме, не только предопределило его призвание, но и во многом повлияло на литературную карьеру. Мне кажется, его стиль и метод определились в том возрасте, когда большинство писателей еще не понимает

самих себя. Разрешите обратить ваше внимание на первые годы его жизни.

Он родился в Безансоне в 1780 году. Отец его, видный адвокат, бывший профессор конгрегации Оратория, долгое время был его единственным наставником, и никогда еще не встречалось ни более ласкового учителя, ни более одаренного ученика. Идеальный учитель Эмиля был наконец найден. Он старался привить сыну вкусы и воззрения мужчины, ускорить развитие его молодого интеллекта. Очень часто такое преждевременное образование дает обманчивые, скороспелые плоды, но щедро одаренная натура сохраняет и возвращает все зароненные в нее семена. Еще ребенком Шарль Нодье отличался усидчивостью, литературными пристрастиями и даже чудачествами отца. Бывший член конгрегации Оратория любил старинные книги, редкие издания; он не только собирал их, более того — он их читал. Особым его предпочтением пользовались наши писатели XVI века. Могли Шарль не разделять склонностей отца? Много раз тот заставлял мальчика вдали от игр сверстников за чтением фолианта, почти столь же большого, как он сам. «Когда я увидел его впервые, — сказал мне ученый безансонский библиотекарь г-н Вейс, — ему было восемь лет, и он нес под мышкой том Монтеня». Он научился читать по бессмертным *Опытам* и, быть может, говорил языком Монтеня в возрасте, когда другие дети лишь повторяют слова, услышанные от кормилиц.

В конце XVIII века Безансон еще хранил своеобразную память об испанском господстве. При виде бесчисленных монастырей, дворцов с решетчатыми балконами, братств кающихся всевозможных оттенков, можно было подумать, что находишься в кастильском городе. На нравах безансонцев лежал отпечаток суровости, не свойственной французам. Старинные ордонансы воспрещали евреям находиться более трех дней в черте городских укреплений. Общество распадалось на касты, отделенные друг от друга непреодолимой стеной. С одной стороны, высокомерные предрассудки, с другой — безумные надежды; повсюду традиционная вражда. В городе, подобном этому, первая же искра революции должна была разжечь неистовые страсти. Отец Шарля Нодье принадлежал к партии буржуазии, которой суж-

дено было восторжествовать. Человек мягкий до слабости, он примкнул к республиканцам с восторгом и неопытностью ученого. В 1790 году он был избран конституционным мэром Безансона, а на следующий год — председателем революционного трибунала: должность тяжкая, но он согласился занять ее, не зная своих обязанностей, а когда понял их, не посмел отказаться.

Разделяя образ мыслей отца, живя в кругу образованных людей, которые были восхищены его умом, живостью и обращались с ним как с равным, Шарль Нодье воспринял новые теории с простодушием, свойственным его возрасту. В двенадцать лет он ненавидел тиранию не меньше Катона Утического и рассуждал о правах народа, как один из Гракхов. Таким образом он повторял на практике уроки римской истории. Несмотря на юный возраст и в виде странного исключения, он был избран в 1792 году членом наиболее непримиримого народного общества *Друзья Конституции*, только что основанного в его родном городе. Я отыскал вступительную речь Шарля Нодье, которая была напечатана в те годы, и не без удивления прочел ее несколько месяцев тому назад. Поверьте, господа, я был удивлен не тем, что двенадцатилетний мальчик дает советы нации, королю и самому богу. Неожиданным для меня было другое, а именно, что я найду в подобном труде отточенный стиль, искусный выбор и расположение слов, понимание периода — словом, манеру письма, в которой уже угадывается оригинальный автор, сорок лет спустя занявший место среди вас.

Общество *Друзья Конституции* дало вскоре новое доказательство уважения к юному гражданину, которого оно так рано приобщило к политической жизни. Пишегрю только что одержал блестящую победу над австрийской армией — он отвоевал Вейссенбургские укрепления: Эльзас был спасен. Народное общество вспомнило о приветственных речах, с которыми римский сенат обращался к своим победоносным консулам. Чтобы поздравить удачливого генерала и его храбрых добровольцев, была назначена депутация, в которую вошел и Шарль Нодье. Он был принят Пишегрю и провел с ним несколько дней в окрестностях Страсбурга, наслаждаясь удовольствием, ни с чем не сравнимым в его возрасте, ибо

он видел вблизи лагерь, орудия и военные приготовления. Тогда-то, вероятно, и прошли перед его глазами некоторые наши великие республиканцы. Он запомнил их и удачно обрисовал в своих *Воспоминаниях о Революции*.

Среди людей, оказавших наиболее глубокое, благотворное влияние на детство Шарля Нодье, нельзя не упомянуть о некоем престарелом дворянине, офицере инженерных войск, подлинном философе-практике вроде Ксенофонта. В Безансоне о нем до сих пор говорят с умилением. Де Шантрана — так звали этого человека — привлекли исключительные способности юного Шарля, и он находил удовольствие в том, чтобы развивать их. Он давал ему книги, старался удовлетворить его ненасытное любопытство и во время долгих совместных прогулок поощрял врожденную наблюдательность своего ученика, внушая ему ранний интерес к естественной истории. Нодье дал в *Серафине* обаятельный портрет этого мудреца, нежно любимого им всю жизнь, портрет, безукоризненно схожий и, пожалуй, единственный, как мне говорили, который он не мог приукрасить.

Шарль Нодье обязан ему одним из добрых поступков, память о которых служит утешением во многих горестях. Как я уже говорил, Нодье-отец был в 1792 году председателем безансонского революционного трибунала. Хорошо известно, какие прискорбные функции выполнял судья в те годы. Приходилось либо стать рабом иступленной толпы, либо осудить себя на верную гибель. Печальные времена, когда честности надо возвыситься до героизма, когда слабости легко погрязнуть в преступлениях! Председатель страдал, но применял законы. Увы, в годину общественных раздоров этим словом обозначается произвол победителя. Эмигрантов лишили имущества, родины и хотели сверх того отнять у них семью. Переписка с эмигрантом, будь то отец, сын или супруг, считалась государственной изменой и каралась смертью. Г-жу Оливье, принадлежавшую к уважаемому в Безансоне семейству, обвинили в том, что она послала мужу, нашедшему убежище в Швейцарии... свой портрет. Она уже готовилась предстать перед грозным трибуналом, когда де Шантран упросил своего юного друга вступить за обвиняемую перед отцом. Шарль поклялся ее спасти и сдержал слово. Суще-

вало только одно доказательство ее переписки с изгнанником, и это доказательство находилось в руках председателя. Мольбы, слезы и самые угрозы мальчика, ибо он хотел покончить с собой, если г-жа Оливье будет осуждена, тронули этого доброго от природы человека. Он согласился, чтобы сын уничтожил в его присутствии роковое письмо, и на этот раз проявленная им слабость не повлекла за собой угрызений совести.

Вскоре после этого сам де Шантран подпал под действие одного из тех революционных законов, которые равно осуждаются и здравым смыслом и человечностью. Высланный из Безансона на основании декрета, запрещавшего дворянам жить в укрепленных городах, он горько сожалел о том, что в такое время оставляет своего ученика без руководителя. К счастью, Нодье-отец понял необходимость скрыть от Шарля окружавшие их отвратительные картины, и у него хватило мужества расстаться с сыном, поручив его попечению изгнанника. Он надеялся, кроме того, что невинность ребенка послужит защитой жизни старика, патриотизма которого оказалось недостаточно, чтобы искупить дворянское происхождение.

— Я не знаю человека добродетельнее тебя, — сказал председатель де Шантрану, — ты имел несчастье родиться в дворянской семье; но подчинись закону; возьми с собой моего сына; я поручаю его тебе; ты научишь его любить природу и истину.

Таков был стиль времени. Де Шантран обосновался со своим воспитанником в деревушке Новилар, и здесь, среди восхитительного уединения, они решили переждать бурю.

Престарелый инженер собирался давать Шарлю уроки математики, надеясь, что эта наука обуздает пылкое воображение ученика, которое внушало ему серьезную тревогу, но геометрия не привлекала мальчика, уже сочинявшего стихи. Поэзия — врожденный дар в этой семье. Дядя Шарля оставил после себя трагедию и несколько заслуживающих внимание опер. И, как вам известно, господа, муза Шарля Нодье продолжает вдохновлять его дочь. Изучение естественной истории и, главное, энтомологии, бывшее вначале лишь забавой, вскоре стало основным занятием изгнанников. Дни проходили в прогулках или, точнее, в продолжительных

скитаниях. Вечером, убрав принесенную добычу — растения и насекомых, они чувствовали себя слишком утомленными, чтобы решать задачи. Они предпочитали хорошую книгу и неизменно засиживались далеко за полночь. Де Шантран привез с собой в Новилар несколько томов Шекспира, и, едва открыв один из них, Шарль с жадностью проглотил остальные. Шекспир с его самобытной красотой предстал перед этим рассудком, влюбленным в независимость, как гений, свободный от всяких пут. Такое чтение было бы опасно для любого человека; когда собираешься взобраться на вершину, не надо брать в проводники орла. Но юноша уже отличался пристрастием к совершенству формы, чувством изящного даже в мелочах, весьма редким в его возрасте и которым он был, вероятно, обязан мудрым урокам отца. Эта любовь к чистоте речи не покидала Шарля Нодье даже среди восторгов, вызванных необузданным гением Шекспира, и как бы против воли возвращала к строгому соблюдению правил и преклонению перед нашими великими образцами.

После террора он прослушал в безансонской центральной школе цикл лекций профессора Дроза, которому суждено было стать его предшественником в вашем обществе. Ученый муж вскоре выделил его среди прочих учеников и постарался привить ему вкус к классической древности, изучение которой необходимо даже новатору. Однако он не вполне успел в этом. У отца и в библиотеках друзей Шарль Нодье находил книги, которые лучше удовлетворяли мучавшую его жажду сильных волнений. В большой моде был тогда роман *Вертер*, шедевр экзальтированных чувств, принадлежащий перу скептика, с неповторимым искусством умевшего надеть любую маску. Вертер стал героем Шарля Нодье. Он хотел жить, а быть может, и умереть, как Вертер; известно, что несколько восторженных юношей дошли в своем подражании до самоубийства. По счастью, его увлечение ограничилось тем, что он перенял костюм своего кумира. Если верить ему на слово, прекраснейшим днем его жизни был тот день; когда отец подарил ему голубой фрак и желтые брюки — одеяние, обязательное для всякого, кто приписывал себе чувствительное сердце и неукротимые страсти.

По окончании центральной школы Шарль Нодье, едва достигший семнадцати лет, получил должность помощника библиотекаря в Безансоне. Он был обязан этой широте своих познаний, а главное, огромному количеству книг, прочитанных по довольно странной системе. Одни книги, такие, как *Вертер*, он выбирал, потому что они были в моде, а другие, такие, как *Symbalum mundi* и некоторые сказки XVI века,— по причине противоположной, а именно потому, что он собственноручно извлекал их из пыли библиотек. Как ни разнообразны были его литературные вкусы, он отдавал неизменное предпочтение оригинальности, которую не всегда отличал от чудачества. После Шекспира он увлекся, как мы видели, Гете, а немецкая драматургия в переводе Боневилля еще усилила его восторженную любовь к немецкой литературе. Не говоря уже о достоинствах некоторых немецких писателей, она нравилась молодежи тем, что содержала в себе поэтику, тогда еще новую и довольно простую для применения. В самом деле, у немцев система предшествует произведению искусства, а воображение направлено на то, чтобы пояснять теорию примерами.

Заинтересовавшись иностранной литературой, юный энтузиаст изучил несколько новых языков и задумал написать всеобщую грамматику. Однако на его первых работах сказались неопытность и самомнение молодости. Едва окончив школу, он изобрел язык, названный им *католическим*, и лелеял надежду, что этот язык заслужит когда-нибудь свое название благодаря присущей ему универсальности. Добрейший Вейс, поверенный всех его дум, который неизменно стоял на стороне разума, к счастью, остановил его в начале задуманного словаря.

— Я с удовольствием изучу твой язык,— сказал он,— но прежде переведи на него Корнеля, Мольера и Расина.

Трудность этой задачи обескуражила юного новатора, и он оставил *католический* язык ради языка французского, к тому времени завоевавшего Европу.

Первым его опытом было научное исследование. Ряд остроумных наблюдений привел его к выводу, что орган слуха у насекомых заключен в антеннах. К 1798 году он опубликовал статью, привлекающую внимание натуралистов. Не знаю, как смотрит на эту систему наука; замечу только, что успех ее был значителен, и впоследствии

у Шарля Нодье нашлись ученые-плагиаторы. Ему пришлось отстаивать приоритет своего труда и приводить неопровержимые тому доказательства.

Прошедшие годы и знакомства, завязанные в коллеже — обычной школе оппозиции, уже давно изменили демагогические убеждения, так нелепо навязанные ему в детстве. В восемнадцать лет, позабыв о своих успехах среди *Друзей Конституции*, он находил удовольствие в осмеянии народных обществ. В те времена, а именно в 1799 году, это еще было опасным развлечением. Он чуть было не поплатился за свои насмешки. Несколько студентов вздумали пародировать на площади Гранвель заседание республиканского клуба. Нодье отличился на этом представлении, и его речь вызвала наиболее горячие аплодисменты. Муниципалитет встревожился, штыки пришли ему на помощь. Злостных шутников арестовали, но главному виновнику удалось бежать и найти пристанище у де Шантрана. Был возбужден судебный процесс. Глупую выходку превратили в заговор роялистов и для десятиерых мальчиков потребовали смертной казни. Мнения присяжных разделились. Большинством всего в один голос юные вертопрахи были оправданы. Нодье поспешил заявить о своем участии в преступлении друзей, лично защищал себя на суде, и его речь, сохранившаяся до наших дней, привлекает внимание не только здравым смыслом, но и умелой аргументацией. Чувствуется, что он подавляет свою жгучую иронию из предосторожности, чтобы не выставить в смешном свете судей, и без того настроенных против умников.

Два года спустя Шарль Нодье выпустил ничтожным тиражом (он уже тогда отличался причудами библиофилов) сборник «Мыслей, заимствованных у Шекспира», многие из которых он приписывает переводчику. Этот своеобразный маскарад, к которому он не раз прибегал впоследствии, следует, конечно, приписать его скромности и неверию в свои силы.

Семья предназначала его для адвокатуры, но время, отведенное на изучение законов, уходило на писание романов и стихов. Он провалился на первом же экзамене и, раздосадованный этой неудачей, навсегда отказался от поприща, на которое вступил с неохотой.

Нет такого автора, который не искал бы в начале

своей карьеры более широкого поля деятельности. В 1800 году г-н Нодье уехал из Безансона, чтобы предложить свои рукописи столичным издателям. Романы и научные исследования появились одновременно; с одной стороны, *Изгнанные* и *Зальцбургский живописец* — явное подражание *Вертеру*, а с другой — *История насекомых*, или, точнее, новый метод их классификации. Романы расположили к нему г-жу де Жанлис, а более серьезные труды, вышедшие под заглавием *Энтомологическая библиотека*, были отмечены как образец методологии. Однако он прекратил вскоре эти занятия. Париж отвлекал его от работы. Подружившись еще до этого с несколькими людьми, которые были на подозрении у нового правительства, он очутился в компании веселых товарищей, фрондеров, как и он, роялистов или республиканцев, примкнувших к оппозиции под влиянием своей ненависти к Наполеону. У Нодье никогда не было политических убеждений. «Самая справедливая партия, — говаривал он, — это партия побежденных». И он сообразовывал свои поступки с этим более чем спорным принципом. Прежде всего он поместил несколько статей в *Ситуаен франсе* — единственной газете, которая выступала против низкопоклонства, пробужденного в нашем воинственном народе славой оружия и ослепительной фортуной первого консула. Более того, он посмел напасть на самого главу государства и подвергнуть осмеянию всемогущего победоносного генерала. Ода под заглавием *Наполеон*, распространенная в рукописи, имела необычайный успех, которым она была обязана не только пламенным республиканским чувствам, но и резкости поэта, обвинившего великого человека в том, что он «катится вниз». Затем, окончательно осмелев, сатира появилась в печатном виде, что навлекло на книготорговца, издавшего ее, недовольство властей. Молодость и безвестность уберегли Нодье от преследований, но, узнав, что книготорговец скомпрометирован, он без колебания назвал себя и потребовал, чтобы гнев правительства обрушился на него одного. Это самоотвержение не было для него роковым. У министра полиции Фуше служил библиотекарем отец Удэ, член конгрегации Оратория и старый друг председателя Нодье. Отец Удэ поспешил встать на защиту поэта, которого он обрисовал минист-

ру как юношу талантливого и скорее ветреного, чем опасного. Дело ограничилось выговором и приказом немедленно выехать из Парижа. Председатель Нодье, испугавшись за сына, уже настоятельно звал его домой. Молодой сатирик покинул Париж с отчаянием в душе. Он мечтал о мученическом венце, а добился лишь унижительной милости. Он не был расстрелян, как ожидал, и роман его лишился великолепной развязки.

Восторженно встреченный в Безансоне роялистами, которых ссылка не отвратила от несбыточных мечтаний, и республиканцами, возмущенными новым игром, он возобновил более неосмотрительно, чем когда-либо, прежние связи, которые оспаривали друг у друга эти два некогда враждебных лагеря. Тогда же, по-видимому, он примкнул к некоему тайному обществу, иначе говоря, к обществу, за которым присматривала вездесущая полиция первого консула. Он стал заговорщиком, но скорее в теории, ибо его больше привлекали волнения этого рискованного предприятия, нежели его политические результаты. Момент был выбран неудачно: среди сообщников Шарля Нодье были люди, серьезные замыслы которых могли вызвать и оправдать строгости правительства. Как-то вечером, испуганный неожиданным арестом одного из друзей, юный заговорщик решил, что ему ничего не остается, как бежать, если он не хочет попасть в камеру цитадели. Ловко, проворно перелез он через крепостную стену и бросился прочь от города. Он рассказывал впоследствии, что в своем смятении не узнал знакомых, много раз исхоженных мест и, пробродив несколько часов окольными тропинками, пришел на заре к воротам Безансона. Он не решился в них войти и, собрав последние силы, добрал до Юрских гор. Он прожил там довольно долго как изгнанник, переходя с места на место, избегая проторенных дорог и в поисках ночлега стуча в разные двери. Эта суровая, беспокойная жизнь настолько пришлась ему по вкусу, что он никогда не забывал о ней, и этими воспоминаниями вдохновлены многие прелестные его страницы. Правда, забота о безопасности не мешала ему предаваться любимым занятиям. Он думал, что спасается от жандармов, а на самом деле охотился за бабочками. После долгого пути, неся вместо багажа охапку растений и коробку с насекомыми, он

заходил в уединенный домик священника. Прежде всего путник называл себя, преувеличивая грозившую ему опасность, которой он помимо воли подвергает приютивших его людей. Тут начиналась борьба великодушия, в которой Нодье бывал неизменно побежден. Он весело ужинал, спал на соломе и продолжал путь на заре, унося с собой пожелания и благословения доброго кюре. Кроме священников, он обращался обычно к сельским врачам и так часто разыгрывал перед ними сцены воображаемого романа, что в конце концов стал считать себя самым ожесточенно преследуемым из скитальцев. Прекрасно рассуждая о медицине и родственных ей науках, он удивлял приютивших его людей широтой и разнообразием своих познаний. На прощание он дарил им редкие растения, любопытных насекомых и советовал собирать коллекции. Этот странствующий учитель естественной истории оставил в Юрских горах много учеников, и они еще помнят его уроки, особенно увлекательные благодаря несравненному обаянию наставника и таинственности жизни, которую он вел.

Поразительно, что, несмотря на постоянные скитания, на отсутствие книг и советов, он нашел время написать один из своих наиболее замечательных трудов по лингвистике — *Словарь ономастопеев*. После Юлия Цезаря Шарль Нодье, думается мне, единственный грамматист, бывший одновременно поэтом и заговорщиком. Правда, глупая фантазия автора отразилась на его грамматических положениях, и все же полезнее обращаться к теориям, даже рискованным, изобретательного писателя, чем к холодным выводам пуриста. Исследования Нодье о нашем языке отмечены, впрочем, безукоризненным вкусом. Никто не сумел лучше него проникнуть в тайны языка и не проявил большего остроумия при описании его оттенков и трудностей.

Бродячая жизнь, постоянная забота о том, чтобы избежать воображаемых преследований, или, говоря его словами, мономания несчастья, привлекли наконец к Шарлю Нодье внимание властей. Узнав, как старательно он прячется, они заподозрили его в преступнейших намерениях. Полиция сделала обыск в одном из его временных убежищ. Нодье там не оказалось, но бумаги его были захвачены и переданы Жану де Бри, дубскому

префекту, полномочному представителю Франции в Раштатте. Среди них оказались стихи, главы романов, заметки по естественной истории и, наконец, *Словарь ономастический*.

Префект с интересом просмотрел эти черновики и решил, что человек, поглощенный наукой и литературой, не может быть опасным заговорщиком. Он вызвал к себе друзей Шарля Нодье и поручил им передать изгнаннику, чтобы тот бросил бродячую жизнь и спокойно продолжал свои работы. Более того, он дал ему средства вернуться в Безансон, а затем отправиться в Доль, где его ожидало место преподавателя литературы. Пятнадцать лет спустя Нодье с радостью вернул этот долг благодарности. Положение к тому времени изменилось. Жан де Бри, в свою очередь, оказался в изгнании. Нодье, бывший другом некоего влиятельного министра, добился как личной услуги возвращения на родину своего прежнего покровителя.

Во время своих странствий Нодье пользовался в Кентиньи гостеприимством одной милой семьи, с которой его связали вскоре нежнейшие узы. После переезда в Доль он женился на женщине, которая составила счастье его жизни и облегчила своей любовью предсмертные муки. Скромное состояние было давно растрачено. Поэт редко знает цену деньгам, а Нодье не мог видеть чужую беду, чтобы не оказать помощи вплоть до личного в ней участия. Став отцом семейства, он понял, что отныне должен жить не для себя, а для своей молодой подруги; он отказался от плохо оплачиваемой должности преподавателя в Доле и согласился стать секретарем кавалера Крофта, богатого англичанина, ученого-филолога, друга и помощника знаменитого Джонсона. Если бы не странное пристрастие к мелочам, Герберт Крофт, обладавший огромной эрудицией, занял бы видное место среди критиков. Вот характерный штрих, в котором сказался весь этот человек: он провел несколько лет, списывая и переписывая *Телемака*, чтобы преобразовать пунктуацию этого произведения, и, задумав сделать такую же работу над Горацием, пригласил к себе Нодье. Быть может, этому новому знакомству Нодье и обязан тем, что усовершенствовал свое знание греческих и латинских классиков в обществе человека, который был как бы

живым словарем всех филологических трудностей. Со своей стороны, сэр Герберт, вероятно, заимствовал у него оригинальные взгляды, благодаря которым в трактате *Гораций, разъясненный пунктуацией*, обнаруживается более широкий критический подход, чем подход баронета, слишком занятого точками и запятыми, чтобы по достоинству оценить ум и красоту разбираемого автора.

Влекомый любовью к независимости, Нодье вернулся к 1809 году в Кентиньи и провел там в праздности около двух лет. Бесконечно довольный тем, что может писать для себя, он употребил это время, чтобы увеличить свои коллекции, обдумать стихи, а главное, насладиться отдыхом, сладость которого он вкушал впервые.

Он отказался от него лишь в 1810 году, выпустив под заглавием *Вопросы дозволенной литературы* весьма интересный томик, в котором с большой меткостью суждения разбирает случаи, когда литературное подражание допустимо, а когда его следует заклеймить словом «плагиат». Эта книга, где блестящие стилистические достоинства сочетаются со строго логическим мышлением, быть может, неожиданным у человека, от природы склонного к парадоксу, до сих пор служит как бы незыблемым кодексом, статьи которого не станет оспаривать ни один порядочный человек.

Вскоре после этого Нодье получил по протекции герцога Отрантского, которую он упорно принимал за преследование, скромное место в иллирийских провинциях, недавно присоединенных к Империи. Назначенный библиотекарем в Лайбах, он тут же разделил полученное им скромное жалованье со своим предшественником, бедным немецким ученым, которого только что отрешили от должности. Потом он занял в том же городе пост директора газеты *Телеграф иллириен*, выходившей в Крайне на четырех языках: французском, итальянском, немецком и славянском. Он писал для этой газеты многочисленные научные и литературные статьи и одновременно тщательно изучал своеобразные нравы страны, послужившей впоследствии рамкой некоторых его полотен.

Возвратившись из иллирийских провинций во Францию, он вошел в редакцию *Журналь де л'Амбир*. Жофруа, уже пораженный тогда смертельным недугом, прочел несколько рукописных статей Нодье; они

ему понравились, и, если не ошибаюсь, он согласился в интересах газеты поместить их под своим именем. Публика оценила эти статьи. «Жофруа молодеет», — говорили читатели. Несколько дней спустя знаменитого критика не стало, а имя еще безвестного Нодье не встретило столь благосклонного приема. Он был новичком, и ему пришлось претерпеть огорчения, всегда выпадающие на долю таланта при его первых попытках проявить себя.

Нодье чистосердечно считал себя жертвой императорского деспотизма. После падения императора он волею судеб оказался в партии, где у него издавна было много друзей. На этот раз он отказался от точки зрения, связывавшей его с побежденными. Победители, правда, были еще очень слабы, они подвергались бесчисленным опасностям и несли ответственность за поражения, которую возложила на них неумолимая, как рок, национальная гордость. Очутившись, сам не зная почему, в политическом водовороте, Нодье защищал своим пером убеждения, которые исповедовал, или, точнее, партию, завладевшую им. Впоследствии потребовался весь его талант романиста, вся доброжелательность, вся учтивость светского человека, чтобы иные политические противники позабыли о пристрастной, но искренней полемике, которую он вел в те бурные дни.

Разрешите мне вкратце остановиться на последнем труде Нодье, вдохновленном политическими страстями; я имею в виду *Историю тайных обществ в армии*, которая вышла в начале 1815 года. Смешивая вымысел и правду, он рассказывает в ней с романтическими прикрасами, которыми любил уснащать свои сочинения, о неведомых попытках более чем сомнительных заговорщиков, мечтавших в тени о возвращении Бурбонов.

Полюбуйтесь, господа, с каким искусством Нодье льстит властям, как умело восхваляет он лженауку. Сначала он скрывает свое имя, затем превозносит на каждой странице героя-республиканца. Видимо, он хочет кое-кому услужить. Его цель, говорят мне, — успокоить правительство относительно настроений в армии и обмануть самую армию, внушив ей, что преданность императору не разделялась ее начальниками. Как бы то ни было, ни один беспристрастный читатель не припишет корыстных

расчетов автору этого небольшого труда; он увидит в нем лишь литературное упражнение, а не выдумку, подсказанную тщеславием.

Поспешим покинуть область политики, чтобы проследить за литературными трудами Нодье, прервать которые суждено отныне только смерти. Образование, юношеские вкусы, пылкое воображение — все это сближало его с писателями, требовавшими для Франции хотя бы доли той свободы, которой пользовалась иностранная литература. Ему опять предстояла война, но война учтивая — соревнование знаний и ума. Вы были в нем судьями, господа, и допустили в свою среду всех победителей, каков бы ни был их девиз. Нодье сразу отличился в этой новой борьбе, хотя на его первых произведениях сказалась в известной степени роковая крайность, до которой доводит полемика самых мудрых и осмотрительных людей. Он упрекает наших мастеров в том, что они жертвуют естественностью ради условного величия. И в то же время персонажи *Жана Сбогара* и *Терезы Обер* более походят на призраки экзальтированной фантазии, чем на реальных людей. Эти недостатки, присущие не столько самому Нодье, сколько всей тогдашней литературной школе, исчезают в произведениях, отмеченных его зрелым мастерством. Чувствуется, что автор, более уверенный в себе, отказывается от необычайных замыслов, чтобы внимательно изучать природу и открывать в ней простые, но безошибочно действующие пружины. Краски его правдивы и в то же время искусно нюансированы; характеры вызывают симпатию, потому что они человечны. Он сумел сообщить правдоподобие самым фантастическим полотнам, ибо в подражание грекам облек свои химеры в форму, взятую из природы. К этой поре расцвета его таланта относятся *Воспоминания молодости*, *Мадмуазель де Марсан*, *Фея Крошек*, *Инес из Сьерры*, *Воспоминания о Революции и Империи* — прелестные вещи, для которых трудно подобрать определение; в самом деле, под его пером романы, история, наука преобразуются, смешиваются и взаимно обогащают друг друга. Он владел даром оживлять самые сухие сюжеты, чем и объясняется их популярность. Его *Путешествия по Нормандии и Франш-Конте* научили уважать старинные памятники и

искупили несправедливое пренебрежение, с которым относились к средневековью. Статьями *Понятие о лингвистике*, появившимися в периодической печати, зачитывались светские люди, а *Книжные каталоги*, очевидно, предназначавшиеся горстке ученых, приобщили даже финансистов к поискам и увлечениям библиофилов.

Любовь к оригинальности заводила его иногда слишком далеко. Виднейшие ученые осудили теорию языка Нодье, возникновение которого он объясняет звукоподражанием, сводя все слова к метафорам, почерпнутым из ономатопеев. Никогда, впрочем, суетное желание блистать не побуждало его оспаривать свои прежние воззрения. Он излагал изобретенные им теории с убежденностью, пусть даже временной, а если и злоупотреблял порой гибкостью своего таланта для защиты безнадежного дела, то лишь потому, что у воображения поэта есть своя совесть, которая отвергает доводы разума.

Будучи явным сторонником новшеств, он никогда не посягал на язык Паскаля и Босюэ и смотрел на него как на святая святых, которой воспрещено касаться. Иногда, быть может, он простирал смелость своих воззрений до сумасбродства, но в работе над стилем всегда следовал лучшим литературным образцам. Его период ясен, прост, гармоничен. *Смарра*, наиболее странная из его фантастических новелл, представляется мне мечтой скифа, воспетой греческим поэтом.

Дух Франции слишком близок Нодье, чтобы стиль не был для него предметом непрерывного изучения. Со времен средневековья, как только галльская речь становится письменным языком, над стилем у нас начинают работать. Едва возникают слова, их уже обсуждают, выбирают. Вкус публики как бы освещает их употребление, и благодаря этому они становятся определенными, то есть непреложными, а наши идиомы приобретают ту ясность, которой мы по справедливости гордимся. Во Франции во все времена выдающиеся люди всех званий ставили себе в заслугу умение хорошо писать. Политик, воин, придворный, кто бы ни обращался к французам, неизменно предстал перед судьями, которых невозможно убедить иначе, как очаровав их. У этих чар тоже имеются свои правила, которые приходится так сказать, похищать у великих мастеров. Я го-

ворил, что Нодье искал их преимущественно у наших писателей XVI века, мастерство которых, проникнутое наивной простотой, позволяет легче подмечать и разгадывать тайны творчества. Еще Лафонтен заимствовал у Рабле живые, свободные обороты речи, которых не находил в языке своего времени, несколько ограниченном и церемонном в своей учтивости. Черпая из того же источника, Нодье, как мне говорили, трижды собственноручно переписал всего Рабле, чтобы в некотором роде усвоить его. Действительно, для человека, озабоченного, как он, совершенством деталей, это был образец, достойный подражания. Правда, у историка Гаргантюа нет ни одной страницы, которую можно было бы прочесть вслух, но у него нет также ни одной строчки, которая не давала бы пищи для размышления всякому, кто хочет писать на нашем языке. Никто лучше него не сумел придать мысли такую, я сказал бы, истинно французскую форму, благодаря которой его предложения вошли в поговорку. Никто лучше него не понимал, до какой степени место, занимаемое словом, уменьшает или увеличивает изящество периода. Как человек, просвещенный глубочайшим проникновением в классическую древность, Рабле, который жил при дворе, но был вскормлен народом, усвоил мысль Платона, что народ — лучший учитель языка. Возвышенные чувства, остроумие, здравый смысл... чего еще не хватает Рабле? Одного довольно важного свойства. Этот беспощадный насмешник и сатирик был лишен задушевности, которая так сближает писателя и читателей. Но он жил в суровый, жестокий век. Велась война против мысли и разума; кругом пылали костры; он сражался, а на поле брани не место предаваться чувствительности.

Рожденный во времена более несчастливые, быть может, хотя и более просвещенные, Нодье заимствует у Рабле лишь изобретательность стилистических приемов. Способ же трогать и нравиться он находит в собственном сердце. Душа писателя целиком отражается в его творчестве, как бы вдохновленном следующим изречением Теренция:

Homo sum; humani nihil a me alienum puto *.

* Человек я, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

О Нодье можно сказать, что весь он — воображение и сердце. Отсюда оригинальные достоинства, которыми блещут его произведения; отсюда также их несовершенства. В самом деле, зачем умалчивать об этом? Разве нет критики, которая все же оборачивается похвалой? Сделал ли все, что мог сделать, этот человек, занимающий особое место в современной литературе? Когда перечитываешь его прелестные стихи, как бы навеянные ранней юностью, невольно задумываешься над тем, почему умолк этот мелодичный голос, который, быть может, вернул бы нам Андре Шенье. Когда любишь его затейливой прозой, где искусное сочетание слов и оборотов ни в чем не нарушает изящной легкости языка, сожалеешь о том, что этот волшебный дар не послужил для создания более серьезных произведений; хотелось бы, чтобы писатель отдавал меньшую дань мимолетным вкусам, или, да простится мне это выражение, литературным модам. Если вспомнить, наконец, как глубоко изучил Нодье грамматику нашего языка, его происхождение и формы, — а это, господа, известно вам лучше, чем кому-либо, — то горько посетуешь на то, что он не оставил после себя одного из тех капитальных трудов, в которых знание прошедшего становится правилом для настоящего и руководством для будущего. «Мало обладать крупными достоинствами, — сказал Ларошфуко, — необходимо бережливо расходовать их». Этой бережливости не хватало, быть может, Нодье: он был рабом своих причуд, часто нуждался, работал из-за куска хлеба и постоянно уступал настойчивым требованиям издателей, которые осаждали этого человека, по доброте своей не умевшего отказывать... Я умолкаю, господа, замечая, что скорее критикую мое время, чем творчество Нодье. Единственная ошибка этого человека, скромного до самоуничтожения, заключалась в том, что он не полностью проявил бесценные способности, доставшиеся ему на долю. Потомство, о мнении которого он мало заботился, сохранит память о нем; благосклонность, с которой встречены в наши дни его творения, не изменит писателю: как быть строгим к тому, кого нельзя прочесть, не полюбив!

СТЕНДАЛЬ



не часто вспоминается одно место из Одиссеи: призрак Эльпенора является Улиссу и требует, чтобы над ним был совершен погребальный обряд:

Не оставляй меня неоплаканным и непогребенным!

В наше время никто не остается непогребенным, за этим следит полиция, но у нас, язычников, есть еще долг по отношению к нашим умершим, состоящий не только в выполнении правил общественной санитарии. Я присутствовал на трех языческих похоронах: на похоронах Сотле, покончившего самоубийством, прострелив себе висок; его учитель, великий философ Кузен, и его друзья убоялись своих добропорядочных сограждан и не осмелились говорить; затем на похоронах Жакмона — он сам запретил произносить над ним надгробные речи. И, наконец, на похоронах Бейля. На его похоронах нас было трое, и мы были так плохо подготовлены, что даже не знали его последней воли. И каждый раз у меня было ощущение, что мы чего-то не выполнили, если не по отношению к умершему, то, во всяком случае, по отношению к самим себе. Если бы друг наш умер во время путешествия, мы горько бы сожалели, что не простились с ним перед отъездом. Всякий отъезд, всякая смерть должна сопровождаться известной церемонией, ибо во всем

этом есть нечто торжественное. Пусть будет устроен обед, пусть соберутся несколько единомышленников, но что-то сделать надо. Об этом и просит Эльпенор—не только о том, чтобы его предали земле, но чтобы о нем вспомнили.

На этих страницах я хочу возместить то, чего мы не сделали на похоронах Бейля. Я хочу поделиться кое с кем из его друзей своими впечатлениями и воспоминаниями.

Бейль, оригинальный во всем—немалая заслуга в нашу эпоху стертых монет! — гордился своим либерализмом, а в глубине души был законченным аристократом. Он не выносил глупцов, питал непримиримую ненависть к тем, кто наводил на него скуку, и за всю жизнь не научился толком отличать дурного человека от надоедливого. Он выказывал глубочайшее презрение к французскому характеру и красноречиво обличал все пороки, в которых, без сомнения несправедливо, обвиняют нашу великую нацию: легкомыслие, ветреность, непоследовательность в словах и поступках. А меж тем ему самому были в высокой степени свойственны те же недостатки, и если уж говорить о легкомыслии, так ведь сам Бейль, посылая однажды из Чивита-Веккья шифрованное письмо де Брольи (министру иностранных дел), вложил шифровальный ключ в тот же конверт.

Всю жизнь преобладающей его чертой было воображение, и если он что делал, то только внезапно и под влиянием сильного чувства. Тем не менее он хвалился, что всегда поступает сообразно рассудку. «Нужно во всем руководствоваться логикой»,— говорил он, отделяя паузой первый слог от остальных, но никак не мог примириться с тем, что логика других людей не всегда совпадает с его собственной. Впрочем, он никогда не пытался их переубедить. Люди, плохо его знавшие, приписывали чрезмерной гордости то, что, возможно, было лишь уважением к чужим взглядам. «Вы кошка, я крыса»,— говаривал он иногда, чтобы положить конец спору.

Однажды мы вздумали вместе писать драму. Наш герой, совершив преступление, терзался угрызениями совести.

«Что нужно сделать,— сказал Бейль,— чтобы освободиться от укоров совести?» И, подумав, ответил: «Ну-

жно основать школу взаимного обучения». На том и кончилась наша драма.

У него не было никаких религиозных убеждений, а если и были, то состояли они из гнева и злобы против провидения. «Оправдать бога,— говорил он,— может только то, что он не существует». Однажды у г-жи Паста он изложил нам следующую космогоническую теорию. Бог был очень ловким механиком. Он трудился день и ночь, мало говорил и непрестанно что-нибудь изобретал, то солнце, то комету. Ему говорили: «Да запишите же ваши изобретения! Нельзя, чтобы это пропало даром...» — «Нет,— отвечал он,— это все еще не то, чего я хочу. Вот усовершенствую свои открытия, тогда...» В один прекрасный день он скоропостижно скончался. Побежали за его единственным сыном, который учился у иезуитов. Это был кроткий и прилежный юноша, ничего не смысливший в механике. Его привели в мастерскую покойного родителя. «Ну-ка, за работу! Надо же управлять миром...» Юноша в смущении; он спрашивает: «А как это делал мой отец?» — «Да вот поворачивал это колесо, делал то, делал это...» Он начинает вертеть колеса, и все идет вкривь и вкось <...>

Трудно понять, что он думал о Наполеоне. Почти всегда он высказывал мнение, противоположное тому, которое выдвигали другие. То он говорил о нем, как о выскочке, ослепленном мишурой величия и непрестанно совершающим прегрешения против логики. То выказывал восхищение перед ним, почти обожание. Сегодня был фрондером, как Курье, завтра—раболепным, как Лас Казас. О деятелях империи он отзывался столь же поразному, как и об их главе.

Он признавал, что император обладал даром очаровывать всех, кто к нему приближался. «И во мне тоже,— говорил он,— пылал священный огонь! Однажды меня послали в Брауншвейг собрать экстренную контрибуцию в пять миллионов. Я заставил заплатить семь, и меня чуть не убила взбунтовавшаяся чернь, раздраженная моим чрезмерным усердием. Но император осведомился, кто из аудиторов это сделал, и сказал: «Очень хорошо».

Мы любили слушать его рассказы о кампаниях, которые он проделал с императором. Его рассказы отнюдь не походили на официальные реляции. Судите сами. В од-

ном жарком бою Мюрат увещевал солдат, готовых обратиться в бегство, и вот что он им кричал: «Вперед, сукины дети! Моя задница кругла, как яблоко! Моя задница кругла, как яблоко!»—«В минуту опасности,—говорил Бейль,— это казалось самой обыкновенной речью, и я уверен, что Цезарь и Александр в подобных случаях выкрикивали такую же бессмыслицу».

После ухода из Москвы Бейль на третий день отступления вместе с отрядом в полторы тысячи человек оказался отрезанным от главных сил армии какой-то крупной воинской частью русских. Половина ночи прошла в жалобах, потом более храбрые стали усовещевать трусов и силой своего красноречия добились решения с оружием в руках пробить себе дорогу, как только рассветет и уже можно будет видеть противника. Еще образец военной речи: «Сволочи вы! Вас же завтра всех перебьют, потому что вы такие б... что не умеете держать ружье в руках и пускать его в ход, когда надо!» и т. д. Эти возвышенные слова оказали действие, и с первым проблеском дня отряд решительно двинулся на русских, бивачные огни которых еще горели. Солдаты незамеченными подкрались к неприятельскому лагерю, но нашли там только бродячую собаку. Русские ушли еще ночью.

Во время отступления Бейль не слишком страдал от голода, но что он ел и при каких обстоятельствах, он забыл начисто; запомнился ему только кусок сала, за который он заплатил двадцать франков и о котором даже после стольких лет вспоминал с наслаждением.

Из Москвы он привез томик *Фацетий* Вольтера в красном сафьяновом переплете, взял его где-то в горящем доме. Его товарищи считали этот поступок несколько легкомысленным: разрознить такое роскошное издание! Он и сам испытывал что-то вроде укоров совести.

Однажды утром, уже в окрестностях Березины, он явился к Дарю, выбритый и тщательно одетый. «Вы побрились,— сказал Дарю.— Ну, вы храбрец!»

Г-н Бергонье, аудитор Государственного совета, говорил мне, что спасением своей жизни обязан Бейлю, так как тот, предвидя перегрузку мостов, заставил его перейти Березину вечером накануне разгрома. Пришлось

почти что применить силу, чтобы вынудить его сделать эти несколько сотен шагов. Г-н Бергонье с высокой похвалой отзывался о хладнокровии Бейля и его здравом смысле, не изменявшем ему даже в такие минуты, когда и записные смельчаки теряли голову.

В 1813 году Бейль был невольным свидетелем бегства целой бригады, на которую внезапно напали пять сотен казаков. Он видел, как бежало около двух тысяч человек, в том числе пятеро генералов, коих можно было узнать по их расшитым шляпам. Сам он тоже бежал, как и все, но плохо, так как только одна нога была у него обута, а другой сапог он держал в руке. Во всем этом французском соединении нашлось только два героя, оказавших сопротивление казакам; жандарм по фамилии Меневаль и новобранец, который, пытаясь стрелять в казаков, убил под жандармом лошадь. Бейлю поручили доложить императору об этой панике; тот слушал, внутренне кипя от ярости и вертя в руках железный прут, на который подвешивают шторы. Стали искать жандарма, чтобы наградить его крестом за отвагу, но он спрягался и сперва даже отрицал свое участие в деле, считая, что нет ничего хуже, чем быть замеченным во время бегства. Он думал, что его хотят расстрелять.

О любви Бейль говорил еще красноречивее, чем о войне. Он постоянно был влюблен или воображал себя влюбленным, — иным я его никогда не видал, но было у него две *любви-страсти* (я употребляю его собственную терминологию), от которых он так и не излечился. Одну — первую по времени — ему внушила, кажется, г-жа Кюриаль, бывшая тогда в расцвете красоты. Среди его соперников было много важных особ, в том числе генерал, приближенный к императору (Коленкур), который однажды воспользовался своим положением, чтобы заставить Бейля уступить ему свое место возле дамы. В тот же вечер Бейль нашел случай передать ему басню собственного сочинения, в которой в аллегорической форме предлагал ему дуэль. Не знаю, понял ли генерал басню, но морали ее он не одобрил, и Бейль получил жестокий нагоняй от Дарю, своего родственника и покровителя. Тем не менее он продолжал за ней ухаживать. Об этой истории Бейль рассказал мне в 1836 году однажды вечером под пышными деревьями Лаонского парка. Он до-

бавил, что только что видел г-жу Кюриаль — ей тогда было уже сорок семь лет — и почувствовал, что так же влюблен, как при первой встрече. «Как вы можете любить меня в мои годы?» — спросила она. Он убедительно ей это доказал; я никогда не видел его столь взволнованным. Он говорил о ней со слезами на глазах.

Другая его любовь-страсть была к одной миланской красавице (г-же Грюа). Несмотря на прославленную верность итальянок, которую Бейль так часто противопоставлял кокетству француженок, г-жа Грюа бессовестно его обманывала. Она ухитрилась внушить ему, что ее муж, добрейший из людей, на самом деле чудовище ревности, и заставляла Бейля скрываться в Турине, так как, говорила она, появись он открыто в Милане, это бы ее погубило. Раз в десять дней, в ненастную зимнюю погоду, Бейль приезжал в Милан, соблюдая строжайшее инкогнито, днем прятался в дрянной харчевне, а ночью горничная, которой он хорошо платил, тайком приводила его в спальню красавицы. Так шло некоторое время, всякий раз со страшными предосторожностями. Но горничную в конце концов зазрела совесть, и она призналась Бейлю, что у его дамы столько же любовников, сколько дней он проводит в отсутствии. Сперва он не хотел верить, потом согласился сделать испытание. Его спрятали в чулане, и, приложившись глазом к замочной скважине, он увидел в трех шагах от себя вполне наглядное доказательство. Бейль говорил мне, что в первую минуту это необычайное зрелище и комизм положения невероятно его рассмешили, так что он только из опасения спугнуть любовников с великим трудом удержался от хохота. Свое несчастье он почувствовал позже. Неверная возлюбленная, которой он отомстил лишь тем, что слёгка ее вышутил, пыталась его смягчить, на коленях молила о прощении, в этой позе следовала за ним по длинной галерее. Гордость не позволила ему простить, в чем он потом горько каялся, вспоминая страстное выражение лица г-жи Грюа. Никогда еще она не казалась ему столь желанной, никогда еще в ней не было столько любви к нему. Он принес в жертву гордости величайшее наслаждение, какое мог с нею изведать. Полтора года он не мог утешиться. «Я был в отупении, — говорил он, — не способен был думать, чув-

ствовал только, что на меня навалилась невыносимая тяжесть, но не отдавал себе отчета в своих переживаниях. Это самое большое несчастье, оно лишает всякой энергии. Потом, когда я немного оправился от этого удручающего безволия, во мне разгорелось странное любопытство: я хотел знать все ее измены, расспрашивал о подробностях. Это причиняло мне ужасную боль, но вместе с тем я испытывал какое-то чувственное удовольствие, представляя ее себе во всех положениях, которые она описывала». Бейль, как мне кажется, питал убеждение, довольно распространенное во времена Империи, что всякую женщину можно взять нахрапом и что долг каждого мужчины попробовать. «Возьмите ее, это первая ваша обязанность по отношению к ней», — сказал он мне однажды, когда я рассказывал ему о женщине, в которую тогда был влюблен. А как-то вечером в Риме он сказал мне, что графиня Чини только что в разговоре с ним употребила обращение *voi* вместо *lei*, и спросил, не следует ли ему за это ее изнасиловать. Я всячески поддерживал его в этом намерении.

Я не видал человека, который бы с таким великодушием, как Бейль, принимал критические отзывы о своих работах. Его друзья на этот счет ничуть не стеснялись. Он не раз присылал мне рукописи, уже побывавшие у Виктора Жакмона и вернувшиеся с отметками на полях вроде следующих: «Отвратительно, — стиль швейцара» и т. п.; когда вышла его книга *О любви*, все наперебой изошрялись в насмешках (в сущности, совсем несправедливых). Но никогда даже такая критика не нарушала его отношений с друзьями.

Он много писал и над каждой вещью работал подолгу, но не оттого, что совершенствовал ее выполнение, а оттого, что переделывал план. Если он устранял какие-нибудь ошибки первой редакции, то тут же делал новые, ибо, насколько я помню, он никогда не старался выправить свой слог. И, несмотря на обилие помарок в его рукописях, можно сказать, что все они были написаны сразу.

Письма его очаровательны, это, в сущности, живая его беседа.

В обществе он бывал очень весел, иногда даже без удержу, пренебрегая условностями и чувствами собесед-

ника. Частенько он впадал в дурной тон, но всегда был остроумен и оригинален. И хотя сам он никого не щадил, его легко было обидеть каким-нибудь случайно вырвавшимся и вовсе не злым замечанием. «Я щенок, которому просто хочется поиграть,— говорил он,— а меня кусают». Он забывал, что и сам иной раз кусался, и даже очень больно. Это происходило оттого, что он решительно не понимал, как можно иметь иные, чем у него, мнения о людях и событиях. Так, например, он не допускал мысли, что есть люди искренне верующие: в священнике и роялисте он всегда видел лицемера.

Его взгляды на искусство и литературу казались в те времена, когда он их высказывал, еретическими и дерзкими. Сейчас многие из них уже стали прописными истинами. Он ставил Моцарта, Чимарозу и Россини выше, чем изготовителей комических опер, модных в дни нашей юности,— и вызывал бурю: его обвиняли в том, что он не понимает *французского духа*.

Но он был до чрезвычайности французом в своих суждениях о живописи, хотя и утверждал, что судит о ней как итальянец. Он оценивал великих мастеров чисто по-французски, то есть с точки зрения литературной. Картины итальянской школы он разбирал как драматические произведения. Этот подход сохранился и до сих пор во Франции, где у людей отсутствует и понимание формы и врожденное чувство красок. Ведь для того, чтобы понимать и любить форму и краски, нужна особая восприимчивость и длительное упражнение. Бейль даже в одной из мадонн Рафаэля усмотрел драматические страсти. Я всегда подозревал, что он потому любил больших мастеров ломбардской и флорентинской школы, что их картины заставляли его думать об очень многих вещах, о коих сами художники, вероятно, и не помышляли. Это уж особенность французов — ко всему подходить умом. Справедливо будет добавить, что ни на каком языке нельзя передать все тонкости формы или все разнообразие красочных эффектов. А когда не хватает слов, чтобы выразить свои ощущения, тогда начинают описывать другие чувства, возникающие попутно и для всех понятные.

Насколько я понимаю, Бейль был довольно равнодушен к архитектуре, и в этой области не имел собствен-

ных мнений. Кажется, я все-таки научил его отличать церковь романского стиля от готической и даже больше вглядываться и в ту и в другую. Но он порицал наши церкви за их мрачность.

Скульптуру Кановы он предпочитал всякой другой, даже греческим статуям, возможно, потому, что Канова и работал-то, собственно говоря, для литераторов. Его гораздо больше интересовали идеи, которые его скульптура могла вызвать в уме людей образованных, чем то впечатление, которое она производила на человека любящего и понимающего форму.

Поэзия была для Бейля закрытой книгой. Цитируя французские стихи, он нередко их калечил. Он понятия не имел ни о метрике, ни об ударениях английского и итальянского стиха, однако живо чувствовал некоторые красоты Шекспира и Данте, тесно связанные со стихотворной формой. В своей книге *О любви* он вынес поэзии окончательный приговор: «Стихи были изобретены, чтобы помочь памяти; сохранять их в драматическом искусстве—это остаток варварства». Особенно он не любил Расина. В 1820 году мы все развенчивали Расина, видя главный его порок в том, что он не считается с нравами изображаемой эпохи или, как мы тогда выражались на нашем романтическом жаргоне, с местным колоритом (хотя Шекспир, которого мы ему противопоставляли, совершал в этом смысле ошибки еще в сто раз более грубые, о коих мы, понятно, умалчивали). «Но Шекспир,— говорил Бейль,— лучше знал человеческое сердце. Нет такой страсти, нет такого чувства, которое он не изобразил бы с удивительной правдивостью. Жизненность, полнокровность его персонажей ставит его неизмеримо выше всех других драматических авторов».— «А Мольер?» — спросил кто-то.— «Мольер был подлиза, не посмеявшийся вывести на сцену придворного, потому что Людовику XIV это бы не понравилось».

Для практической жизни у Бейля имелся набор общих правил, которым, говорил он, надо неуклонно следовать, раз уж ты признал их удобными, и не вдаваться в рассуждения. Он с трудом допускал необходимость иной раз минутку подумать, подходит ли данный частный случай под одну из его общих теорий.

До тридцати лет он считал, что мужчина, оставшись

наедине с женщиной, непременно должен сделать попытку к сближению. «Это удастся,— говорил он,— один раз на десять. Но за эту одну удачу стоит претерпеть девять отпоров». Никогда не прощать лжи; никогда не раскаиваться; при вступлении в свет хватать на лету первый повод для ссоры — вот еще некоторые из его правил.

Он смеялся надо мной, видя, что я в двадцать лет изучаю греческий язык. «Вы на поле боя,— говорил он,— не время чистить ружье, надо стрелять».

В юности он, как и многие другие, страдал застенчивостью. Молодому человеку вообще трудно войти в гостиную. Ему кажется, что все на него смотрят, он боится в чем-нибудь изменить корректности. «Советую вам,— говорил мне Бейль,— входить с той же осанкой, какую вы случайно приняли в передней; прилична она случаю или нет, неважно. Будьте как статуя командора и меняйте манеру держать себя, только когда уляжется первое волнение».

А для дуэлей он предлагал такой рецепт: «Пока в вас целятся, смотрите на какое-нибудь дерево и считайте на нем листья».

Он любил хороший стол, но считал потерянным то время, которое уходит на еду; хорошо бы, мечтал он, проглотить утром пилюльку и на весь день отделаться от голода. Теперь люди предаются гурманству и еще хвалятся этим. Во времена Бейля мужчина больше всего хотел быть энергичным и мужественным; да и в самом деле, как воевать, если ты гастроном?

По общему мнению, полиция Империи проникала всюду, Фуше знал все, что говорилось. Бейль был убежден, что эта грандиозная шпионская сеть сохранила все свое тайное могущество. Поэтому он окружал бесконечными предосторожностями даже самые невинные свои поступки.

Свои письма он подписывал всегда каким-нибудь вымышленным именем: *Сезар Бомбе*, *Котоне* и т. п., помечал на них «*Абей*», как место отправления, взамен «*Чивита-Веккья*»* и часто начинал их фразами вроде

* Он был французским консулом в Чивита-Веккья. (Прим. автора.)

следующей: «Я получил присланный Вами шелк-сырец и сложил его пока на складе в ожидании погрузки». Все его друзья имели прозвища, и он никогда их иначе не называл. Никто не знал в точности, с кем он виделся, какие книги написал, какие совершал путешествия.

Я верю, что какой-нибудь критик XX века обнаружит книги Бейля среди литературного хлама XIX века и воздаст им справедливость, которой они не нашли у современников. Так было с Дидро, чья слава возросла лишь в нашем столетии. И точно так же Шекспир, забытый во времена Сент-Эврémonа, был вновь открыт Гарриком. Очень желательно, чтобы когда-нибудь были опубликованы письма Бейля; они помогли бы всем узнать и полюбить человека, чей блестящий ум и высокие душевные качества сейчас живы только в памяти немногих его друзей.

ОБ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



зучение испанской литературы представляет весьма ощутительные трудности, и это может показаться странным. Почти во всех государствах Европы писатели, которые пользовались славой у своих современников и чьи произведения оказали существенное влияние на общественный вкус, словом, писатели-классики, печатались и перепечатывались очень часто. Для того чтобы с ними познакомиться, достаточно иметь доступ в любую, даже второ-третьеразрядную библиотеку. Иное дело в Испании. Там многие произведения шестнадцатого и семнадцатого века, принадлежащие перу самых знаменитых писателей, сейчас оказываются книгами настолько редкими, что даже ученым трудно с ними ознакомиться. Более того: чтобы хотя бы видеть их, надо побывать во всех европейских столицах. Действительно, из-за инквизиции, из-за гражданских и внешних войн, из-за деятельности путешественников-библиофилов испанские редкие книги в самой Испании встречаются реже, чем где бы то ни было в другом месте. В наши дни библиотека Дон Кихота представляла бы для своего владельца настоящее богатство и любители платили бы дороже, чем на вес золота, за те самые рыцарские романы, которые священник и цирюльник так беспощадно отдавали в полное распоряжение «сеньоры ключницы». Может быть, вы пожелали бы прочесть единственный из этих романов, над которым смилостивились суровые судьбы, — *Tirante el Blan-*

со *, являющийся, по выражению Сервантеса, «сокровищницей наслаждений и залежами утех»? Вам придется поехать в Лондон, где находится единственный известный библиофилам экземпляр, некогда разысканный лордом Гренвилем и завещанный им вместе со всей его великолепной библиотекой Британскому музею. Некоторые произведения самого Сервантеса отнюдь не менее редки. Полного собрания его пьес не существует, некоторые его комедии вообще никогда не были напечатаны. То же можно сказать о Кальдероне и Лопе де Вега, и весьма вероятно, что довольно значительное количество произведений как рукописных, так и печатных, о которых с похвалой отзывались литераторы прошлого столетия, сейчас бесследно исчезли.

От историка испанской литературы требуется не только большая ученость, способность здравого суждения и беспредельное терпение, но также известная космополитическая независимость вкуса, которую при изучении того или иного произведения не покоробят новизна и даже странность формы. Нужно, если можно так выразиться, на время освободиться от национальных навыков, преодолеть рутину привычного и как бы стать уроженцем изучаемой страны. Нам, французам, не без основания бросают упрек в том, что мы судим об иностранных писателях, исходя из своих французских представлений. Мы требуем от них, чтобы они применялись к нашим склонностям и даже к нашим предрассудкам. Говорят, что через две недели после взятия Рима некоторые наши солдаты удивлялись, как это римские жители до сих пор не научились по-французски. Мы все в какой-то мере эти солдаты: нам нелегко стать на новую точку зрения и понять общество, несходное с нашим. Англичанину по воспитанию, путешественнику, эрудиту и библиофилу, г-ну Тикнору было легче, чем кому бы то ни было другому, привыкнуть к свободной повадке испанских писателей, и Шекспир должен был помочь ему насладиться творчеством Лопе де Вега. Наконец, в качестве гражданина Соединенных Штатов он имеет перед критиками старой Европы одно преимущество: возможность заниматься литературными вопросами, не

* Тирант Белый (исп.).

примешивая к ним воспоминаний о национальных раздорах. Тридцать пять лет мира еще не изгладили всех предрассудков патриотизма, «несмотря ни на что», и сейчас есть еще немало людей, пользующихся, впрочем, полным моим уважением, которые, говоря о Шекспире, все время думают о битве при Ватерлоо.

Нетрудно убедиться, что автор *Истории испанской литературы* проделал огромные изыскания, что он глубоко и добросовестно изучил кастильский язык и творчество испанских писателей. Мало того: хорошо ознакомившись с их произведениями, он пожелал узнать и суждения, высказанные о них его предшественниками — англичанами, немцами и французами. Г-н Тикнор прочитал все: испанских писателей, комментаторов, критиков; боюсь, не слишком ли много он вообще читал. Желая все знать и боясь что-либо упустить, он рискует утомить внимание читателя, когда говорит ему о вещах, не слишком достойных этого внимания. На мой взгляд, посредственные писатели во всех странах имеют много общего, и не у них надо искать характерные черты той или иной литературы. Так, я полагаю, что о семнадцатом веке во Франции можно составить себе достаточно полное представление, не прочитав Кампистрона. Г-н Тикнор стремится к величайшей точности, и порою начинаешь сетовать на то, что он больше старается прибавить новое имя к своему бесконечному списку авторов, чем основательно раскрыть творчество великих писателей, подлинных представителей испанского вкуса. Так поступал Дон Жуан: ради того, чтобы добавить к своему списку еще одну крестьянку, он забывал прелесть и добродетели доньи Эльвиры. В том и состоит порок эрудитов (разумеется, отнюдь не отвратительный порок Дон Жуана), что они увлекаются мелкими подробностями. Так как розыски этих подробностей были длительные и часто весьма трудны, они воображают, что читатель станет по их примеру заново заниматься тем же самым. Иногда следует иметь мужество не выставлять своего труда напоказ и делиться с читателем лишь достигнутыми результатами. В работе своей г-н Тикнор, конечно, уделил большое и достойное внимание великим гениям, прославившим Испанию. Но, окружив этих писателей чересчур

многочисленной свитой посредственностей, он умаляет и затушевывает их, так что в его книге отыскать Сервантеса и Лопе де Вега так же трудно, как обнаружить хорошую картину среди трех тысяч полотен, выставленных в Пале-Ройяле.

В своем предисловии автор сообщает, — впрочем, и без его добровольного признания об этом можно было догадаться, — что он читал публичные лекции по испанской литературе и что эти — переработанные — лекции превратились в книгу. К сожалению, этот способ изложения слишком уж бьет в глаза: отдельные главы — все одинаковой длины и порою мало связанные друг с другом — часто наводят на мысль о профессоре, вынужденном говорить своей аудитории в течение часа на определенную тему, независимо от того, нужно ли развивать эту тему или нет.

Происхождение литературы любого народа связано с труднейшими, но в высшей степени увлекательными проблемами. Я сожалею о том, что г-н Тикнор лишь вскользь говорит о начальном периоде испанской литературы. На первых страницах своей книги он рассматривает произведения, возникшие с конца двенадцатого века до первых годов шестнадцатого, как совершенно свободные от каких бы то ни было иностранных влияний. Эта точка зрения требовала бы очень основательных доводов, и, на мой взгляд, г-н Тикнор уж слишком легко на нее становится. Странно даже, что он и не заметил, насколько смелым является его хронологическое деление: ведь при более подробном обсуждении отдельных писателей он зачастую вынужден вносить в свою теорию весьма существенные поправки. Так, в *Хронике*, или *Заморском романе*, приписываемом королю Альфонсу X, он весьма справедливо обнаруживает более или менее измененные черты истории Гильома Тирского. Далее, рассматривая сборник прелестных маленьких рассказов под заглавием *El conde Lucanor* * — единственное напечатанное произведение инфанта дона Хуана Мануэля, он не может не заметить в нем подражания восточным сказкам. Я мог бы привести и другие при-

* Граф Луканор (исп.).

Кто читал историю стран Южной Европы или хотя бы бросил взгляд на карту Иберийского полуострова, тот скорее поверил бы априори в обратное тому, что утверждает г-н Тикнор о самобытном зарождении испанской литературы. Не говоря уже о непрерывном с восьмого века общении испанцев с арабами, нельзя же отрицать их связей с Южной Францией, страной, которая долгое время была цивилизованней всей остальной Европы. Более того, многие испанские провинции говорили и теперь еще говорят по-романски, а культура Прованса была общей для Арагона, Каталонии и Валенсийского королевства. Между тем у соседствующих друг с другом народов всегда бывает так, что более из них культурный оказывает значительное влияние на менее культурный, и потому следует допустить, что провансальская литература не могла не иметь воздействия на начальный период развития литературы испанской. Однако г-н Тикнор не принял этого во внимание, что особенно удивительно, поскольку в примечаниях своих он часто цитирует Ренуара и Форьеля, чьи работы во всяком случае должны были бы показать ему всю важность этого вопроса. О романском он говорит как о не имеющем значения областном наречии и уделяет лишь несколько страничек каталонским писателям, а между тем их немало, и некоторые пользуются заслуженным уважением. Анализ каталонской и валенсийской литератур в его книге эпизодичен, о лучших поэтах и историках этих областей он судит очень поверхностно. Правда, мимоходом он хвалит хронику Рамона Мутанера — этого Ксенофонта грозных Альмогаваров, покоривших Сицилию и Морею. Но говорит он о ней довольно холодно, и это наводит на мысль, что она известна ему лишь в бесцветном испанском переложении дона Франсиско де Монкада. Ни словом не упоминает он о Мигеле Карбонеле и его *Chroniques d'Espagne** — труде весьма важном и к тому же включающем в себя памятные записи арагонского короля Педро IV. Это упущение просто необъяснимо: каталонские писатели заслуживали, разумеется, большего внимания.

* Испанские хроники (каталонск.).

Небрежность, с которой г-н Тикнор отнесся к провансальской литературе, в известной мере объясняется примечательным различием между первыми литературными произведениями испанцев и их провансальских современников. Ничего общего с изысканной галантностью провансальцев не имеет дикий героизм, которым проникнуты самые древние стихотворные произведения, сложенные на кастильском наречии. В то время как провансальские дамы, судьи знаменитых трибуналов любви, выносили приговоры по таким тонким вопросам, как, например, следующий: *Utrum inter conjugatos amor possit habere locum* * — кастильская Химена, не героиня Корнеля или даже Гильена де Кастро, а Химена древнего романсеро, жалуется на то, что Сид убивает ее голубей, чтобы ей досадить, и грозитя обрезать подол ее платья так, как это хотела сделать принцесса Пфальцская какой-то немецкой авантюристке, осмелившейся появиться при Версальском дворе:

*Que mi corçerà mis faldas
Por vergonzoso lugar* **.

Я цитирую этот текст в надежде, что мои читательницы поймут его не больше, чем угрозу принцессы Пфальцской.

Г-н Форьель в своей *Истории провансальской поэзии* говорит, что поэзия эта культивировала все жанры и что уже в самую раннюю эпоху кастильцы подражали героическим поэмам Прованса, гораздо менее известным в наше время, но столь же прославленным в старину, как и любовные песни трубадуров. Он приводит самые неопровержимые доказательства. Но, установив этот факт, мы все-таки недоумеваем: почему же из всего разнообразия поэтических жанров, которые испанцам предлагал Прованс, они выбрали только один? Признаюсь, объяснение г-на Форьеля меня не вполне удовлетворяет. Исключительную склонность испанцев к поэзии военно-героической он связывает с воинственностью кастильцев, ко-

* Может ли иметь место любовь между супругами? (лат.)

В 1174 году графиня Шампанская вынесла по этому поводу отрицательное заключение. (Прим. автора.)

** Что он постыдно обрежет мне подол (исп.).

торым приходилось вести непрерывную борьбу с маврами. Г-н Тикнор, не признающий провансальского влияния, повторяет объяснение г-на Форьеля, никак его не комментируя, и, по-видимому, убежден в том, что народ-воин может иметь лишь суровую и грубую поэзию. Нет сомнения, *ricos omes* * Кастилии вели жизнь, полную опасностей, но что делали в то же самое время каталонцы и арагонцы, такие же утонченные, как и провансальцы? Был ли когда-нибудь король более воинственный, чем Яков Завоеватель? Этот государь, принимавший в своем королевстве трубадуров, со знанием дела судивший о любовной поэзии и даже, если верить преданию, сам слагавший стихи, отлично сумел изгнать мавров с Балеарских островов и из Валенсийского королевства. В Провансе и во время кровавого нашествия французских крестоносцев не смолкали песни. В конце-то концов разве нежная и меланхолическая поэзия может расцвести лишь в мирное время? Я сомневаюсь в том, что автор *Одиссеи* слагал свои божественные песни среди утех мирной жизни, а если говорить об эпохе нам лучше известной, то где найдешь поэзию более возвышенную и в некоторых отношениях более утонченную, чем в трагедиях Эсхила? Уж его-то жизнь отнюдь не протекала в тишине и досуге кабинета. Он сражался при Марафоне, при Саламине, при Платее, долгое время единственным домом его была галера, ложем — голая земля. Не думаю, чтобы это лишало его вдохновения.

Поэтому я полагаю, что особый характер ранней поэзии кастильцев зря приписывают исключительно их воинственности. И тогда и в течение еще очень долгого времени война была постоянным бичом Европы. Если не ошибаюсь, причину суровости кастильской поэзии, столь контрастирующей с изнеженной утонченностью их соседей, следует искать скорее в законах и учреждениях, характерных именно для кастильского народа. Впрочем, я вовсе не притязаю на то, чтобы давать здесь решение этого трудного вопроса; я вынужден ограничиться лишь указанием на досадное упущение автора, который специально занимался данным предметом и потому мог бы достаточно глубоко разработать вопрос.

* Богатые люди (*исп.*).

Не могу не указать на ту же поверхностность в суждении г-на Тикнора об испанских хроникерах. «Они,— говорит он,— не имеют соперников в содержательности, разнообразии, живописности и поэтичности. С ними ни в каком отношении нельзя сравнивать хроникеров, писавших на других европейских языках, даже португальцев, ненамного отстающих от них в своеобразии и древности материала, даже французских хроникеров, таких, как Жуанвиль и Фруасар, которые во многом другом заслуживают величайшего уважения... В их произведениях мы постоянно встречаем старинную испанскую верность, старинное испанское благочестие, выкованные в длительных испытаниях войн за национальное освобождение», и т. д. Не знаю, нужно ли придавать излишнее значение этим фразам, видимо, довольно случайно оброненным и не свидетельствующим о вполне ясно определившемся взгляде на вещи. Но столь решительное по форме суждение следовало обосновать; во всяком случае, оно заслуживало более обстоятельного разговора. Дело г-на Тикнора считать, что в «живописности и поэтичности» Фруасар уступает сухому и несмелому Айяле или же пресному хроникеру Альфонсо XI. Может быть, он зато расценивает Фруасара как историка весьма беспристрастного и точного. Пусть так. В живописи и поэзии вкусы могут быть различны, спорить о них бесполезно. Но хотел бы я знать, где у хроникеров четырнадцатого столетия усмотрел г-н Тикнор испанскую верность и благочестие? Считает ли он носителями этих добродетелей инфантов и крупных сеньоров, непрерывно затевавших мятежи против короля Альфонсо? Или, быть может, Педро и его незаконнорожденных братьев, соперничавших во всевозможных преступлениях, вероломстве, убийствах? Или *ricos omes*—их вассалов, которые меняют отечество, «отрекаются от природы своей», по выражению хроникеров, в зависимости от личной выгоды, изменяют сюзеренам, предают союзников и становятся по очереди то покэрными рабами, то безжалостными тиранами? Пусть г-н Тикнор перечитает Айялу,— вероятно, он сам найдет, что людям того времени не хватало лишь образованности и таланта, чтобы потягаться в злодействе даже с Цезарем Борджа.

Г-н Тикнор еще и по другому поводу возвращается

к этому благочестию и верности, то есть преданности монарху, которые, по его мнению, являются отличительными чертами испанского характера. «Не следует,— говорит он,— усматривать причину нетерпимости и фанатизма кастильцев в инквизиции, так же как и причину деспотизма испанского правительства — в махинациях развращенного двора. Напротив, инквизиция и деспотизм явились скорее следствием роковой чрезмерности религиозного пыла и монархических чувств». Вот еще одно утверждение, которое можно было бы оставить на совести людей, воображающих, будто все испанцы носят пышные сетки для волос и брыжи. Не стоит его опровергать. Исторически пресловутая верность или почитание государя несмотря ни на что замечаются в Испании лишь к концу царствования Карла V. После кровавого подавления мятежа *комунерос* Карл V и Филипп II соизволили заняться воспитанием своего народа. Что же касается религиозного пыла, то он начинает проявляться лишь после учреждения инквизиции при Изабелле Католической. До того нетерпимость испанцев решительно ни в чем не обнаруживается. Если даже не восходить к царствованию того арагонского короля, который оказывал помощь еретикам-альбигойцам, то и долгое время спустя, в четырнадцатом веке и даже в начале пятнадцатого, три религии, господствовавшие на полуострове, существовали безо всяких раздоров между собой. Кастильские короли назначали евреев своими казначеями и врачами, а мавров — инженерами и архитекторами. Никто не отказывал богатому еврею или мусульманскому эмиру в праве именоваться *доном*. Я нигде не обнаруживаю и следа каких бы то ни было преследований, разве что когда штурмом брались города и победители грабили предпочтительно еврейские кварталы, но позволено усомниться в том, что фанатизма тут было хотя бы столько же, сколько жадности. Однако если инквизиция не являлась крайним выражением испанского католицизма, как понять, что народ, столь гордый и великодушный, подчинился игу, совершенно чуждому его натуре? Объяснение этой исторической загадки можно, мне кажется, найти в глубочайшей враждебности, которую испанцы с незапамятных времен испытывают к чужестранцам. В их глазах евреи и мавры всегда были чужаками.

ми, хотя зачастую они говорили на том же языке, что и христиане, а религия их представлялась гнусной главным образом потому, что она была как бы знаком их происхождения. Победив мавров, испанцы с яростью обнаружили, что если они и восторжествовали над своими врагами, те сохраняли над ними существенное превосходство благодаря своему богатству. И надо отметить, что, на взгляд народа, богатство это было всего-навсего добычей, которую в свое время эти враги взяли у него же и которую они сохранили, несмотря на свое поражение. Мавров обогащало сельское хозяйство и ремесла, евреев — торговля, христиане же дрались между собой и разорялись. После ужасающей анархии, предшествовавшей царствованию Изабеллы, большая часть кастильского дворянства впала в нищету. Многие распродали свои земли, чтобы приобрести вооружение и коня, а мавры тем временем, бесстрастно взирая на распри крупных феодалов, накапливали имущество, но при этом отнюдь не роскошествовали, как высокородные христиане. Этого было вполне достаточно, чтобы их стали ненавидеть. Их обвиняли в ростовщичестве, и, вероятно, не без некоторых оснований: все видели, что они благоденствуют среди всеобщей нужды; в глазах народа они и стали всеобщим врагом. Заметим, что испанцы во все времена проявляли к чужестранцам презрение или ревнивое чувство. Они были так глубоко убеждены в своем национальном превосходстве, что, заметив в иноплеменнике хоть какое-то преимущество, быстро переходили от зависти к ненависти, в особенности если иноплеменник находился в непрерывном общении с ними. А так обстояло дело с маврами и евреями. В момент, когда национальная ненависть христиан тем более накалилась, что унижение гранадского королевства делало его неспособным к сопротивлению и воевать было не с кем, недостойные служители церкви воспользовались благочестием Изабеллы, и начались гонения. Это было как бы выходом для ненависти народа. Ей давали повод свирепствовать над врагами, которых нельзя было спровоцировать на безнадежную для них войну. Мы, французы, знаем лучше кого бы то ни было, до каких крайностей может прийти великодушный народ, когда государство потакает его дурным страстям. С евреев и мавров преследования перешли на ново-

обращенных, а затем и на самих христиан. Религиозные распри в Европе, честолюбие Карла V, стремление к завоеваниям и слава, которую он дарил своим народам взамен их вольностей, укрепили инквизицию, ставшую необыкновенно действенным орудием его политики. При Карле V и Филиппе II деспотизм и фанатизм настолько развились, что понадобились века для того, чтобы нация забыла те принципы, которые вбивали в нее эти грозные повелители.

Прошу прощения за столь длинные исторические рассуждения по поводу труда чисто литературного, но мне кажется, что необходимо знать жизнь народа, чтобы должным образом оценить свойственный ему образ мыслей и способ их выражения. По-моему, г-н Тикнор не изучил достаточно основательно историю Испании, а, на мой взгляд, такое изучение придало бы его книге связность и метод, которых ей отчасти не хватает.

С учреждением инквизиции или уничтожением свободы мыслей более или менее совпадает начало итальянского влияния на искусство и литературу Испании. Как и отметил г-н Тикнор, оно явилось следствием неоспоримого в то время превосходства итальянцев, однако ему сначала не удалось сколько-нибудь заметно отразиться на литературе. По меньшей мере две литературные отрасли — роман и театр — сохранили и при этом итальянском завоевании достаточное своеобразие.

Сейчас трудно решить, обязаны ли испанцы своим повествовательным даром арабам или же наделены им от природы. Впрочем, никто и не оспаривает славы Сервантеса, написавшего самый остроумный и занимательный в мире роман. Г-н Тикнор отдает должное этому несравненному писателю, создавшему среди самых жестоких жизненных испытаний, быть может, наиболее жизнерадостное из литературных произведений. *Дон Кихота* перевели на все языки, одни комментарии к нему составили бы целую библиотеку. Я лично очень благодарен г-ну Тикнору за то, что он отбросил все глубокие и тонкие размышления, появившиеся у многих ученых критиков по поводу *Дон Кихота*. Оставим за важными немецкими профессорами заслугу открытия, что ламанчский рыцарь

олицетворяет поэзию, а его оруженосец — житейскую прозу. Они охотно сказали бы Сервантесу, как ученые женщины Трисотену:

Когда вы «так и сяк» прелестное писали,
Все действие его могли вы знать едва ли...
Вам ясно ль было все, что скажет нам оно,
Все остроумие, каким оно полно?

Комментатор уж всегда отыщет в произведениях гениального писателя невесть сколько благих намерений, каких у того вовсе и не было. Но я полагаю, что по отношению к *Дон Кихоту* вернее всего будет, следуя г-ну Тикнору, придерживаться общепринятого мнения и свидетельств самого Сервантеса. Цель его заключалась в том, чтобы высмеять рыцарские романы и тем самым повести борьбу с распространившимся в то время необычайным увлечением ими. *Дон Кихот* явился протестом умного и здравомыслящего человека против безумия, которому поддались его современники. Мания рыцарских романов охватила все слои общества. Нижеследующий анекдот, заимствованный мною у г-на Тикнора, дает представление о вкусе читающей публики до того, как он был исправлен Сервантесом.

Некий дворянин, вернувшись домой с охоты, обнаруживает, что у его жены, дочери и состоящих при них девиц (*doncellas*) заплаканные глаза и искаженные горем лица. «Какая тут у вас случилась беда?» — спрашивает он в испуге. «Ничего не случилось». А слезы льются рекой. «Но о чем же вы все-таки плачете?» «Увы! Амадис умер!» Многие серьезные авторы, как светские, так и духовные, утверждают, что в конце шестнадцатого века ничего другого вообще не читали, и многие люди, притом вовсе уж не такие сумасбродные, верили в чудесные приключения рыцарей Круглого стола гораздо тверже, чем самым почтенным историческим свидетельствам. Наконец, в 1555 году кортесы сочли уместным заняться этим духовным развратом, как опасной для страны эпидемией, и требовали — однако тщетно, — чтобы рыцарские романы отовсюду изымались и предавались сожжению. Понятно, что за общим поветрием должна была последовать реакция, и Сервантесу выпала на долю честь возбудить ее. Во всем этом нет ничего удивительного для нас, французов девятнадцатого века. Вспомним, какой ка-

мень свалился с нашей души, когда *Журналь де Деба* оповестил нас, что Монте-Кристо, здоровый и невредимый, высвободился из своего мешка. И разве мы не слышали каждодневно, что дамы, нарушающие статью 212 Гражданского уложения, вовлекаются в это чтением романов? Наконец, разве Национальное собрание не издало в свое время декрет — не о том, правда, чтобы сжигать фельетоны (это запрещено Конституцией), а о том, что они будут стоить издателям на один сантим марочного сбора больше? Для того, чтобы сходство было полным, нашей эпохе не хватает только Сервантеса. В Испании он произвел радикальное лечение. С 1605 года, когда вышло первое издание *Дон Кихота*, ни один рыцарский роман не увидел света, а те, которыми до того так наслаждалась публика, пошли к бакалейщику на оберточную бумагу или крысам на съедение. Роман предшествовал в Испании драме и, так сказать, ввел ее в общественные нравы. Г-н Тикнор очень интересно рассказал нам о происхождении и первых опытах испанского театра, которые, по его мнению, восходят к самым старинным пасторалям или романам в диалогах. Развитие театра пошло очень быстро. Меньше чем через столетие после того, как Лопе де Руэда «по селам проходил в безумии счастливым», везя на телеге свою труппу и декорации, в Испании уже было триста трупп комедиантов. В одном Мадриде их насчитывалось больше двадцати с тысячью актеров. Незначительные города и даже местечки имели свои театры.

Восторженно принятая публикой, драма одно время должна была выдерживать борьбу с церковью. Но — и одного этого достаточно, чтобы доказать, насколько г-н Тикнор, как мною уже было отмечено, преувеличивает влияние королей и церкви на общественные нравы, — инквизиция, поддержанная королем-деспотом и достаточно могущественная, чтобы изгнать шестьсот тысяч морисков, потому что она являлась в данном случае выразительницей фанатического патриотизма, — инквизиция не смогла подавить любви народа к театру. В этой борьбе она потерпела позорную неудачу. Духовные лица стали писать для сцены, актеры фигурировали в религиозных торжествах, а в монастырях ставились спектакли. В пьесах выступали святые, дева Мария и даже сам гос-

подь бог. Правда, в конечном счете религия или, вернее, могущество духовенства ничего не проиграло. Несколько строк из г-жи д'Онуа покажут нам, как обстояло с театром и с религией в Испании в 1679 году. «Разыгрывалась,— говорит она,— *Жизнь святого Антония* (в Виттории). Я заметила, что черт одет, как и все прочие, опознать его можно было только по чулкам огненного цвета и паре рогов на лбу. Когда св. Антоний произносил свой *Confiteor* — а делал он это довольно часто,— все зрители становились на колени и наносили себе такие жестокие *tea culpra**, что ими можно было повредить желудок».

История испанского театра являет немалое сходство с историей театра греческого. В Испании, как и в Греции, драма была обязательным дополнением к религиозным празднествам. Лопе де Руэда, подобно Феспиду, был одновременно и драматургом и бродячим актером. Представление сопровождалось танцами и пением или, во всяком случае, мелодекламацией. Наконец, необычайная плодовитость испанских драматургов сближает их с греческими трагиками и комедиографами. Чтобы еще углубить это сравнение, я добавлю, что испанский театр хотя в общем резко отличался своей поэтикой от греческого, в одном отношении все же на него походил: он не считал целью искусства подражание природе и вместо того, чтобы создавать у зрителей иллюзию действительности, переносил их в какой-то идеальный мир.

Г-н Тикнор верно определил характер испанского театра и обычные пружины действия в его пьесах как романтические, но я хотел бы, чтобы он нам объяснил, почему народ, чьи романы так правдиво изображают его национальный характер и нравы, в драмах своих создает лишь фантастические образы. В то время как романисты, точные и зачастую глубокие наблюдатели, успешно воспроизводили распространенные в действительности человеческие характеры и пороки, драматические поэты создавали лишь условные образы, следуя всегда определенным, неизменным правилам, допускавшим только определенные героические страсти, всегда отливавшиеся в одну и ту же форму. За редчайшими исключениями, вро-

* Мой грех (лат.). Здесь имеются в виду удары кулаком, сопровождаемые указанными словами.

де Собаки на сене Лопе де Вега и Саламейского алькальда Кальдерона, где есть удивительно глубоко изученные характеры, в испанских драмах неизменно выступают одни и те же персонажи: ревнивые любовники и отцы, необыкновенно щепетильные насчет чести своих дочерей. В сущности, единственные страсти, с которыми имеет дело испанский театр,— это ревность и защита чести. Интрига благодаря неиссякаемой выдумке писателей меняется, но основа остается неизменной. Здесь все то же пристрастие к героическому жанру, которое мы наблюдали у истоков испанской поэзии, но теперь-то уж объяснения нельзя искать в непрерывных войнах.

Задержимся на минуту, чтобы поговорить о стиле испанских драм, еще более странном, чем их содержание. Я беру примеры из наиболее прославленных авторов, как, например, Лопе и Кальдерон, создавших целую школу. Нет ничего более противоположного нашим французским воззрениям. Для нас драматургический стиль должен

Из правды исходить характеров и жизни.

Но вот несколько примеров из испанской драматургии. Молодой человек хочет сказать слугам, чтобы они не мешали ему читать в тени и позвали, когда наступит обеденное время. Выражается он при этом так: «Придите сюда за мной, когда заходящее солнце опустится из темных туч в волны, которые являются серебряной гробницей для этого золотого трупа». В этой же пьесе человек, потерпевший кораблекрушение, называет себя в обычном разговоре «развалиной без пыли». В другом месте некая девица, похищенная, чтобы не сказать больше, восклицает, возвращаясь в отцовский дом: «Как покажусь я отцу, для которого не было иного счастья, иной радости, как глядеться в прозрачную луну моей невинности? Ведь теперь мою погибшую честь затмило ужасное пятно». Во Франции, разумеется, любой судья рассмеялся бы в лицо девице, которая стала бы в таком стиле жаловаться на грубого насильника. Но, кажется, в начале семнадцатого века такие монологи нравились мадридской публике.

Заметим все же, что этот странный язык, именуемый испанцами стилем *culto*, не является исключительной

особенностью их драматических поэтов. Шекспир, которого всегда и с полным основанием цитируют как величайшего художника природы, в этом отношении им не уступает. Так, Джульетта у него говорит: «Я хотела бы пробить пещеру, где живет Эхо, чтобы ее воздушное горло охрипло еще больше, чем мое от повторения имени Ромео». А Макбет, обдумывая убийство Дункана, сожалеет, что у него нет «шпор, которые можно было бы вонзить в бока его замысла». Стиль *culto* — стиль весьма древний. Немало примеров его можно найти у греков, особенно у Эсхила. Самых храбрых персидских военачальников он называет «наковальнями копий», а один вестник у него, рассказывая о смерти некоего сатрапа, заканчивает свой рассказ так: «Изменив цвет своей бороды, он окрасил ее в пурпур». Я нарочно нагромождаю примеры, чтобы показать, как величайшие писатели сошлись на одном пути и как они вполне обдуманно искали выражений, наивозможно дальше отстоящих от естественности. Следует ли упрекнуть за дурной вкус их самих или их время, и не вернее ли будет предположить, что тогда от пьесы требовали совсем не того наслаждения, которого ищут теперь? Мне больше нравится именно это второе предположение, ибо я не могу убедить себя в том, что зрители Кальдерона, Шекспира или Эсхила были менее требовательны по части вкуса, чем мы. В наши дни, как мне кажется, система разделения труда, сделавшая чудеса в области промышленности, к театру была применена довольно-таки неудачно. Некогда публика умела вкушать два наслаждения сразу: увлекаться драматическим действием, оценивая в то же время и красоты стиля, и я даже думаю, что главное удовольствие доставлял способ поэтического выражения. В то время от театра еще не требовали иллюзии, да и как можно было создать ее, когда на сцене почти не было декораций, а по краям она была заставлена скамьями, на которых маячили парики придворных и модников?

Двойное удовольствие, которое получаешь, слушая оперу *Don Giovanni**, может, я думаю, дать некоторое представление о чувстве, которое вызывала драма у зрителей семнадцатого века. Поэма *Don Giovanni* сама по

* Дон Жуан (итал.).

себе не без достоинств, но нам не это важно. Она лишь предлог или, если угодно, программа для музыки. Когда Рубини или Марио пели *Il mio tesoro* *, мы наслаждались и драматической ситуацией и прелестной мелодией. Представим же себе теперь народ с тонким поэтическим восприятием: для него стихи в драме — то же, что для нас музыка в опере. Не следует забывать, что языки южных народов Европы, звучные, сильно акцентированные, богатые живописными выражениями, очаровывают самым звучанием слов и зачастую им удается затушевать этой музыкой бедность мысли. Иное дело — у нас. Глухое звучание, слабость акцентировки, единообразное строение фразы, строгость грамматических правил, а главное — французская привычка рассуждать и оценивать вместо того, чтобы чувствовать, — вот огромные препятствия, которые приходится преодолевать нашим поэтам. Когда им это удастся, усилия их никем не могут быть оценены, кроме их собратьев, если только не помешают соперничество литературных группировок и просто зависть. Я не намереваюсь реабилитировать стиль *culto*, я только стремлюсь объяснить его. Я полагаю, что он был чистой формой, которую могли оценить более тонкие ценители, чем мы. Поэзия меняет свои формы каждое столетие, и я задумываюсь над тем, как будет судить потомство о том нагромождении зрительных образов, которое принято в современном литературном стиле. Может быть, через столетие этому стилю дадут какое-нибудь насмешливое прозвище, вроде того, какое давали стихам Лопе де Вега, и тогдашние критики скажут: *Sed nunc non erat his locus* **. Современный вкус к реализму и сценической иллюзии имеют тенденцию изгнать из драмы стих. Не знаю, нужно ли об этом жалеть, но боюсь, как бы такой переворот, чреватый, по-моему, опасностями, не оказался для литературы пагубным. Стремясь все время к естественности, мы в конце концов можем остаться при своего рода пантомиме без развивающегося действия, где вся слава будет принадлежать актерам и машинистам сцены. Ведь этим, говорят, кончил и античный театр.

* Мое сокровище (итал.).

** Но теперь ему нет места (лат.).

Удовольствие поговорить о стране и языке, которые я так люблю, часто выводило меня за рамки моей темы. Напоследок должен сознаться, что боюсь, не оказался ли я чрезмерно строг к г-ну Тикнору; может быть, я требовал от него совсем другого труда вместо того, который он хотел написать. Историю ведь можно писать по-разному. Г-н Тикнор старался прежде всего не упустить из вида ни одного факта, ни одного имени. Сознательно ли он ограничивал себя или допустил просчет, но в его книге не нужно искать определенной точки зрения, широкого обзора, оригинальных суждений, а еще меньше — сравнительного литературного анализа. Зато это отличный словарь, книга, которую в высшей степени полезно иметь у себя в библиотеке. В ней содержатся превосходные биографические заметки об испанских писателях и обстоятельные изложения произведений, которые зачастую дают возможность не обращаться к оригиналам. Не надо забывать и довольно пространных переводов, которые г-н Тикнор с большим вкусом сделал для того, чтобы дать представление о стиле некоторых испанских поэтов. Благодаря гибкости английского языка и таланту, с каким автор им пользуется, переводы эти отличаются большой точностью и изяществом. Ритм, движение, гибкость подлинника воспроизведены столь же точно, сколь и удачно.

АРМАН МАРАСТ — ВЕЛИКИЙ ЖУРНАЛИСТ ИЛИ ВЕЛИКИЙ ИГРОК В ДОМИНО



марта 1852 года станет знаменательным днем для старой партии консерваторов: сегодня похоронили Армана Мараста, одного из наиболее молодых и неукротимых ее противников.

Его, Армана Мараста, самого язвительного из памфлетистов последнего царствования, самого умного из февральских победителей, накануне февральской победы напевавшего с завидным легкомыслием *Ça ira**, а на другой день в городской ратуше чуть слышно подтягивавшего *Марсельезу*, его, крайне умеренного в Учредительном собрании, которое он позже возглавил как элегантный дилетант от демократии во вкусе Лафайета, как истинный республиканский маркиз,— его похоронили без всякой помпы и даже без уличных беспорядков, без речей, так как город на осадном положении и полон полицейских.

Г-н Ламартин, обладающий даром импровизации, опубликовал в разных газетах вместо надгробной речи свой спич, который у него попросили личные друзья покойного, а возможно, и его политические друзья, теперь разобщенные. Г-н Ламартин так же мужественно защищал память своего собрата по Временному прави-

* Пойдет! (франц.)

тельству, как в 1848 году он защитил его самого во время волнений в городской ратуше.

Статья г-на Ламартина содержит, помимо обычной приличествующей случаю фразеологии, немало верных мыслей и удачных оборотов, которые оттеняют гладкую вялость чувств и темперамента, являющуюся одновременно и слабостью и достоинством этого поэта и в то же время государственного деятеля.

Смысл изократовского красноречия Ламартина сводится, однако, к утверждению, что человек, в течение пятнадцати лет поносивший все и вся, был только шалуном и притом далеко не всегда злым. Мой язвительный друг Шэ д'Эст-Анж однажды уже указал на эту излюбленную роль Мараста, обращаясь к нему перед лицом суда присяжных, куда председателю Учредительного собрания пришлось спуститься со своего Капитолия. Известно, что, прибегнув к клевете, Мараст выиграл процесс, но он проиграл его в общественном мнении.

Кто не помнит прекрасных слов Бюфона: «Охота — прообраз войны, вот почему она услаждает королей»!

Игра в домино — прообраз и школа мелкой политики, политики кофейных и газет, вот почему Арман Мараст, провинциальный учитель, с первых же шагов своей полемической деятельности в Париже показал себя великим журналистом и великим игроком в домино. Его превосходство проявилось одновременно и в той и в другой области. Живость ума помогала ему наносить и тут и там меткие удары.

Арман Мараст своим примером, который благодаря февральским дням вошел в историю, подтверждает ту истину, что если у игрока в домино злой язык, то он все же может сойти за доброго малого. Таким и слыл Мараст, главнокомандующий на обоих полях сражений. Преследуемый республиканец, он очернил большинство людей своего времени; неожиданный победитель 48-го года, он, нужно отдать ему справедливость, проявил умеренность, редкую по сравнению с другими триумфаторами. Вы можете, конечно, теперь мне сказать, что люди, у которых есть свои пристрастия, — ну хотя бы пристрастие к домино, — настолько бывают увлечены, что это часто мешает им быть злыми. Злость отвлекала бы их,

и они, чего доброго, забывали бы поставить очередной дубль-шесть.

Покладистость и гибкость, проявленные Марастом на посту председателя Учредительного собрания, еще недостаточно оценены. Ему, несомненно, помогли педагогические навыки; школьная линейка подготовила его к председательскому звонку. Все были благодарны Марасту, старому трибуну радикального лагеря, за его примирительную позицию. Беспринципный, но и незлопамятный, он, чтобы обеспечить себе пост председателя, опирался на все фракции Собрания. Его выбирали как наименьшее из двух зол. Второстепенные деятели всех партий выдвигали Мараста на первое место.

Дорогу к председательскому креслу прокладывали ему даже голоса его старых политических врагов. Я не знаю, каким образом Мараст добивался поддержки со стороны бывших жертв своей клеветы и их многочисленных единомышленников, ставших впоследствии его собратьями, но у него были все основания поблагодарить их на манер дикаря Кревкера: «Мы друг другу не чужие: я хорошо знал вашего отца (или вашего дядю) — я его когда-то съел».

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

*«Записки русского охотника», сочинение
Ивана Тургенева*



известно, что путешественники, обычно общительные и словоохотливые в дилижансах, становятся молчаливыми и замкнутыми, как только садятся в поезд. Не пытаюсь выяснить причину этого явления, я ограничусь лишь тем, что укажу на одно из его последствий. В наше время возникла особая литература, предназначенная для людей, которые, подобно Жокрису, «не любят знакомиться с теми, с кем они незнакомы». *Записки русского дворянина* представляются мне удачным пополнением этой железнодорожной библиотеки; жаль только, что книга, которую будут читать в еще весьма тряском вагоне, не напечатана более четким и крупным шрифтом. Прекрасные издания XVI и XVII веков, их плотную, желтоватую бумагу, ясные и простые буквы уже не возродишь! Цивилизация и прогресс имеют, очевидно, свои таинственные законы развития; приходится мириться с известными неудобствами ради больших преимуществ. Но как ни плохо изданы *Записки русского дворянина*, они будут прочитаны с удовольствием не только в дилижансе, но и в замках, где скоро начнется летний сезон. Это произведение интересное, поучительное, хотя и без претензий, значительное, несмотря на свой небольшой объем.

По-русски книга называется *Записки охотника*. Мне не совсем понятно, почему переводчик счел нужным изменить это скромное название; возможно, он боялся ввести в заблуждение господ спортсменов, которые могли бы ожидать, что здесь они найдут сведения о медведях или о рябчиках. Судя по всему, автор, Иван Тургенев, совсем не Немврод, и, откровенно говоря, это несколько не уронило его в моих глазах. Для него охота — это лишь повод поговорить о разных вещах, быть может, даже своего рода маскарадный костюм, в котором ему удобнее наблюдать жизнь страны, где терпят только правительственных наблюдателей. Итак, г-н Тургенев в одежде охотника идет от села к селу в поисках дичи, которая, впрочем, мало его интересует, по дороге встречает людей разных классов, разных по своему характеру, с интересом расспрашивает их, описывает их привычки, поступки, схватывает кое-какие черты из их жизни и продолжает свой путь, предоставляя читателю комментировать и делать выводы. Двадцать два рассказа этой небольшой книжки друг с другом никак не связаны, их соединяет лишь единство зачина, который, по правде говоря, отличается некоторым однообразием. «Я охотился, — говорит автор, — тогда-то и там-то». Затем следует прекрасное описание русской природы — она не лишена самобытности, но в ней все же иногда чувствуется бедность и однообразие северного пейзажа. Наконец появляется персонаж и начинается действие. Эти двадцать две небольшие жанровые картинки, одинаково обрамленные, очень различны по композиции и по тону, но все они тщательно выписаны, иногда даже с излишней дотошностью, и в целом, как утверждают, дают достаточно точное представление об общественной жизни России.

Вопреки обычаю большинства путешественников, рассказывающих лишь о высшем обществе, наш охотник интересуется преимущественно народной жизнью, главным образом жизнью крестьян, мало изученной во всех странах, но особенно, пожалуй, в России. Невольно возникает вопрос: смог ли автор, принадлежащий к знати, увидеть истинное положение вещей? Прочитав книгу г-на Тургенева, можно смело утверждать, что ему не свойственны ни праздное любопытство, ни филантропия. Это

добросовестный и честный наблюдатель, который ищет и находит правду. Он увлекается подробностями, умеет улавливать малейшие движения человеческого сердца и рассказывать о них умно и проникновенно, как это делал Стерн в своем *Сентиментальном путешествии*, видимо, послужившем г-ну Тургеневу не столько образцом, сколько, точнее и вернее сказать, удачно найденным источником вдохновения. Благородный патриотизм не мешает г-ну Тургеневу замечать недостатки и пороки установлений своей страны. Он не выискивает дурного, страдает, когда с ним сталкивается, но когда он с душевной болью все же бывает вынужден изобличать его, то говорит о нем откровенно и смело. Рассказывая о крестьянах, он не может не затронуть крепостного права, а это вопрос, которого касаются в России всегда с осторожностью. Г-н Тургенев не срывает завесу, он лишь целомудренно приподнимает ее, предоставляя читателю самому догадываться о том, о чем автору нелегко говорить.

Несмотря на недомолвки и эвфемизмы, к которым подчас прибегает г-н Тургенев, нельзя не оценить смелость честного человека, пронизывающую всю книгу. Читая ее, я испытывал такое же удивление, как при чтении других произведений русских писателей, где о государственных учреждениях говорится еще более дерзко. Таков роман Гоголя *Мертвые души* и его комедия *Ревизор*.

Г-н Тургенев избегает говорить о том ужасном и трагическом, что связано с крепостным правом, и все же в его книге немало сцен, от которых сжимается сердце, например, описание столь часто встречающегося в России контраста между самой изысканной западной цивилизацией и дикими варварскими обычаями. Я хочу обратить внимание читателей на рассказ *Бурмистр* — так обычно называют управляющих крепостными в имении. Нет необходимости пояснять, что *бурмистры* не имеют ничего общего с почтенными *бургомистрами* Германии, — это слово русские переняли и исказили. Господин этого *бурмистра* — молодой щеголь, проводящий лето в своем поместье. Он путешествовал по всей Европе, владеет многими языками, он вывез из Европы всевозможные предметы роскоши. Дом поставлен на широкую ногу

и сделал бы честь любому английскому лорду. Стол великолепен, слуги вышколены, но во всем чувствуется какая-то принужденность, натянутость, вызывающая смутное беспокойство. Идеальный порядок в доме поддерживается способом, тайна которого вскоре раскрывается. Господин завтракает, оживленно беседуя с гостем, наливает себе стакан бордо и вдруг замечает, что температура вина на несколько градусов ниже, чем того требует Брийя-Саварен. «Что это такое?» — спокойно, не повышая голоса, спрашивает он камердинера. Слуга, уличенный в небрежности, молча теребит салфетку. Молодой дворянин звонит, появляется пренеприятный верзила — экзекутор этого милого помещичьего дома. «Ступай», — небрежно и холодно говорит хозяин провинившемуся слуге. Беднягу уводят и секут розгами подалее от дома, чтобы его крики не беспокоили благородных гостей хозяина. Г-н Тургенев мог бы добавить, что в городах порка слуг происходит еще учтивее. Молодая дама приказывает не угодившему ей слуге отнести надушенную записочку к комиссару полиции: «Княгиня * просит господина комиссара наказать подавателя сего». Новоявленный Беллерофонт вручает роковое письмо, и просьба княгини тотчас же исполняется. После экзекуции наказанному выдают не то чтобы квитанцию, а нечто вроде удостоверения, что освобождает его от необходимости показывать спину, а так как правосудие нигде не бывает бесплатным, то со слуги взыскивают еще стоимость розог. Не правда ли, странное смешение патриархальных обычаев и бюрократических порядков Запада?

Я лично, право же, предпочитаю застарелую дикость Московии, предпочитаю такого господина, который сам сечет своего слугу, хотя он только что с ним выпивал и напьется еще не раз. Кажется, во всяком случае г-н Тургенев это утверждает, и крестьяне такого же мнения. «Любйя да наказует», — говорит в книге Тургенева помещик старого закала, только что приказавший высечь одного из своих людей, так называемого *буфетчика*. Полчаса спустя автор встречает этого буфетчика — тот как ни в чем не бывало грызет орехи. «Что, брат, тебя сегодня наказали!.. За что ж тебя барин велел наказывать?» — «А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустя-

кам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь».

Рабле называл мессера Гастера «первым в мире магистром искусств». Так вот, если бы он побывал в России, то непременно пожаловал бы это звание розге. Эта наставница «во всех добропорядочных науках» обучает мужика всем ремеслам, и тот все умеет сделать на авось. Прочитайте в *Записках русского охотника* прекрасный рассказ *Льгов*. Это трудное для француза слово — всего-навсего название села, куда забрел автор, охотясь на уток, и где на берегу пруда без единой рыбы он встретил рыболова. Оказывается, местный помещик счел необходимым обзавестись рыболовом и поручил эти невыполнимые в данных условиях обязанности бедняге Кузьме Сучку. Прежде чем стать рыболовом, Сучок испробовал многое: был кучером, не умея править, доезжачим, не умея ездить верхом. Однажды на охоте лошадь покалечилась, а Сучок упал, после этого его высекли, и хозяин определил его в повара, но только для деревни... Но даже в деревне соусы Сучка были несъедобны, и его отослали в ученье к сапожнику. Вскоре помещик умер, наследник вернул Сучка в деревню и нашел для него должность, но бедняга так и не понял, в чем она состоит, и не знал даже, как она называется. Его сделали *кофисенком* (очевидно, от слова *konfektchik* — тот, кто варит варенье). «Это что за должность такая?» — спросили Сучка. «А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила». Каждый хозяин, который покупал Сучка или получал его по наследству, давал ему новое занятие, иногда даже благородное: «...был и *ахтером* (он хочет сказать *актером*)... на *кеятре* играл. Барыня наша *кеятр* у себя завела.» — «Какие же ты роли занимал?» — «Чего изволите-с?» — «Что ты делал на театре?» — «А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори — я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!»

Манера письма г-на Тургенева напоминает гоголевскую. Как и автор *Мертвых душ*, он непревзойден в дета-

лях, любит останавливаться на мельчайших подробностях. Если речь идет об избушке, он пересчитывает все лавки и не забудет ничего из посуды. Описывая одежду персонажа, он не пропустит ни одной пуговицы. Г-н Тургенев так точен и подробен в своих описаниях, что два художника, я думаю, могли бы, не сговариваясь, нарисовать его персонажей, и портреты эти были бы абсолютно похожими. Это пристрастие, эта способность к описаниям составляет достоинство и, если хотите, недостаток большинства русских писателей. Только у одного Пушкина слог смел и прост; только он умеет с удивительным вкусом отобрать из тысячи мелких подробностей одну, которая поражает воображение читателя. Ему достаточно пяти или шести строк в начале поэмы *Цыганы*, чтобы показать кочующий табор, расположившийся у костра вместе с прирученным медведем. Каждое слово его лаконичного описания создает определенный образ и оставляет неизгладимое впечатление. Г-ну Тургеневу, несмотря на всю тщательность его описаний, это не удастся. Читая один из очень интересных его рассказов — *Бежин луг*, начинающийся с картины ночного в степи, я невольно вспомнил поэму Пушкина и пожалел, что его лаконизм не стал образцом для русских писателей. Я начал сравнивать г-на Тургенева с Гоголем, а теперь уже провожу параллель с Пушкиным. Я понимаю, что предъявляю слишком большие требования, а потому возвращаюсь к первому сравнению. У г-на Тургенева перед Гоголем есть, на мой взгляд, одно значительное преимущество. Он избегает уродливого, которое автор *Мертвых душ* изыскивает с таким любопытством. Во всем, что пишет г-н Тургенев, чувствуешь любовь к доброму и прекрасному, располагающую душевную чуткость. Ничего подобного нет у Гоголя, всегда саркастического и холодного; он смеется деланным смехом, который часто печальнее слез. И тот и другой сатирически изобразили нравы своего времени. Гоголь, как я слышал, был глубоко порядочным человеком, преисполненным искреннего сострадания к людям, но смеялся он безжалостно, — должно быть, он окончательно разуверился в обществе: он видел в нем только скотов и подлецов. Г-н Тургенев тоже высмеивает, но мягче. Рядом с плохим он видит и хорошее и даже в смешных и неле-

пых фигурах подмечает благородные и трогательные черточки. Надеюсь, г-н Тургенев, которого я не имею чести знать, еще молод и *Записки русского охотника* — это лишь вступление к более глубоким и значительным произведениям.

Нельзя умолчать и о переводчике, г-не Шарьере. Нужно хорошо знать не только русский язык, но и русскую историю, чтобы передать на нашем языке произведение г-на Тургенева, полное тонких нюансов и мелких деталей быта. Шарьер с честью вышел из трудного положения. В кратких, но содержательных примечаниях поясняется то, что не имеет эквивалента по-французски. Нельзя не упрекнуть переводчика в том, что он иногда прибегает к выражениям, которые, возможно, и употребляются во французских гостиных Петербурга и Москвы, но во Франции еще не получили права гражданства. Почему, например, вместо знатного господина писать *вельмож*, тем более что это даже и не по-русски, так как в России говорят *вельможа*? Когда-то наш язык не допускал подобных ненужных заимствований, теперь же к этому — увы! — относятся терпимо. В газете, например, можно прочесть: «Полковник А. во главе *maghzen* настиг *douar*, у него попросили *aman* и устроили ему *diffa*, после чего полковник учинил *razzia*» *. Еще хуже то, что г-н Шарьер в своем увлечении русским языком переводит иногда слово в слово, забывая, что каждый язык имеет свои особые метафоры и идиомы и что нельзя это нарушать безнаказанно. Что такое *corne d'un bois*? Для русского человека это непостижимо, как не поймет он, пожалуй, что такое *coin d'un bois* **. Я останавливаюсь на этих незначительных погрешностях потому, что их легко избежать при переиздании, теперь же они, надеюсь, никому не испортят удовольствия, какое доставляет чтение *Записок русского охотника*.

* Мериме приводит слова, заимствованные из арабского языка: *maghzen* — алжирский воин, *douar* — лагерь кочевых арабских племен, *aman* — пощада, *diffa* — обряд приема почетного гостя, *razzia* — ограбление завоеванной территории.

** *Corne d'un bois* и *coin d'un bois* — французские идиоматические выражения, означающие клин леса.

БАЛЛАДЫ И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ РУМЫНИИ,

собранные и переведенные В. Александрю.

Париж, 1855.



есполезно было бы искать «Румынию» на карте Европы.

Имя это новое, существует оно всего несколько месяцев и обозначает области, где распространен румынский язык, а это язык, на котором говорят молдаване и валахи; люди, говорящие по-румынски, живут также в Венгрии, Трансильвании, Бессарабии и в других местах. Одни из них — подданные Австрии, другие — России, большинство же — Оттоманской порты. Народу, находящемуся под властью различных государей, но повсюду отличающемуся своим особым языком, надо было в конце концов подыскать единое имя. «Румыния» была изобретена в те годы, когда немецкие ученые додумались до различения народов по племенному признаку, не принимая во внимание политических разграничений и войн, которыми эти разграничения были установлены. Говорят, что некий австрийский министр, озабоченный пробуждением у мадьяр национального чувства, придумал в противовес мадьярам румынскую национальность, исходя из принципа: *Divide ut imperes* *.

Румынский язык произошел от латинского, некогда занесенного на берега Дуная и Прута военными поселенцами, обосновавшимися там после войн Траяна с даками. Он изменился, подобно итальянскому и фран-

* Разделяй и властвуй (лат.).

цузскому, но изменения и искажения произошли в нем по иному, его собственному закону. Кажется, к нему приешалось довольно значительное количество славянских слов. Обычно на нем пишут славянской кириллицей, но говорят, что образованные люди уже заменяют ее латинским алфавитом южноевропейских народов. Говорят также, что русские относятся к этому с некоторым неудовольствием. Они снабдили молдаво-валахов своим алфавитом, они простерли свою любезность до того, что хотели снабдить их губернаторами и казаками, но молдаво-валахи предпочитают латинские буквы и свою собственную администрацию. Я далек от того, чтобы порицать их за это.

Пробуждение национального чувства у народов вызвало не только кровопролитную войну, но также весьма примечательное литературное движение во всей Восточной Европе. В Яссах и в Бухаресте языком высших классов долгое время являлся французский либо греческий, когда господарями были фанариоты. Порумынски говорили только с крестьянами. Сейчас молдаво-валахи изучают свой родной язык, развивают его и старательно собирают его древние памятники. Говорят, что язык этот красивый, богатый, звучный, удивительно приспособленный для поэзии, как и другие неолатинские языки, в особенности же как все те языки, которые еще не упорядочены знатоками грамматики. Переводчик баллад, о которых мы сейчас ведем речь, г-н Александри — выдающийся поэт, соотечественники хвалят его стихи за благозвучие. Некоторые из его оригинальных произведений — *Дойны* — были изданы во французском переводе другого молдаванина, г-на Войнеско, в Париже в 1854 году. Г-н Александри и г-н Войнеско доказывают, что в Дунайских княжествах превосходно пишут на нашем языке. Во славу первого из них я добавил бы, что его *Дойны*, о которых я могу судить лишь по прозаическому переводу, представляют собою маленькие поэмы, отличающиеся богатством воображения и изяществом. Автор поступил в высшей степени правильно, обретя источник вдохновения в природе, нравах и традициях своей родины. Он стремился писать для молдаво-валахского народа, а не для бояр, читающих лишь французские фельетоны. Слава богу, прошло то время,

когда для того, чтобы считаться по праву поэтом, надо было перевести какого-нибудь латинского писателя, в свою очередь, переписавшего какого-нибудь греческого автора. Если наш век и не слишком богат литературными открытиями, он во всяком случае имеет ту заслугу, что не отвергает самобытности, если она где-нибудь возникла. Сейчас уже не спрашивают у писателя, к какой стране, к какой школе он принадлежит. Его приветствуют, лишь бы он внес что-то новое, и отнюдь не осудят, если даже он покажется слегка странноватым. Одним словом, мы допускаем все стремления к новому, без какой-либо пристрастности или предвзятости. Есть ли это признак возвышенной мудрости, характерной для нашей эпохи, или известного безразличия ко всему, что не касается материальных интересов? Я лично затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Я люблю народные песни о Мальбруке. По правде сказать, я считаю, что поэзия возможна лишь в полумодернизованном обществе, или, если уж говорить совершенно откровенно, варварском. Лишь в этом блаженном состоянии поэт может быть простодушным без глупости и естественным без пошлости. Тогда он подобен прелестному ребенку, который, еще не умея правильно построить фразу, о чем-то не вполне членораздельно поет. Он всегда забавен, иногда бывает возвышенным. Он трогает меня, ибо сам же верит в сказки, которые мне рассказывает.

Все страны прошли через эпоху поэтического творчества. Да простят мне мои современники, но я полагаю, что Музы редко спускались к смертным после того, как те вышли из состояния дикости. Тогда все люди одного племени говорили на одном языке, горели одними и теми же страстями, имели почти что одинаковые потребности, независимо от того, были они богатыми или бедными, знатными или подчиненными. Так как полиция, бодрствующая, когда общество спит, в те времена еще не была создана, каждый должен был сам себя защищать и каждый был озабочен прежде всего тем, чтобы выжить, а тогда это было потруднее, чем теперь. А чтобы выжить, человек, не рассчитывающий на соседа, должен быть осмотрителен и храбр. Для того, чтобы создать себе положение, как мы теперь выражаемся,

ему было не обойтись без малой толики героизма. В редкие мгновения, которые люди тех трудных времен могли отдавать досугу и удовольствиям, они любили слушать рассказы о деяниях своих предков, о чудесных приключениях, выпавших на долю героев их племени, об опасностях, которым подвергались их вожди, защищая или увеличивая те пяди земли, что заняты были племенем. Подобные рассказы, преувеличенные, то есть опоэтизированные племенным патриотизмом или родовой гордостью, увеличивают в слушателях уверенность в своих силах. То, что совершили их предки, доступно и для них, потомков. Так подогревается мужество новобранца, когда ветераны рассказывают ему на биваке о сражениях, где отличился полк, номер которого сейчас у него на погонах. Эти племенные празднества, следовавшие за битвой или подготавливавшие к ней, оставляют такое яркое впечатление, что, по воспоминаниям одного выдающегося корсиканского дипломата, самыми счастливыми минутами его жизни были те, что он проводил в кругу своих соотечественников, когда все располагалось у грубого очага, ели каштаны и слушали балладу, предварительно «втянув лестницу внутрь», — заметьте, что, когда общество находится на уровне, способствующем поэзии, стихи поются лишь после того, как обеспечена безопасность от внезапного нападения извне, а предосторожность, принимавшаяся именно на Корсике и особенно в старое время, состояла в том, чтобы устранить всякое сообщение между первым и вторым этажом.

Когда рапсоды исполняли *Илиаду* или *Одиссею* среди толпы своих греческих соплеменников, в числе их слушателей не было ни одного, кому они не напомнили бы какого-нибудь события из его жизни или же хотя бы случая, который вскоре может с ним произойти. Каждый думал, что вот сосед, то есть недруг, могущественный, как Агамемнон, может отнять у него его собственную Бризеиду, жену или пленницу, а тогда это было одно и то же. Не было грека, который не повоевал бы так, как воевали под Троей, который не скитался бы по волнам, подобно Одиссею, и не считал бы себя погибшим, как только беззвездная ночь настигала его в небольшом хотя бы отдалении от берега. Да и позже, когда на мраморном театре исполнялись трагедии

Эсхила, среди его зрителей были, конечно, богатые банкиры и владельцы мастерских, например, мастерских, где производились изумительные расписные сосуды, которым мы пока еще не научились подражать; однако эти банкиры и гончары отлично помнили, как им пришлось оставлять свои счетные прилавки и мастерские, чтобы под началом Фемистокла садиться на корабли при приближении войска Мардония. Они видели Афины, объятые пламенем, и священный Акрополь, оскверненный варваром. Они были матросами при Саламине и солдатами при Платее. Они знали, что в любой момент им, может быть, снова придется взяться за весло или копье для защиты уже не афинских стен, ставших неприступными, а афинской торговли или славы Афин, которые вдруг оказались бы под угрозой где-нибудь у берегов Азии или в Понте Эвксинском. Как вы полагаете: разве эти славные люди не стали благодаря подобному воспитанию более чувствительными к поэзии Гомера и Эсхила, чем наши риторы? Не забудем одного важного обстоятельства: у них не было книг, даже какого-нибудь языческого требника или календаря, из которого они могли бы узнавать все касающееся их религии, а также учитывать «дни, когда есть луна, и дни, когда ее нет». Для того, чтобы ознакомиться со всем этим, а также со своей историей и своими законами, у них имелись только стихи и поэмы. Знать их было для этих людей и развлечением, и долгом, и необходимостью. Чудесное было время. Но явился Геродот и все испортил.

Сам по себе Геродот был, кстати, тоже великим поэтом. Но национальная история, написанная прозой, с критическим подходом к фактам, бесстрашно, на основании сведений и воспоминаний, полученных от других людей, представляла собой огромный прогресс в цивилизации и знаменовала конец поэтической эпохи. Действительно, началось упорядочение общественной жизни. Общество уже разделилось на классы соответственно интересам и занятиям своих членов, и это новое разделение оказалось гораздо более резким, чем былое различие между свободным и рабом, ибо очень долгое время и тот и другой получали более или менее одинаковое воспитание. Но таково воздействие цивилизации, что для каждого устанавливается вполне определенный круг

обязанностей, привычек и даже помыслов. Чем больше расширяется и совершенствуется сфера общественной жизни, тем уже становится область личного. Дикарь мастерит себе иглу из кусочка дерева; игла его очень плохая, но зато он умеет делать и много разных других вещей. Он делает все, чего требует его состояние дикости, то есть он умеет все, что необходимо для поддержания его существования. На наших же проволочных фабриках игла проходит через невесть сколько рук, прежде чем дойти до портнихи. Существуют одни рабочие или машины специально для того, чтобы пробивать ушко, существуют другие для того, чтобы заострить кончик, и беда в том, что хорошие рабочие — это те, кто всю свою жизнь занимается только пробиванием ушка или заострением кончика. С подобного рода знаниями они, наверно, оказались бы в весьма затруднительном положении на острове Робинзона. Нечего и требовать от них, чтобы они сочиняли поэмы или хотя бы слушали их. Поэзия обнимает весь мир. Они же из всего мира знают только кончик иглы.

В древнем обществе поэт был военачальником, законодателем, оракулом своего племени, он знал все — от кедра до иссопа. В наши дни поэт обычно чужд каких бы то ни было практических, житейских дел; он один из самых бесполезных членов общества, он говорит на искусственном языке, которого большая часть его соотечественников не понимает, и если он сумеет заинтересовать нескольких подобных ему самому мечтателей, то на большее ему уже нечего рассчитывать.

Вынужденный из-за поступательного хода цивилизации ограничиваться незначительным числом ценителей, современный поэт даже на них не имеет того влияния, какое его предшественники имели на весь народ. Теперь он обращается только к духу, и только дух его судит, в былые же времена о поэзии судило сердце. Ценою тяжких усилий, избавивших от литературных реминисценций, преследующих его из-за полученного им классического образования, поэт находит таких же образованных читателей, как и он сам, склонных то упрекать его за подражательность, то осуждать за смелые находки, если они еще не получили всеобщего одобрения, — словом, обученных холодно исследовать произве-

дение, предложенное их вниманию, вместо того чтобы поддаться чувству, как Одиссей, который, находясь у фракийцев, заплакал, когда бард Алкиноя стал петь о Троянской войне.

По мере того, как люди становились менее восприимчивыми к поэзии, правила ее делались все строже, словно для того, чтобы воспрепятствовать непосредственному излиянию чувства и подавить его. У нас во Франции, например, первые труверы применяли вместо строгой рифмы ассонансы; вскоре придумали парную рифмовку, а затем чередование мужских и женских рифм. Трудно постичь, зачем для стихов изобрели правила, противоречащие духу нашего языка. Соседство двух гласных — вещь настолько обычная, что без этого просто невозможно проспрягать какой-нибудь глагол, — не дозволено особым правилом, так что в трагедии невозможно сказать «люблю я». Один мой преподаватель не мог простить Расину, что тот осмелился сказать в *Сутягах*: «Я кровью исходил и потом», — и так как он никогда не охотился, то полагал, что Мольер должен был в *Докучных* сказать: «Следуя за собаками» вместо «по собачьему следу». Все это пустяки. Плохо то, что педанты весьма преуспели, и теперь в каждом языке есть два диалекта — один для прозы, другой для стихов. Коротко говоря, нет таких выдумок, которые не были бы пущены в ход для того, чтобы затруднить поэту его ремесло, как будто недостаточно главной трудности — найти ему слушателей. Если мне простят не слишком благородное сравнение, я скажу, что теперь поэзия — этостряпня, предложенная всего отведавшим и пресыщенным эпикурейцам, которые с горькими сетованиями на отсутствие аппетита обсуждают поданные яства, в то время как в эпоху варварства она была пищей для голодных, отлично обходившихся без соусов и приправ.

Счастливы эти древние поэты, незнакомые с правилами и условностями, придуманными риториками!.. Еще счастливее те певцы, перед которыми все поле жизни и природы простиралось, как необъятная, еще не тронутая плугом целина! Нечего удивляться, что в их творениях столько величия; диво ли, что среди всех вещей, открытых их взору, они сперва рассмотрели самые большие? Мы, поздние потомки, все время гнем спину, что-

бы подобрать хоть колосок, позабытый древними певцами, которые без труда срезали целые охапки. Все не без основания восхищаются величавой простотой Гомера, но ведь в его время простота еще не сливалась с повседневной пошлостью. Он с увлечением описывает пиршества такие же необычные, как битвы на копьях между его героями: богатырский аппетит этих героев не вызывал улыбки у древнего грека. В Греции тогда еще не было гурманов; если человек хорошо ел, это было признаком силы, то есть самого необходимого пастырю народов качества.

Нравы стран, куда цивилизация еще не вполне проникла, представляют немало черт, сходных с героическим обществом; точно так же и в их поэзии можно обнаружить кое-какие античные красоты. Однако в них редко наблюдается величие древних эпических поэм. Так же, как нет сейчас дикаря, который не знал бы, что такое ружье, и не проявлял бы восторга при виде бутылки рома, нет и таких народных песен, где не обнаружилась бы следы некоторой утонченности, позаимствованной у соседней цивилизации.

Баллады, переведенные г-ном Александри, могут представить не одно доказательство моей правоты. Зачастую они поражают изяществом, и даже порою тем кокетливым и жеманным изяществом, которое напоминает греческую и латинскую поэзию эпохи упадка. В примечаниях переводчик сообщает нам, что румынский язык богат уменьшительными и обладает неистощимым источником для передачи самых утонченных оттенков мысли. Не знаю, является ли это достоинством или недостатком языка, но дело в том, что, когда увлекаются оттенками, из него исчезают ясность и выразительность. Насколько я могу судить, румынам нравятся описания, сравнения: они охотно нагромождают образы, нередко довольно расплывчатые; может быть, музыкальность в созвучиях слов набрасывает иной раз покров на пустоту мысли.

Довольно любопытно сравнить баллады, собранные г-ном Александри, с греческими песнями, переведенными покойным г-ном Форьедем. На мой взгляд, греки остались более дикими, то есть в большей мере поэтами, верными художественной правде. В одной эфирской заплач-

ке для описания героя греческому барду понадобился лишь один стих: «С горы спускается пастух, волосы у него заплетены в косицы, колпак заломлен набекрень». Румынский поэт многословнее: «Кто из вас знает юного красивого пастуха с такой тонкой талией, что она прошла бы через перстень? Лицо у него белое, как пенка на молоке, усы — словно колосья ржи, волосы черны, что вороново крыло, глаза — словно полевая ежевика». Все это, разумеется, очень красиво, но образ человека не получается. Здесь нет ничего характерного, ничто не поражает воображения, разве что усы, словно колосья. Напротив, я отлично представляю себе клефта с его косицами и красным колпаком, который он носит, как зуав, вернувшийся из-под Севастополя.

Подобно грекам, и румыны сохранили в своих народных преданиях немало пережитков своего древнего язычества. Греки старательно избегали изображать смерть в том отвратительном виде, который христианство утвердило у современных народов. Напротив, когда они о ней говорили или намекали на нее в произведении искусства, то прибегали к самым изящным иносказаниям. Они делали вид, будто юный герой, погибший в битве, стал супругом Прозерпины, будто женщину похитил Плутон, принимающий ее, как гостью, в своем мрачном царстве. Современные румыны называют смерть «невестой мира». Солнце и луна возлагают венец на голову воина, павшего на поле чести, и это представление тоже связано с браком, ибо в греческом православии, которое исповедуют молдаво-валахи, венец — характерная принадлежность брачащихся.

Одна из самых любопытных и странных баллад в сборнике, выпущенном г-ном Александри, называется *Солнце и луна*: может быть, в ней сохранились отголоски древнего мифа, созданного первыми обитателями берегов Дуная. Солнце в своей колеснице, влекомой девятью конями, ищет в течение девяти лет женщину, равную ему по красоте. С одним конем ее не найдешь. Но лишь сестра его, Елена, может сравняться с ним красотой. «Выходи за меня», — безо всяких обиняков говорит ей Солнце. Но сестра его благочестива и возражает ему, что грех очень уж велик. Чтобы успокоить ее совесть, Солнце поднимается к престолу господа бога

и просит у него особого разрешения. Выслушал его господь бог, взял за руку, повел в ад, чтобы устрашить его душу, повел в рай, чтобы восхитить его душу, и так ему молвил — а пока господь говорил, небо радостно сияло и все облака растаяли: «Солнце, ясное Солнце, не знающее греха! Ты побывало в раю, ты обошло ад — выбирай же само между ними». «Я выбираю ад и при жизни(?) — только не быть бы мне одному, только бы жить мне с сестрой моей Еленой, Еленой с длинными золотыми косами». Жених и невеста в церкви; священник сейчас благословит их. Внезапно светильники гаснут, колокола трескаются, скамьи переворачиваются, незримая рука хватает красавицу Елену и бросает ее в море, где она тотчас же превращается в прекрасную рыбу. С того-то времени солнце и погружается в море, и теперь понятно, почему. Но господь бог поймал эту рыбу и бросил ее в небо, где она стала луной. «Ты, Елена с длинными золотыми косами, и ты, Солнце сияющее! Вот вам мой приговор на веки веков: глазами вы будете искать друг друга в пространстве, но никогда вам не встретиться и никогда не догнать друг друга на небесной дороге. Вечно гонитесь друг за другом, обегая все небо и озаряя мир». Как легко убедиться, легенда эта преобразилась, подробности, заимствованные из христианских обычаев, самым странным образом включились в космогонический миф языческого Востока. Будет ли слишком смелым сближение этой легенды с аркадским преданием о временах, когда луны в небе еще не было?

Румыны — близкие соседи славян, они одного с ними вероисповедания, и у них много общих — преимущественно с сербами — нравов и обычаев. Нет ничего удивительного в том, что и в поэзии этих двух народов много сходных черт. Сербские песни о Марко-королевиче, национальном герое южных славян, отличаются эпическим характером, который редко обнаруживается в современной народной поэзии, но зато довольно сильно чувствуется в одной из баллад г-на Александри, *Бурчельский холм*. Это нечто вроде отрывка из эпопеи, посвященной Стефану Великому, молдавскому князю, чья память дорога его соплеменникам. Они уверяют, будто он сражался сорок лет, одержал сорок побед, по-

строил сорок церквей. Рабле советовал при вранье брать нечетное число, но эта хитроумная выдумка цивилизации еще, слава богу, неведома простодушным варварским народам. В основе другой баллады совсем иного жанра — *Аргисский монастырь* — лежит общее румынам и сербам предание. Некий князь строит монастырь, но стены, воздвигаемые днем, рушатся каждую ночь. Есть простое средство для их укрепления: надо заживо замуровать в каменную кладку первую женщину, которая принесет каменщикам поесть. Весьма возможно, что подобные строительные приемы применялись в добрые времена поэзии, и они не должны удивлять нас больше, чем, например, средство вызвать ветер — для этого надо отрезать голову принцессе. На данной основе, быть может, — увы! — вполне реальной в древности, поэт румынский и поэт славянский, каждый по-своему, сочинили две трогательные басни, отличающиеся друг от друга лишь некоторыми подробностями. Каменщик-румын, стоя на лесах, издали видит жену, несущую ему обед. Он взывает к небесам, и по его молитве женщине перерезает дорогу бурный поток. Но мужественная супруга перебирается через него. Затем ураган заваливает дорогу вырванными с корнем деревьями, но она перелезает через них и появляется у роковой стены. У серба нет ни потока, ни урагана. Жена мастера-каменщика Гойко, желая избавить свою старую свекровь от лишнего труда, отдает ей на присмотр своего сосунка, а сама несет мужу корзину с едой.

Эта подробность трогательна и вызывает с самого начала сочувствие к обреченной жертве. Затем следует немного манерная вышивка, имеющая, впрочем, свои достоинства и отсутствующая в румынской балладе. Жена Гойко безропотно покоряется решению замуровать ее; она только просит, чтобы на уровне ее груди проделали в стене отверстие, через которое она могла бы кормить своего ребенка. «Главный строитель смягчился, поступил с ней как брат родной: он оставил небольшое оконце прямо у себя перед глазами... В течение недели мать кормила своего сосунка, потом она уже не подавала голоса, но молоко для ребенка у нее осталось, и еще целый год он сосал. И как было тогда, так бывает и теперь: матери, потерявшие молоко, приходят на это ме-

сто ради того, чтобы видеть чудо, ради своего спасения — там они могут накормить своих младенцев».

Румынская баллада заканчивается не так хорошо, по крайней мере на мой взгляд. Князь велит убрать лестницы, чтобы все каменщики погибли, как жена мастера. Но они искусники: они мастерят себе крылья из тонких дощечек и спускаются с помощью этого приспособления — все, кроме Маноля, мужа жертвы: ему не дают покоя стоны, доносящиеся из стены, он бросается вниз головой и превращается в источник. Какая из этих баллад — оригинал, какая — копия? Сейчас об этом очень трудно судить, даже если в совершенстве знать по-сербски и по-румынски.

Приведем еще одну замечательную балладу, хотя она недавнего происхождения, ибо сочинена по поводу холерного поветрия в Молдавии. Вылку, ведя по дороге четырех волов, впряженных в телегу, встречает на берегу Прута отвратительную старуху: вся она — кожа да кости, но идет быстрым шагом, и там, где она ступила, сохнет трава и вырастают колючки. «Куда это ты?» — спрашивает Вылку. «Я иду в дом Вылку, чтобы отнять у него жизнь». — «Возьми моих волов, телегу, оружие, только отпусти меня». — «На что мне твое оружие? Меня вооружила сама преисподняя. У меня с собой три косы, они косят людей сотнями и тысячами...».

Любовные песни, легенды о всяческих чудесах или о бесах, сказания о героях-разбойниках — вот содержание этой небольшой книжки, в самом лучшем свете представляющей воображение румынских поэтов. Если не ошибаюсь, г-н Александри обнародовал лишь весьма незначительную часть составленного им довольно солидного сборника. Я очень хотел бы, чтобы он продолжил эту работу, и не сомневаюсь, что все прочитавшие эти баллады присоединятся к моему пожеланию.

БРАНТОМ



Мало что известно о жизни Пьера де Бурдейя, аббата и сеньера де Брантома. Мы знаем о нем лишь то, что он сам пожелал нам сообщить; но он был гасконец, любил говорить о себе, и мы не считаем его лжецом. Благодаря своему происхождению, характеру, вкусам он с ранних лет был довольно близок с большинством людей, сыгравших крупную роль во второй половине XVI века. Его общества, видимо, искали в светских кругах того времени за веселый нрав, за остроумие и порядочность. Если судить о писателе по тому, как он изобразил себя, он был прежде всего человек благовоспитанный, или, точнее, истинный сын своего века, верный портрет которого без крупных пороков и крупных добродетелей мы найдем в его произведениях. Изучить их крайне полезно, чтобы знать, каковы были нравы и образ мыслей средних людей триста лет тому назад.

Дата и место его рождения нигде точно не указаны. Есть все основания полагать, что он родился в Перигоре, ибо там обосновалась и обычно жила его семья. Он говорит, что «в 1552 году был еще очень мал и ходил в школу», и далее, что «семи лет от роду потерял отца». Между тем обнаружено завещание его отца, помеченное 1547 годом; полагают, что оно было составлено незадолго до смерти завещателя, — следовательно, мальчик родился около 1540 года.

Он был третьим сыном виконта Франсуа де Бурдейя и Анны де Вивон де Шастеньере. Франсуа де Бурдейя служил в конном отряде под началом Баярда; он был смертельно ранен в Павии и оставил по себе славу храброго солдата, любителя повздорить и отнюдь не ханжи, ибо имел возможность близко наблюдать папский двор. Его вдова согласилась стать фрейлиной Маргариты Ангулемской, королевы Наваррской. Мать г-жи де Бурдейя, в девичестве Луиза де Дайон, а затем супруга и вдова г-на де Шастеньере, уже исполняла при королеве обязанности статс-дамы. Все раннее детство вплоть до 1549 года—года смерти Маргариты Ангулемской—мальчик провел с матерью и бабушкой. Он уверяет, что королева Наваррская умерла, как подобает доброй католичке; мы готовы верить ему на слово, хотя он был слишком мал, чтобы судить об этом, да и никогда не считался особенно сведущим по части религии. Быть может, при небольшом, но просвещенном дворе Маргариты Ангулемской он получил еще ребенком уроки терпимости, которыми хорошо воспользовался впоследствии. Весьма вероятно, что он приобрел там вкус к чтению и беседе, чему мы и обязаны написанными им произведениями.

После того, как его семья переехала из Наварры в Перигор, мальчик поступил в знаменитую тогда пуатьерскую школу, где изучил латынь лучше, чем любой его современник. Это вовсе не значит, что он хорошо знал ее, но все же мог прочесть при случае несколько стихов и перевести для дам, *ничтоже сумняшеся*, латинские надписи и отрывки из классических произведений. Семья издавна прочила его в священнослужители, и еще ребенком он пользовался доходами с епархии Сент-Ирикс и двух приорств—Руаян и Сен-Вивьен. То были семейные бенефиции, передававшиеся от отца к сыну. В 1553 году смерть Жана де Бурдейя, старшего брата Пьера, павшего смертью храбрых при осаде Эдена, привлекла к его семье милостивое внимание Генриха II, который даровал нашему автору, едва достигшему шестнадцати лет, аббатство Брантомское, приносящее около 3 тысяч ливров дохода. По обычаю того времени, Пьер де Бурдейя стал именоваться Пьером де Брантомом, по примеру большинства дворян, брав-

ших вместо фамилии название принадлежавшей им сенъерии.

Хотя Пьер де Брантом и был аббатом, он пожелал участвовать в войне и повидать прекрасную страну, где некогда его отец сражался бок о бок с рыцарем без страха и упрека. Он отправился в Италию в конце 1557 или в начале 1558 года с намерением вступить в армию маршала де Брисака как знатный доброволец, то есть в сопровождении пяти-шести дворян, находившихся у него на содержании, хорошо вооруженных и верхом «на добрых конях». Чтобы снарядить эту свиту, ему пришлось продать часть леса в Сент-Ириксе, за что он выручил 500 экю золотом. Несмотря на «добрых коней», Брантом поступил в пехоту—род войск, начинавший входить в славу. Но в 1558 году в Италии никто не воевал, и Брантом решил, что ему не стоит особенно туда торопиться. Он остановился в Женеве и познакомился с Польтро де Мере, тем самым, который пять или шесть лет спустя умертвил герцога Франсуа де Гиза; это был несчастный изгнанник, ради хлеба насущного изготовлявший пуговицы вместе с бароном д'Обетером, другим вероотступником, бежавшим от преследований, соседом Брантома и ревностнейшим перигорским кальвинистом. Женева служила в те времена убежищем для большинства французов, гонимых за религиозные убеждения. Брантом встретил там, между прочим, парижского аптекаря, который прославился искусством вызволять из беды девушек, сделавших ложный шаг, а затем стал поучать благочестию женеvцев.

По всей вероятности, дворяне из свиты Брантома получили приказание не подвергать его слишком большой опасности; все же он был ранен в лицо у Портофино, близ Генуи, в результате так называемого «заклочения с аркебузой», которое биографы приняли за рану, полученную на поле брани. Но помимо того, что в этой местности не было, насколько известно, ни одного сражения, огнестрельная рана в лицо бывает обычно весьма серьезна, а он отделался шестью днями слепоты. Совершенно очевидно, что речь идет о вспышке пороха во время какого-нибудь военного упражнения. Это случалось довольно часто в те времена, когда солдаты заряжали оружие, держа в руках зажженный фитиль. Некая красавица,

уроженка Женевы, быстро и не без приятности вылечила его. Она «брызгала ему в глаза молоком из красивых своих белых грудей, ибо ей было всего тридцать лет, и белыми своими руками умащивала лицо его какой-то мазью, ею самой изготовленной». Это было началом милого романа, но он не получил развития, а может быть, наш автор из скромности умолчал о дальнейшем.

Окончательно выздоровев, Брантом объездил Италию и, видимо, бережливо расходовал свои 500 экю золотом, так как подолгу жил в Риме, Милане, Ферраре и других городах. По примеру Улисса, он «многих людей города посетил и обычаи видел», задавал множество вопросов и всюду интересовался различными способами вести войну и заниматься любовью. Во время этого путешествия он подружился с Филиппом Строщи и поступил на службу к Франсуа де Гизу, великому приору и адмиралу Франции. Брантом был племянником Шастеньере, убитого на дуэли Жарнаком, и его родство с человеком, которого очень любили принцы из Лотарингского дома, явилось превосходной рекомендацией в глазах великого приора. В 1559 году Брантом последовал за ним в Неаполь и был принят при блестящем дворе вице-короля, герцога Алькала, и в гостиных Марии Арагонской, вдовы знаменитого маркиза дель Васто, одной из наиболее выдающихся женщин своего времени, отличавшейся изысканностью манер и живостью ума. На борту галеры великого приора Брантом испытал жестокую бурю неподалеку от Ливорно и, кажется, готов был поверить, что непогоду навлекло на них богохульство генуэзского капитана, вознегодовавшего на небо за свои проигрыши в карты.

В 1560 году мы вновь встречаем Брантома при французском дворе, без должности, но зато ставшим своим человеком в доме всемогущих тогда Гизов. Он находился в Амбуазе в день, когда там вспыхнул заговор, подготовленный Реноди: впоследствии он рассказал несколько забавных историй об этом отважном, хотя и малоизвестном бунтовщике.

В 1564 году он сопровождал в Шотландию великого приора, которому было поручено отвезти туда Марию Стюарт, глубоко опечаленную тем, что ей приходится покидать Францию. Он оказался на одной галере с коро-

левой и Шателяром и видел зарождение страсти, приведшей несчастного дворянина на эшафот. Простившись с шотландской королевой, он остановился в Лондоне и был представлен Елизавете Английской, восхитившей его красотой и величавостью. В том же году он вернулся во Францию и был весьма удивлен при виде осмелевших протестантов, которые стали чуть ли не похваляться своим участием в амбуазском заговоре. Нетрудно было предвидеть близость междоусобной войны. Воспитанный в католичестве, хотя и лишенный устойчивых воззрений, сверх того аббат, да еще на службе у Гизов, Брантом не мог колебаться в выборе знамени. Он сопровождает герцога Франсуа во время горячей схватки у стен Парижа в 1562 году, затем при осаде Буржа, Блуа и Руана. Он присутствует при сражении в Дре, о котором сообщает достоверные и весьма занятные подробности, и, облаканный герцогом, допускается в числе немногих дворян вечером после битвы в покои пленного принца Конде, который грелся у камина, собираясь возлечь на ложе своего победителя. Во всех этих случаях Брантом вел себя как храбрый солдат, шел в огонь следом за герцогом, но без лишнего молодечества, ибо носил в окопах железный шлем, покрытый черным фетром, чтобы блеск металла не привлек выстрелов,— предосторожность весьма похвальная, о которой я упоминаю лишь в доказательство его здравого смысла, редкого во времена, когда молодые сумасброды считали, будто смелость неотделима от безрассудства. Герцог де Гиз оказался еще осмотрительнее Брантома: он отдал в Дре своего боевого коня и доспехи оруженосцу, который благодаря этой чести был истреблен пулями.

Брантом находился в штабе Франсуа де Гиза еще в 1563 году, при осаде Орлеана, где увидел за трапезой своего женевского знакомого Польтро де Мере, прибывшего туда незадолго до покушения. Герцог милостиво принял Польтро, как вероотступника, имеющего некоторый вес, и усадил его в тот день за свой обеденный стол. Мы обязаны Брантому интересными подробностями о последних минутах Франсуа де Гиза. Несмотря на весь свой фанатизм, Польтро вовсе не стремился сложить голову «за правое дело» и выжидал случая, когда жертва окажется одна или под слабой охраной. Случилось так,

что, возвращаясь после рекогносцировки в свою штаб-квартиру в Оливе, герцог переправлялся через Луару в небольшой лодке с тремя или четырьмя слугами — он не пожелал тратить четыреста — пятьсот экю на восстановление моста ради того, чтобы взять с собой свиту. «Побережем деньги его королевского величества, — говорил Франсуа де Гиз, — он нуждается в них для других дел... Ведь встречный и поперечный проедает, расхищает их». Эта достойная похвалы бережливость и выдала его убийце. Рана оказалась смертельной, и от герцога уже отказались лекари, когда некий Сен-Жюст д'Алегр пообещал вылечить умирающего при помощи заклинаний и прочих чар, коими он якобы обладал. Герцог, веривший в колдовство, как и все современники, не захотел прибегнуть к нему, «предпочитая смерть противному богу волшебству». Брантом, расспрашивавший убийцу, не говорит прямо, что тот застрелил адмирала, но дает ясно понять, что так оно и было; впрочем, эти подозрения разделялись тогда всеми католиками. Брантом слышал, как юный Анри де Гиз, тринадцатилетний мальчик, клялся, что «не умрет, пока не отомстит за убийство отца».

За убийством Франсуа де Гиза последовал мир, или, точнее, перемирие, между католиками и протестантами, и эти две некогда враждебные партии отправились вместе на осаду Гавра, который и был взят ими у англичан. Брантом, видимо, не принимал участия в этой экспедиции.

В 1564 году он был причислен ко двору герцога Орлеанского, впоследствии Генриха III, в качестве одного из его приближенных на жалованье в 600 ливров. Это положение, не имевшее ничего общего с положением фаворита, открывало ему доступ во дворец, не обременяя, очевидно, излишними обязанностями, ибо он вскоре покинул Францию, чтобы присоединиться к испанцам, готовившимся выступить против берберов. Брантом принял участие в этой недлительной и некровопролитной кампании под влиянием дружеских чувств к испанским сеньорам, с которыми он познакомился в Неаполе. Войско в 10 тысяч человек под командованием дона Гарсии де Толедо атаковало в августе 1564 года Пенон де Велес — довольно сильную крепость, охраняемую всего-навсего шестьюдесятью турками, которые бежали при первых же

орудийных залах. С падением этого форта кампания окончилась; на обратном пути Брантом высадился в Лисабоне и был принят там как знатный дворянин и герой-победитель. Король дон Себастьян, который узнал вскоре на горьком опыте, что такими врагами, как мавры, не стоит пренебрегать, выслушал из уст нашего автора подробное описание экспедиции и пожаловал ему орден Христа. Из Лисабона Брантом отправился в Мадрид и был столь же хорошо принят королевой Елизаветой, весьма довольной, что может повидать соотечественника и узнать от него более или менее свежие новости о французском дворе. Она попросила герцога Альбу представить гостя своему супругу Филиппу II, дону Карлосу и дону Хуану Австрийскому. Мы обязаны Брантому наиболее достоверными сведениями о доне Карлосе, ограниченный ум и скрытный, подозрительный нрав которого он, очевидно, хорошо изучил. Перед его отъездом во Францию королева испанская дала ему поручение, всю важность которого ни он, ни она тогда не сознавали. Речь шла о том, чтобы сообщить Екатерине Медичи о горячем желании дочери повидать ее, для чего ей было предложено встретиться на границе обоих государств. В действительности же Филипп II хотел отвлечь Францию от союза с инсургентами Объединенных провинций, и байоннская встреча 1565 года, скрепив союз Екатерины Медичи с Испанией, видимо, вызвала еще большие гонения на французских кальвинистов, что довело их до крайности и в 1567 году вынудило вновь начать междоусобную войну.

Брантом присоединился к французскому двору в Провансе, выполнил поручение испанской королевы, участвовал в байоннской встрече и тут же отправился в новую экспедицию. Мальта подверглась тогда нападению войск Солимана, и героическое сопротивление иоаннитов вызвало во всем христианском мире прилив религиозных и рыцарских чувств. Но напрасно великий магистр ордена Паризо де ла Валет молил Францию о помощи. У Екатерины Медичи имелись договоры с турецким правительством, а со времен Франциска I на Оттоманскую Порту привыкли смотреть как на ценную союзницу. Эту политику, однако, открыто осуждало молодое дворянство, и виднейшие деятели государства следовали ей нехотя.

Множество молодых воинов — католиков и протестантов, — еще бредивших крестовыми походами, ехали на Мальту как добровольцы, горя желанием сразиться с неверными. Среди прочих добровольцев был и командующий гвардейским полком Филипп Строцци, который добился разрешения отлучиться из Парижа и даже не скрыл, каким образом собирается провести отпуск. Брантом, его младший брат, барон д'Арделе, сын известного маршала де Брисака, и другие дворяне приняли участие в этой экспедиции и сложились, чтобы снарядить полк в 800—900 старых вояк, нанятых ими на собственные средства; командовать полком они уговорились совместно. Солдаты ехали морем в Сицилию, где было назначено место сбора, а Брантом с друзьями направился туда же через Италию. Он остановился прежде всего в Милане, славившемся своими мастерскими доспехов и аркебуз, и приобрел великолепное снаряжение. Он побывал также в Неаполе и снова встретился с маркизой дель Васто, принявшей его так же радушно, как и в первый раз; все эти задержки привели, однако, к тому, что добровольцы со своим полком явились на Мальту лишь после снятия осады.

Брантом решил тут же вступить в орден мальтийских рыцарей; отговорил его от этого друг Строцци, доказав, что крупные события, готовящиеся во Франции, скорее дадут ему возможность разбогатеть. Он покинул Мальту на галере, принадлежавшей ордену, в надежде сойти на берег в Неаполе и вновь побывать в приятном обществе маркизы дель Васто, но ветер отнес галеру в Террачину, и Брантому пришлось высадиться там. Затем он отправился со своими спутниками в Рим, где новоявленные крестоносцы были приняты папой с величайшими почестями. Хотя некоторые протестанты — участники экспедиции ели скромное в пост и, вероятно, совершали более тяжкие прегрешения, святейший отец воспретил инквизиции преследовать этих молодых людей и закрыл глаза на их ветренность. Брантом, допускавший порой довольно смелые суждения о церковнослужителях, намекает, что турецкие корабли, стоявшие в виду Остии, побудили святейшего отца пощадить отважных солдат, которые могли ему вскоре пригодиться. Мы предпочитаем, однако, рассматривать поступок Пия V как следствие

присущей ему мягкости и благодушия. Брантом был добрым католиком и ни за что не стал бы есть мясное в пятницу, зато он, выражаясь языком Мольера, «усердно посещал прекрасных римлянок», или, как говорят итальянцы, «соседился» с ними. Известная красавица, которая жестоко обошлась с ним при последнем свидании, когда его 500 экю подходили к концу, раскаялась и стала много уступчивее теперь, видя, что он возвратился с туго набитым кошельком. Притом эта дама успела выйти замуж за светского человека, которому было приятно иметь друзей среди знатных чужеземцев.

По дороге во Францию Брантом задержался на несколько недель в Милане, чтобы усовершенствоваться в искусстве фехтования под руководством знаменитого учителя по имени Великий Тапп. Как ни обидно, а приходится сознаться, что нам не удалось установить, был ли он обязан этим почетным эпитетом своей гениальности, как Александр и Помпей, или же попросту своему росту. Упражняясь на рапирах, наш автор уже замышлял новый поход. Горько съездить на Мальту и не встретить турок, но их легко было найти в Венгрии, куда они ежегодно являлись поживиться на чужой счет. Ожидалось как раз грандиозное их нашествие, и Германия была под ружьем. Прибыв в Венецию по пути в Венгрию, Брантом узнал о смерти Солимана и рассудил, что неверные оставят в покое христиан, по крайней мере на некоторое время. Видя, что нет никакой возможности сразиться с ними, он решил вернуться во Францию. В Пьемонте Брантом отправился на поклон к Маргарите Французской, герцогине Савойской, родственником которой он себя считал. Эта знатная дама, благосклонная к соотечественникам, подумала, что наш автор возвращается из крестового похода с пустым кошельком, и предложила ему 500 экю. Брантом ответил, что денег у него достаточно, дабы завершить путешествие,— гордость, редкая в те времена, и мы с удовольствием упоминаем об этом в доказательство возвышенности его чувств. В том веке редкий дворянин, даже богаче Брантома, проявил бы подобное бескорыстие.

По-прежнему горя желанием воевать, Брантом собрался вступить в ряды войск генерала, чьи солдаты никогда не сидели без дела. Он хотел уже предложить свои

услуги герцогу Альбе во Фландрии, когда разразившаяся во Франции междоусобная война принесла полное удовлетворение его авантюристическим наклонностям. Он добился от короля разрешения набрать две пехотные роты. Но то ли у него не хватило денег, то ли по другой причине, он навербовал только одну, зато позаботился, чтобы ему было присвоено звание начальника обеих рот, то есть нечто среднее между чином полковника и капитана, — звание, столь же странное в те времена, как и теперь. Впрочем, как говорит барон де Фенест, «ничего не стоит называть вещи почетными именами». После сражения при Сен-Дени, на котором Брантом только присутствовал, ибо с обеих сторон в бой введена была одна кавалерия, он отправился со своей ротой в Овернь и там участвовал в нескольких довольно жарких схватках. В 1568 году, недовольный двором по причине, которую Брантом не пожелал нам сообщить, он нес гарнизонную службу в Пероне. Протестанты узнали, вероятно, о настроениях Брантома, ибо в надежде привлечь его на свою сторону спешно послали к нему давнишнего его друга Телиньи, зятя известного адмирала. По обычаю того времени, когда все соглашения начинались оговорками в пользу перебежчиков, ему был предложен, если он согласится сдать Перон, пост градоправителя и сохранение этого поста после окончания войны. Брантом наотрез отказался, но не поссорился с Телиньи — обстоятельство, которое отнюдь не умаляет его заслуг, а лишь свидетельствует о нравах того века, когда можно было делать подобные предложения, не роняя своего достоинства. После заключения мира, метко прозванного *неустойчивым*, Брантом вернулся ко двору и был назначен курьером при особе короля. В качестве такового он участвовал в подобии маленькой войны на Сене, во время которой несколько лодок напали на королевскую галеру. Хотя бой велся по заранее установленной программе, при таком столкновении трудно было избежать несчастных случаев. Капитана гвардейцев герцога Анжуйского, барона де Монтескью, столкнул в воду Фервак, и, если бы не Брантом, который втащил его на борт галеры, он бы непременно утонул. Известно, сколь велико было влияние этого незначительного события. Несколько месяцев спустя Монтескью убил в Жар-

наке принца Конде. Он по-прежнему называл Брантома отцом, и того нисколько не смущало наличие такого сына.

Третья гражданская война разразилась в 1569 году. Брантом провел лишь часть этой кампании, да и то не во главе своей роты, которую распустил под сердитую руку, а в штабе брата Карла IX, главнокомандующего королевской армией. Сомнительно, чтобы он участвовал в сражениях при Жарнаке и Монконтуре. В начале военных действий он заболел перемежающейся лихорадкой и вскоре был вынужден удалиться в свое аббатство. Оно подвергалось тогда большой опасности, ибо Перигор был занят основными силами кальвинистов. Неподалеку от владений Брантома немецкие рейтары под командой герцога Дефона соединились с войсками адмирала Колиньи. Все протестантские военачальники, за исключением герцога, скончавшегося по приезде от несварения желудка, поселились в аббатстве: здесь оказались одновременно шестнадцатилетний Генрих IV, его двоюродный брат принц Конде, князя д'Оранж и де Насо и сам адмирал. Благодаря учтивости аббата Брантома и его давнишним связям с главарями протестантов аббатство было поставлено в такие условия, о которых монахи не смели даже мечтать. Реформаты не грабили их, не били витражей, не калечили статуй святых — словом, не предавались своим обычным бесчинствам; более того, монахам было разрешено совершать церковные обряды, как до войны. Колиньи дружески беседовал с Брантомом, приходившимся родней его жене Шарлотте де Лаваль — сестре Антуанеты де Лайон, бабушки Брантома. Он, видимо, питал глубокое отвращение к междоусобной войне, хотя твердо решил не складывать оружия, пока не добьется свободы совести для своих единоверцев.

Едва Брантом вылез из лихорадки, Лану стал настойчиво звать друга с собой во Фландрию, куда его приглашали воевать с испанцами во главе армии штатов. Читатель помнит, что незадолго до этого Брантом намеревался поступить на службу к испанцам против восставших фламандцев: главное для него было повидать свет в компании добрых приятелей, а под каким знаменем сражаться, безразлично. Однако он отдал предпочтение Строцци, который задумал совершить экспедицию в Америку. Он собирался ни больше, ни меньше, как

завоевать или обложить данью Перу — предприятие, более трудное в те годы, чем столетие спустя, во времена лихих набегов флибустьеров, и все же оно издавна манило искателей приключений соблазнами славы и жи­вы. Наблюдать за вооружением экспедиции поручили Брантому, который, по-видимому, был недостаточно сведущ по части мореплавания. Эти дела задержали его в Бруаже, где он частично провел 1571—1572 годы, счастливо избежав зрелища Варфоломеевской ночи. Пока он выполнял в Бруаже поручения Строцци, тот недостойно вел себя по отношению к нему; во всяком случае, Брантом, не говоря ничего определенного, обвиняет его в нарушении законов дружбы. Некоторые биографы полагают, что, воспользовавшись отсутствием нашего автора, Строцци добивался руки г-жи де Бурдей, его невестки. Вполне возможно, что он ухаживал за ней, но жениться никак не мог, ибо Андре де Бурдей, брат Брантома, был еще жив. Одно неоспоримо: Строцци, человек весьма себялюбивый, нисколько не интересовался судьбой своего друга; он многого требовал от него и ничего не давал взамен. В порыве досады Брантом решил уехать из Бруажа и, поступив на службу к дону Хуану Австрийскому, принять участие в морской кампании, которая закончилась битвой при Лепанто, но Строцци передал ему повеление короля оставаться во Франции. Брантом рассказывает, что в то время он пострадал от одного вельможи, имя которого не называет; биографы колеблются между его высочеством (впоследствии Генрихом III) и герцогом Гизом: оба они были знатными вельможами, обоим он старался угодить, и оба весьма нерадиво покровительствовали ему.

Осада Ла Рошели — последнего убежища реформатов после Варфоломеевской ночи — положила конец уединенной жизни Брантома. Он пространно описывает эту осаду, в которой участвовал в качестве помощника Строцци, командовавшего французскими гвардейцами, и друга его высочества и герцога Гиза, связанных в те времена узами тесной дружбы. Осада Ла Рошели была, как известно, длительной и тяжелой, в особенности для королевских войск. Брантом вновь встретился там с Генрихом IV, своего рода заложником, принужденным сражаться против своих бывших друзей. Наш автор дал ему

в руки аркебузу, и тот впервые выстрелил из нее по французам. Весьма вероятно, что Брантом сделал это по простоте сердечной, но герцог Гиз и его высочество были в восторге от унижения юного пленника. Что касается Генриха IV, то он любил запах пороха и стрелял ради удовольствия стрелять. Во время попытки прорваться сквозь плохо пробитую брешь Строцци, руководивший этой атакой, попал в ров. Брантом, который шел за ним следом, помог ему выбраться из-под груды трупов и обвалившихся камней. В этом деле он получил несколько пуль, но они застряли в его броне. В другой раз он был обрызган с ног до головы кровью и мозгом товарища, сраженного пушечным ядром. Друзья у него были повсюду, и он умел хорошо говорить. Во время передышки, следовавшей за атакой, отбитой ларошельцами, осажденные водрузили на одном из бастионов шесть знамен, взятых у врага, как бы предлагая королевским войскам отбить их. Брантом убедил ларошельцев убрать трофеи, вид которых выводил из себя солдат-католиков и мог помешать соглашению, так как, несмотря на вылазки и штурмы, переговоры шли своим чередом. Осада была наконец снята после заключения договора, далеко не почетного для осаждавших.

С наступлением мира Брантом возвратился ко двору, и мы снова видим его в роли придворного, старающегося угодить королеве-матери и молодому герцогу Гизу, которые принимают его как надежного друга и приятного, но малозначительного человека. В те времена достигал положения лишь тот, кто умел внушить страх.

В 1574 году Брантом выехал навстречу Генриху III, который оставил польский престол, чтобы занять престол французский, присоединился к нему в Лионе и имел честь снять с него сапоги. Между тем междоусобная война вновь вспыхнула на юге страны. Пока роялисты осаждали Лузиньян, Брантом был спешно послан в Сентонж к Лану, своему другу и главе реформатов, для ведения переговоров, о цели которых он умалчивает. По всей вероятности, речь шла о мирных предложениях, которые могли быть отвергнуты.

После коронавания Генриха III в Реймсе, где по должности присутствовал и Брантом, его снова стал звать с собой Лану; избавившись наконец от междоусобиц, он

собирался в 1575 году во Фландрию, чтобы принять командование над войсками штатов. Брантом опять отказался. Однако, узнав накануне отъезда Лану, что испанский посол готовит засаду, чтобы убить его, Брантом принял на себя роль телохранителя друга и доставил его домой под охраной хорошо вооруженных слуг. Такие вещи случались довольно часто в конце XVI века; за несколько лет до этого Брантом оказал подобную же услугу своему родственнику Бюси д'Амбуазу, попавшему в немилость и бежавшему в изгнание. Еще немного — и Брантом поплатился бы за свою смелость, разделив участь де Бюси.

В том же 1575 году наш автор добился успеха, лестного для его самолюбия: он содействовал назначению епископа; это был его двоюродный брат Франсуа де Бурдей, которого по просьбе Брантома король сделал епископом в Периге. Но у Брантома была тяжелая рука — новоиспеченный епископ не выказал ему особой признательности; Брантом упрекает его в неблагодарности и говорит, что «когда он напялит свою мантию, то становится похож на вьючного осла под попоной».

На следующий год Брантом сопровождал королеву-мать в Пуату, куда она отправилась за герцогом Алансонским, поссорившимся с двором и вступившим в переговоры с протестантами. Он снова вошел в свиту этой королевы в 1578 году, когда она отвозила в Наварру свою дочь Маргариту де Валуа.

Среди развлечений придворной жизни Брантом не забывал о своих несчастных друзьях. Лану был разбит испанцами во Фландрии и взят в плен; победители жестоко обходились с ним, как с еретиком и главарем мятежников. Французский двор, который ненавидел и боялся его, не предпринимал никаких шагов, чтобы смягчить участь пленника. Брантом несколько раз просил за него короля, и притом весьма смело; он обращался также ко всем более или менее влиятельным людям, но его усилия оказались тщетными.

Старший брат Брантома, Андре де Бурдей, умер в январе 1582 года. Он был сенешалем и губернатором Перигора, капитаном пятидесяти тяжело вооруженных всадников, кавалером ордена св. Михаила и частным советником. Во время междоусобиц его верность бы-

ла вне всяких подозрений; он оказал королю важную услугу, сохранив провинцию, которой угрожал враг. Брантом обратился к Генриху III с просьбой сохранить в порядке преемственности должность перигорского сенешаля за его племянником, сыном Андре де Бурдейя, мальчиком, едва достигшим девяти лет. Не верится, когда он говорит, что не желает этой должности для себя, что «она ему нужна, как пустая кошница». Ему хотелось лишь одного, уверяет он, — сохранить ее за племянником из уважения к правам старшей ветви, точно так же, как впоследствии он привязался к вдове Андре и помешал ей вторично выйти замуж, дабы оставить в семье значительное состояние этой дамы. Как бы то ни было, король понял невозможность доверить важный пост девятилетнему ребенку и предложил этот пост самому Брантому, добавив, что позже разрешит отказаться от него в пользу племянника. Несколько дней спустя, когда грамота уже была заготовлена, король узнал, что Андре де Бурдейя по-своему распорядился перигорским сенешальством, завещав его своему зятю, виконту д'Обетеру. Андре де Бурдейя воспитал этого дворянина, сына известного протестанта, того самого, которого Брантом встретил некогда в Женеве, где изгнанник изготовлял пуговицы вместе с Польштро, обратил его в католичество и женил на своей дочери. По завещанию он оставил ей всего десять экю, но в брачном контракте обязался уступить сенешальство виконту д'Обетеру — преимущество, возмещавшее скудость приданого и наследства. Король счел своим долгом выполнить последнюю волю Андре де Бурдейя. Брантом был раздосадован не столько ущербом, нанесенным его семье, сколько самим решением, которое он воспринял, по его словам, как личную обиду, ибо виконт д'Обетер намеревался передать свою должность Анри де Бурдейю, сыну Андре, лишь когда тот станет достаточно взрослым, чтобы ее отправлять. В ответ на извинения короля Брантом сказал:

— Вы нанесли мне великое оскорбление — не видеть вам теперь от меня прежних услуг.

По выходе из Лувра он бросил принадлежавший ему камергерский ключ в Сену и некоторое время не являлся к королю, однако продолжал приходить на поклон к королеве-матери.

Недовольный своим властелином, недовольный Гизами, которых он упрекает в том, что они плохо оплачивают оказанные им услуги, Брантом собрался связать судьбу с герцогом Алансонским, человеком честолюбивым и смелым до безрассудства, который угождал поочередно протестантам и католикам, чтобы создать себе положение и извлечь выгоду из общей анархии. Достигнув зрелости, Брантом начал замечать, что без особой пользы провел лучшие годы и ничего не сделал для своего возвышения. Довольствуясь видимостью, он пренебрег реальностью. Он страстно домогался дружбы великих мира сего, но слишком явно показывал им, что его преданность можно купить ценою улыбки и добрых слов. Он делал вид, будто пренебрегает почестями, и его поймали на слове. Он видел, однако, что его прежние сотоварищи заняли высокие посты, стали важными сановниками, а на него, всеобщего любимца, по-прежнему смотрели как на человека незначительного. После долголетних успехов у дам и множества любовных похождения он остался одиноким в возрасте, когда уже трудно связать себя законными узами и почти смешно искать легких побед. В этом мрачном настроении он вспомнил о прекрасном приеме, неоднократно оказанном ему знатными испанскими сеньорами. Зная их менее глубоко, чем французов, он снисходительнее судил их. Кастильская серьезность, столь непохожая на французскую ветреность, казалась ему доказательством прямотушия, искренности. На память Брантому пришла завидная судьба коннетабля Бурбонского, а чтобы не метить так высоко, удача де Лепелу, слуги Карла V, осыпанного милостями этого монарха и вернувшегося с ним во Францию как бы для того, чтобы бросить вызов своему прежнему повелителю, и множество других блестяще вознагражденных измен, и он признается, что вознамерился предложить свои услуги Испании в ее борьбе против Франции. По правде говоря, он не обольщался, полагая, будто своим вмешательством перевесит чашу весов, и, несмотря на лестное мнение о собственных достоинствах, не смел надеяться, что осмотнительный Филипп II дорого оценит его малоизвестную шпагу. Однако он много раз бывал в море и знал западные и средиземноморские порты Франции; занимаясь вооружением экспедиции Строцци в Бруаже,

он собрал много ценных сведений о состоянии нашего морского флота и портовых городов; он собирался заново изучить слабые точки в обороне французского побережья и, выработав собственный план внезапного нападения, предложить его испанскому правительству. Для переезда через границу он хотел испросить соизволения короля, но думал обойтись и без него, если ему будет отказано. Несчастный случай, происшедший, по-видимому, около 1584 года, — о нем речь впереди — спас Брантома от этой измены. Лошадь «со злосчастливым белым пятном», не предвещавшим ничего хорошего, — суеверие, сохранившееся и поныне среди наших кавалеристов, которые пуще огня боятся лошади с четырьмя белыми пятнами на ногах, — опрокинулась на спину вместе с седоком Брантомом и раздробила ему бедра. Целых четыре года он провел в постели и до окончания дней остался хворым и увечным. В постигшем его несчастье он встретил преданного друга. Вдова покойного брата Андре стала его постоянной сиделкой и окружила больного неусыпными заботами. Наш автор, который часто забывает о сделанных им признаниях, чтобы похвастаться своими добрыми или дурными поступками, ставит себе в заслугу, что всегда был бдительным стражем возле г-жи де Бурдей, помешал ей вторично выйти замуж и передать в чужие руки состояние, весьма значительное по тем временам. Не совсем ясно, однако, кто из них кого оберегал и с чьей стороны была проявлена преданность семье.

После случившейся с ним беды Брантом, видимо, безвыездно поселился в своем аббатстве или его окрестностях. Этому вынужденному безделью мы, по всей вероятности, и обязаны оставленными им после себя объемистыми трудами. Прикованный к одру болезни, он находил облегчение в том, что записывал свои воспоминания и мысли. Он разнообразил эти занятия многочисленными процессами против родственников, соседей и монахов своей обители. Будучи яростным сутягой, он завещал эти судебные дела наследникам, поручая им беспощадно преследовать его противников. За исключением переписки с несколькими светочами ума и знаменитостями того времени, в том числе королевой Маргаритой — перед ней он благоговел, — Брантом совершенно отошел от общества, в котором вращался всю жизнь. Как явствует из его соб-

ственных произведений и из колючих строк некоего писателя-кальвиниста, посвященных ему, он втайне сочувствовал Лиге и, быть может, по-своему ей служил; во всяком случае, д'Обинье отводит ему незаметную роль — роль носителя колокольчиков в католической процессии, состоявшейся во время осады Парижа. Умер Брантом 15 июля 1614 года в полной неизвестности, причем наследники не выполнили ни одного пункта его завещания, в котором он повелевает опубликовать свои рукописи, а люди, по всей вероятности, получившие их, даже не подумали снабдить их комментариями, а между тем они имели бы для нас огромный интерес.

Сказанного о жизни Брантома достаточно, чтобы мы отнеслись снисходительно к его творчеству. Следует приписать увечью автора горечь некоторых его размышлений, а веселость, которая почти всегда берет у него верх, заслуживает тем большего внимания, что болезнь не могла ее победить.

Несмотря на склонность изображать в выгодном свете относящиеся к нему факты, Брантом, думается нам, поразительно искренен: вероятно, он принадлежал к разряду людей, которые испытывают потребность говорить о себе и в упоении от собственной osoby рассказывают без разбора и хорошее и плохое; они просто неспособны что-либо скрыть, ибо любое событие с их участием кажется им достойным памяти потомков.

Приведем тем не менее в похвалу Брантому два характерных штриха. Как известно, он выпустил книгу о дуэлях — он питал явную слабость к этому предмету. Но он ни разу не упомянул в ней о том поединке, в котором он участвовал: в то далекое время это могло показаться чудачеством. По-видимому, он отличался учтивостью и мягкостью — качествами, весьма редкими при тогдашнем французском дворе.

Он писал пространно и сочувственно о любви и любовных похождениях, но никогда не намекал на собственные победы; надо быть признательным ему за эту скромность. Кроме того, говоря о современницах и их приключениях, он проявлял неизменную сдержанность, правда, не в выборе слов, но в изложении фактов, дабы никто не узнал действующих лиц многочисленных скандальных историй, которые он рассказывает. По всей вероятности,

он писал лишь для немногих, хорошо осведомленных лиц, и хотел освежить эти приключения в их памяти, но отнюдь не намеревался содействовать распространению скандальных слухов.

Величайший упрек, который грядущие поколения могут сделать Брантому, относится не к факту измены, а к его намерению изменить отечеству. Не следует все же судить его с той строгостью, которой заслуживал бы француз, продавшийся врагу ныне. В том веке дворяне претендовали еще на полную независимость и считали себя вправе менять сюзерена, если были недовольны властелином, доставшимся им только потому, что они здесь родились. В XIV веке в Кастилии для *ricos omes* была установлена даже специальная процедура, позволявшая им «перерождаться», то есть менять короля и родину. Хотя во Франции подобного обычая никогда не существовало, стоит ли, однако, удивляться тому, что чувство долга сильно ослабело у французов в конце XVI века, после трех междоусобных войн, во время которых обе враждовавшие партии призывали чужеземные войска, чтобы улаживать свои распри. Многие тогдашние дворяне, люди с незапятнанной честью, став во главе немецких рейтаров, рубили головы соотечественникам и могли даже скрестить шпагу со своим королем и принцами крови. Будучи в Лионе, на службе у Генриха III, Брантом слышал гордый ответ барона де Монбрена, главы дофинских протестантов. «Мы находимся в состоянии войны, — сказал он, — а когда я сажу в седле, я уже не признаю приказов короля». Заметим также, что в XVI веке слово «родина» было едва ли не пустым звуком; люди или совсем не знали этого отвлеченного понятия, или смешивали его с любовью к монарху, а ведь королями тогда были Карл IX и Генрих III.

Мнения Брантома о вещах и людях часто дают читателю повод сравнить его эпоху с нашей. Во всяком случае, не надо судить о поступках людей XVI века так, как мы стали бы судить о поступках современников. Мы не думаем, как это думают иные, что наши предки были гораздо лучше нас; мы не считаем также, что намного превосходим их с точки зрения нравственности. Нет, вероятно, народа, который меньше менялся бы, чем французы; их портрет, сделанный Цезарем, все еще схож, и

если вспомнить время, предшествующее временам Цезаря и Посидония, то разве галлы, победители при Аллии, не были нашими предками? Чтобы опровергнуть самонадеянные утверждения Нибура, переделавшего на свой лад римскую историю, следует прочесть у Тита Ливия подробное описание взятия Рима. Древние летописцы, на которых он ссылается, не занимались сочинительством, а с величайшей точностью отмечали характерные черты нашего народа, который легко переходит от восторга к насмешке, от преклонения к ярости и брани. Разве не по-французски вел себя передовой отряд Брена, остановившийся в почтительном изумлении при виде престарелых сенаторов, сидевших в своих курульных креслах? Но тут прибежал молодой забавник, истый сын Лютеции, и стал дергать стариков за бороды. Остальное известно.

Мы встречаем у Брантома преемников этого дерзкого мальчишки, и потомство его еще велико. У французов есть хорошие и дурные стороны, но хуже всего, когда они остаются без руководителя, способного указать им благородную цель. В XVI веке Франции не хватало такого руководителя, и хотя в те времена не было недостатка в законах, никто не следил за их применением. Чувство неуверенности заставляло каждого заботиться о собственной безопасности, и это объясняет, не оправдывая их, большинство преступлений той эпохи. Иметь врага значило постоянно рисковать жизнью, и, чтобы избежать ловушки, каждый старался опередить противника. Дуэль, которая входила в моду, заменяя тяжбы и узаконенные королем побоища, могла бы вытеснить эту практику убийств. Но, как явствует из рассуждений Брантома, придворные казуисты были весьма снисходительны по части дуэлей, да и сам писатель, человек на редкость щепетильный в вопросах чести, не слишком осуждает дуэлянта, который всеми средствами обеспечивает себе победу. Ясно одно: в конце XVI века дуэлянты дрались не так, как они дерутся теперь — ради желания доказать, что честь для них превыше жизни; они дрались, чтобы отомстить врагу или отделаться от него.

Эта дикость нравов развивала неукротимую личную энергию; она порождала крепкие дружеские связи, но сводила на нет общественное мнение. Общество делилось

на небольшие крепко спаянные группы, причем у каждой из них имелся свой покровитель. Нуждаясь друг в друге, и руководитель и руководимые не знали иного преступления, кроме того, которое могло повредить их товариществу. Считалось предательством покинуть виновного друга и чуть ли не долгом помогать ему в преступнейших предприятиях. Мы не говорим уже о дуэлях, на которые люди шли как на праздник вместе с секундантами и посторонними лицами, храбро убивавшими друг друга, хотя они и не были причастны к ссоре. Во времена Брантома самый захудалый дворянин мог найти при желании одного или двух приятелей, чтобы подстеречь на перекрестке человека и проломить ему череп. Окружавшие не находили в этом ничего предосудительного; самое большее, можно было услышать слова сожаления об убитом, а порой и похвалу отваге убийц, если они нападали на заведомого храбреца.

Сношения между Францией и Италией, оживившиеся в начале XVI века, также имели пагубное влияние на нравы. Говорят, что слава, которой пользовались итальянские вина, побудила наших предков галлов, изрядных пьяниц, перебраться через горы. Для французов того века Италия таила в себе и другие искушения. Прибыв в долину По, солдаты Карла VIII, Людовика XII и Франциска I были, по-видимому, не менее приятно удивлены, чем воины Брена. Они нашли там все соблазны, которые природа, искусство и утонченная цивилизация могут предоставить людям, жадным до наслаждений, тем более, что они приобщались к ним впервые. Сравнительно легкий язык, многочисленные диалекты которого незаметно переходят в диалекты наших южных провинций, способствовал установлению связей между победителями и побежденными. Италия стала поставщицей мод; туренские и нормандские дворяне носили шапки гвельфов и гибеллинов, заказывали доспехи в Милане, покупали лошадей в Регнии или Полезине, они строили лоджии в своих северных замках, рискуя погибнуть там от холода. Это зло было еще не слишком велико, но восторженные поклонники всего итальянского переняли вскоре даже нравы тех, кого они взяли за образец. Между тем на Апеннинском полуострове царил страшная неразбериха, власть принадлежала там злодеям и хитрецам. На

Италию обрушилось величайшее бедствие, которое только может испытать страна,— она стала полем битвы варваров и защищалась лишь с помощью чужеземного оружия. Итальянцы обладали всеми пороками рабов и кичились этим. Их политические деятели учились искусству управлять народами, проявляя величайшее почтение к логике и величайшее пренебрежение к морали. «Все люди злы,— говорили они.— Было бы глупо вести себя с ними так, словно они честны. Главное — быть хитрым и не попадать впросак. Если вам нужно отделаться от докучного человека, отправьте на тот свет и его семью, дабы над вами не тяготела угроза мести; отделайтесь от них в один и тот же день; каково бы ни было число жертв, важно одно — нанести удар...» Кроме Макиавелли, в Италии были и другие политики, вероятно, не столь красноречивые, зато прекрасно применявшие его теории на практике; то были мелкие тираны, которые занимали убийц и занимались химией для приготовления ядов. Впрочем, люди умные, покровители искусств и литературы, они управляли своим маленьким двором с восхитительной изысканностью и великолепием. Таковы были итальянские принцы и синьоры, с которыми столкнулись наши французы. А так как мы все прощаем разуму, то мы пришли в восторг от этих чудовищ из-за их пленительного обличья. Примером тому служит славный Рыцарь без страха и упрека, избравший дамой своего сердца весьма порочную особу, а именно — Лукрецию Борджа, герцогиню Феррарскую; он всегда носил ее цвета — серый и черный и любил ее рыцарски, платонически. Не все французские рыцари были столь наивны, как герой Баярд, многие вывезли из Италии более вещественные воспоминания, чем воспоминания о платонической любви. С ними случилось то, что случается в наши дни с первобытными соседями европейцев: желая приобщиться к цивилизации, они восприняли неведомые им доселе пороки.

Общение с итальянцами заметно поколебало и веру наших предков, простую, искреннюю в своей непосредственности. Такие римские первосвященники, как Александр VI и Юлий II, оказались для нее более опасными противниками, чем Лютер и Кальвин. Большинство французов сменило старые верования на новые суеверия,

но под влиянием итальянских философов-скептиков образовалась небольшая группа вольнодумцев, которая, вооружившись разящей галльской насмешкой, внесла полное смятение в умы.

Входя в соприкосновение в результате войны, два народа обмениваются не столько добродетелями, сколько пороками, — ведь плохому легче подражать, чем хорошему. Но чужеземные влияния бессильны уничтожить национальный характер, и он всегда проявляется под личиной, заимствованной по собственной прихоти или по воле случая. Как ни старались наши политики изучить Макиавелли и применить на практике уроки, преподаваемые им в *Государе*, минутная оплошность губила плоды многодневных стараний. Терпение и осторожность, страстность, ненависть и хитрость — эти добродетели и пороки итальянцев были нам чужды. Честный пикардиец или парижанин, побывавший по ту сторону Апеннин и Альп, привозил с собой *acqua tofana* и стеклянные стилеты. Обидевшись на шутку соседа, он принимал его за врага и вытаскивал из сундука эти орудия смерти. Но прежде всего он раздражался угрозами, оповещал о своих намерениях весь квартал, и, однако, вечером недруги забывали обходить углы улиц *alla largo* *, как советует Бенвенуто Челлини; они встречались среди бела дня, дрались с остервенением или шли в ближайший кабачок опрокинуть вместе стаканчик.

Заядлый путешественник и ярый поклонник иностранных дворов, Брантом сделал все возможное, чтобы привить себе изящные пороки, и все же остался французом старого закала, наделенным всеми недостатками своей страны и своей провинции, в сущности, славным малым, хотя и несколько равнодушным к добру и злу. Для нас, ищущих в произведениях Брантома правдивую картину нравов XVI века, эта беспечность имеет свои преимущества — она служит залогом достоверности его портретов.

Следует сказать несколько слов о стиле, или, точнее, о языке Брантома. Он писал, по его словам, как бог на душу положит, отнюдь не стремясь к изысканности, и, вероятно, считал себя, как и многие французы, способ-

* Подальше (итал.).

ным сочинять книги, не будучи литератором. На наш взгляд, он пользовался языком, принятым при дворе, двор же вел почти кочевой образ жизни, его посещало множество иностранцев, и словарь придворных кругов был богаче и менее чист, чем в более позднюю эпоху. Говоря о влиянии Италии, мы не упомянули о ее воздействии на французский язык. Всякий грубый, примитивный диалект жадно заимствует слова более культурного, отшлифованного языка. XVI век произвел революцию во французском языке. Эрудиты вводили в него множество латинизмов и даже эллинизмов, чуждых галльскому духу, тогда как войны приносили из-за Альп массу новых слов, по большей части искаженных, из которых образовался своеобразный жаргон, тотчас же усвоенный светским обществом. Потребовались здравый смысл и насмешливое остроумие таких писателей, как Рабле и Анри Этьен, глубоко проникших в классическую древность и в то же время живших среди народа — превосходного хранителя языка, чтобы преградить доступ этому двойному нашествию педантизма и варварства:

К своему итальянизированному французскому языку Брантом примешивает еще обрывки испанских фраз, а главное, множество гасконских и перигерских слов, ибо ни путешествия, ни пребывание при дворе не отучили его от детских привычек. Гасконское наречие далеко не самое легкое в литературном наследстве Брантома, и мы не вполне уверены, что оно всегда было правильно понято.

ПИСЬМО Ж. ШАРПАНТЬЕ

Париж, 1863 г.



милостивый государь!

Роман, который Вы хотите опубликовать, вызвал в России целую бурю. Успех был обеспечен. Не было недостатка ни в пристрастной критике, ни в клевете, ни в нападках печати; не хватало, быть может, только церковного отлучения. В России, как и везде, нельзя безнаказанно говорить правду тем, кто о ней не спрашивает. В этом небольшом произведении г-н Тургенев показал себя, по обыкновению, проникательным и тонким наблюдателем; однако избрав предметом изучения два поколения своих соотечественников, он совершил ошибку, не польстив ни одному из них. Каждое из поколений находит портрет другого очень схожим, но кричит, что его собственный портрет является карикатурой.

Так, «рыси к ближнему, кроты к самим себе», мы признаем похожими только фотографии наших соседей. Отцы протестовали, а дети, еще более обидчивые, громко возопили, увидя свое воплощение в положительном Базарове.

Вы знаете, милостивый государь, что Россия уже давно заимствует у Запада моды и идеи (а идеи — часто тоже своего рода моды). Франция посылает ей одежду и ленты. Германия снабжает идеями. Не так давно в Санкт-Петербурге мыслили по Гегелю, в настоящее время в большой славе Шопенгауэр. Адепты Шопенгауэра

проповедают действие, много говорят и мало делают, но заявляют, что будущее принадлежит им. У них имеются свои социальные теории, ужасающие сторонников старого порядка: они предлагают — ни мало, ни много — уничтожить все существующие установления. По правде говоря, я думаю, они не опасны: во-первых, потому что они не злее своих отцов; во-вторых, они в большинстве своем ленивы; наконец, до настоящего времени народ, этот единственный творец длительных революций, ничего не понял в их теориях, а они сами никогда не заботились о его воспитании.

По моему мнению, беспристрастие г-на Тургенева является одним из достоинств его книги. Он не объявляет себя судьей современного общества, он рисует его таким, каким он его видит. Без всякой предвзятости он отмечает его смешные стороны, его странности, его страсти. Он показывает, что недостатки меняются, но страсти неизменны. Несмотря на усилия всех философов и реформаторов, сердце человеческое не изменилось с того времени, когда первый поэт, первый романист возымели счастливую мысль его изучить. Социалист г-на Тургенева влюбляется в важную даму, забавляющуюся его неловкостью, а его ученик, воспитанный в презрении к браку, женится на провинциалке, которая будет его водить за нос и сделает вполне счастливым.

Перевод, который Вы мне показали, кажется мне очень точным; впрочем, я не уверен, что он вполне передает живой и колоритный стиль г-на Тургенева. Переводить с русского на французский — дело нелегкое. Русский язык создан для поэзии, он необычайно богат и отличается тонкостью оттенков. Вообразите, что может извлечь из подобного языка искусный художник, наблюдатель и аналитик, и какие непреодолимые трудности представляет он для переводчика. В конце концов, если портреты г-на Тургенева и теряют для нас некоторые из своих блестящих красок, зато неизменно сохраняется их точность и прелесть непосредственности, свойственные всем произведениям, написанным с натуры.

Примите и проч.
П. Мериме.

ПЕРЕПИСКА ГОСПОЖИ ДЮ ДЕФАН С ГЕРЦОГИНЕЙ ДЕ ШУАЗЕЛЬ, АББАТОМ БАРТЕЛЕМИ и др.

ВВЕДЕНИЕ МАРКИЗА ДЕ СЕНТ-ОЛЕР



овременники относились к г-же дю Дефан, по-видимому снисходительно, — известно, что XVIII век не страдал ригоризмом. Теперь же, мне думается, мы к ней слишком суровы. Признавая ее ум (в этом ей трудно отказать), ее считают эгоистичной, пресыщенной, скучающей — а ведь это то же самое, что назвать ее скучной, — уставшей от жизни и боящейся смерти. Во Франции больше, чем где бы то ни было, человека принимают за того, за кого он сам себя выдает. Вместе с тем мы склонны к преувеличениям, и не столько ради сокрытия истины, сколько ради красного словца, как это делал в свое время брат Жан, прибегавший к клятвам. Говорите о себе дурное — вам поверят; говорите о себе хорошее — вам и в этом случае поверят, только на сей раз вам придется проявить больше выдумки. Многие приняли за чистую монету иногда слишком, по правде говоря, навязчивые жалобы бедной слепой, которая в своей переписке, естественно, часто говорила о себе, и не оценили ее верности друзьям, ее неизменных и искренних привязанностей, которые она умела сохранять, мужества, с которым она скрывала свои страдания, чтобы удержать около себя, несмотря на старость и болезни, легкомысленное и жадное до развлечений общество. Среди людей, охотно прибегавших к софизмам, ее отличал здравый смысл; среди тех, кто был склонен все высмеивать, даже своих друзей, ее выделяло стремление находить во всем хорошее. Нужно быть очень умным человеком, чтобы

без любви к парадоксам и к злословию стяжать себе славу интересного собеседника.

Я благодарен маркизу де Сент-Олер за то, что он взял в свои руки дело г-жи дю Дефан, и я уверен, что он уговорит публику отменить столь необоснованный приговор. Что касается меня, то, признаюсь, маркиз уже обратил меня в свою веру: прочитав первые тома нового издания переписки, я изменил свое суждение о г-же дю Дефан. Маркиз де Сент-Олер не старается оправдать ошибки и сумасбродства своей клиентки, не старается скрыть пороки ее времени и ее общества, он не произносит защитительной речи — он заставляет говорить свидетелей и тщательно проверяет их показания. Он поступает, как английские адвокаты, которые не стремятся покорить судью и суд своим красноречием, — они раскрывают перед ними истину. Введение к переписке содержит интересные заметки об авторах писем и представляется мне образцом спокойной, беспристрастной, убедительной аргументации. Не знаю, удастся ли мне уговорить читателя познакомиться с введением, прежде чем он начнет читать самые письма, но они станут для него еще интереснее, если он лучше узнает членов этого милого кружка. Введение, несмотря на свою краткость, достаточно обстоятельно и дает все необходимые сведения. Сент-Олер тщательно отобрал суждения и факты; излагая их, он старается быть ненавязчивым и этим выгодно отличается от большинства издателей, которые в рассказе о любом авторе видят лишь повод, чтобы поговорить о себе.

Как мне кажется, близкое знакомство с друзьями г-жи дю Дефан поможет нам лучше понять ее самое. Благодаря Сент-Олеру мы можем теперь по достоинству оценить аббата Бартелеми и герцогиню де Шуазель. Приобрести и сохранить дружбу таких людей может только тот, кто их достоин.

Чтобы правильно понять характер и самобытный ум аббата Бартелеми, необходимо прочитать в собрании его научных работ краткую, блестяще написанную автобиографическую заметку, к сожалению, напечатанную инкварто. Все мужчины перед окончанием колежа и большинство женщин читали, кто — по собственному желанию, кто — по обязанности. *Путешествие юного*

Анахарсиса, но никому и в голову никогда не приходило, что его автор — обаятельный мыслитель и светский человек. Разве можно занимательно рассказывать о науке? Разве не покажется странным недоразумением желание автора облечь в художественную форму научные изыскания и вести читателя в мир, где постоянно возникают споры, вести и говорить ему на манер путешественника, вернувшегося с истоков Нила: «Я сам это видел»? Это не вызывает особого доверия к автору, более того: легкость формы заставляет усомниться в значительности содержания, что и произошло с *Путешествием юного Анахарсиса*. Аббат Бартелеми — один из лучших эрудитов своего времени, прекрасный эллинист, нумизмат, знаток многих восточных языков. Однако его научный авторитет далеко не соответствует его познаниям. Многие считают его всего-навсего школьным педантом, пообтесавшимся в хорошем обществе. Уж он-то был педантом меньше, чем кто-либо другой. Он не искал сближения с высшим светом — свет сам заискивал в нем. Человек тонкого и проницательного ума, жизнерадостного и ровного нрава, человек положительный, он смотрел на свои научные занятия как на развлечение, как на удовлетворение своей любознательности; их значение он отнюдь не преувеличивал. Напротив, он, должно быть, испытывал смущение, рассуждая о греческих авторах и финикийских надписях в присутствии государственных деятелей, державших в руках судьбы Европы. Он посещал великих мира сего не потому, чтобы его привлекало их величие, а лишь потому, что он ценил дружбу и внимание, которое они ему оказывали. Опала герцога де Шуазеля была воспринята аббатом Бартелеми с облегчением, она способствовала их сближению: высланный министр был уже не покровителем, а просто другом. Аббат был человек гордый, он никогда бы не принял благодеяний от человека, которого он не любил. Он писал в упомянутой мною краткой автобиографии о гостеприимстве герцога де Шуазеля, которым он воспользовался в Риме: «В ту пору философия еще не открыла мне, что такое человеческое достоинство, и я рассыпался в благодарностях, забывая о том, что покровитель сам отдается под покровительство того, кто оказывает ему честь, принимая его благодеяния». Когда герцог был

вынужден оставить свой пост генерал-полковника в Швейцарии, аббат Бартеlemi, служивший при нем секретарем, без колебаний и даже с радостью отказался от своего места, оба друга оказались в равном положении, и их дружба окрепла еще более. Письмо Бартеlemi к г-же дю Дефан — пожалуй, единственное, в котором звучат тщеславные нотки, — раскрывает сущность отношений аббата к герцогу и герцогине де Шуазель. «Мои чувства к ним заставили меня распрощаться с карьерой, — пишет он. — Вы знаете, что я многим обязан их доброте, но Вы и не подозреваете, что я пожертвовал ради них своим временем, своей известностью, своим досугом, главное — именем, которое я мог бы составить себе в своей области, — это значит, что я сделал для них все, что только мог. Иногда я вспоминаю об этом и жестоко страдаю, но так как побуждения у меня были благородные, то я гоню прочь тяжелые мысли, — значит, такая у меня судьба» *.

Герцог де Шуазель, по-видимому, производил на всех, кто был с ним знаком, очаровательное впечатление, и оно заставляло милого аббата отрывать от своих греков и финикийцев, чтобы подписывать платежные ведомости и пропуска для проезда по Швейцарии, и оно же заставило его последовать за герцогом в изгнание, в Шантелу. В герцоге странным образом сочетались достоинства и недостатки, я бы сказал, пороки его века и вместе с тем в нем, пожалуй, в наиболее законченной форме проявились французская куртуазность, изящество и элегантность. Душа у него была добрая, злых чувств он никогда не испытывал, был преданным другом, всегда готов был оказать услугу даже людям неблагодарным. Неутомимый и в труде и в развлечениях, он принадлежал к числу тех, кого Фортуна одаряет щедро, потому что он за ней непрерывно гнался, пренебрегая опасностью, полный безграничной веры в себя. Всю жизнь Шуазель был очень счастлив. Даже его опала, как триумф для римлянина, явилась лишь завершением его блестящей карьеры.

Величайшее счастье, которого он, пожалуй, и не заслужил и которое он, боюсь, недостаточно ценил, судьба

* Письмо от 18 февраля 1771 г. (Прим. автора).

послала ему в лице его жены, одной из самых обаятельных и порядочных женщин того времени. Малейшее подозрение никогда не касалось ее в этом развращенном до мозга костей обществе. Она не была ханжой, она не была нелюдимкой, она постоянно вращалась в высшем свете (а что могло быть хуже этого?), и все же о ней можно сказать *Puris omnia pura* *. Всю свою долгую жизнь герцогиня де Шуазель страстно любила мужа, и эта любовь, по словам г-на Дроза, «к счастью, не выродилась в дружбу». Снисходительная к слабостям мужа, счастливая и гордая его успехами, она всегда готова была принести себя в жертву ради него. Когда герцог де Шуазель умер, оставив, несмотря на огромные долги, щедрые дары своим старым служителям, деловые люди советовали герцогине воспользоваться правом супруги. «Конечно,— отвечала она,— я воспользуюсь своим правом, чтобы с честью выполнить все обязательства мужа». Через несколько дней после похорон она удалилась в монастырь и подвергла себя суровым лишениям, чтобы иметь возможность удовлетворить кредиторов и лиц, упомянутых в завещании. Герцогиня вышла замуж совсем юной, она получила весьма скромное образование, как, впрочем, все девушки того времени: умела делать реверанс, бренчать на клавесине и писать милые записочки, не соблюдая правил орфографии, но она всю жизнь занималась самообразованием и старалась расширить круг своих умственных интересов. Это чувствуется в ее письмах, полных благородного любопытства ко всему, что возвышает душу. Не думайте, что она усваивала чужие мнения и повторяла уроки своих учителей. В то время, когда почти каждый салон имел своего философа, выступавшего в роли наставника, герцогиня де Шуазель мыслила самостоятельно. Ни ирония Вольтера, ни патетика Руссо не действовали на ее здравый ум и на ее чуткую душу. Она трезво судила о людях и о жизни, не подчиняясь ни моде, ни предрассудкам. У нее был врожденный вкус ко всему прекрасному и возвышенному. Эта благородная натура заставляла любить себя с первого взгляда, и каждый потом находил в ней все новые и новые достоинства и любил ее все сильнее.

* Для чистых все чисто (лат.).

«Г-жа де Стенвиль (герцогиня де Шуазель),— пишет аббат Бартелеми,— в восемнадцатилетнем возрасте пользовалась глубоким уважением, которое обычно достигается лишь многолетней безупречной жизнью. В ней все вызывало симпатию: ее молодость, внешность, хрупкость, живость в речах и поступках, желание нравиться (а для того, чтобы это желание исполнилось, ей не нужно было прилагать особые усилия, причем о своих успехах она сообщала мужу, достойному предмету ее поклонения и нежности), крайняя чувствительность, делавшая ее счастливой или несчастной — в зависимости от того, радовались или горевали ее окружающие, и, наконец, душевная чистота, не позволявшая ей ни в ком подозревать дурное. Поражает в ней это сочетание простоты с ясностью ума. Она размышляла уже в те годы, когда обычно только еще начинают думать».

Если судить об обществе XVIII века по переписке г-жи дю Дефан, то следует признать, что никогда еще не было более приятных людей. Я не собираюсь сравнивать это общество с нынешним, я ограничусь лишь тем, что подчеркну некоторые преимущества XVIII века перед XIX. Во-первых, тогда политика еще не воздвигала барьеров, существующих теперь и мешающих умным людям встречаться запросто. Быть может, упадок галантности, которую оплакивали старики уже в дни моей молодости, сделал менее приятным общение с людьми. Но что, по-моему, нанесло сокрушительный удар салонам,— так это стремление к роскоши, которого не знали наши отцы. Раньше званые вечера и ужины, в былое время такие веселые, были только предлогом для беседы. Теперь же зовут гостей для того, чтобы показать, как много хозяева тратят. Салоны переполнены, нельзя ни поговорить, ни потанцевать, в столовой духота, но зато цветы, серебро, освещение *a giorno* *. А между тем герцог Паскье мне рассказывал, что не было ничего скромнее ужинов в его время: несколько свечей, два жарких, вино, обычно одного сорта,— и все, но зато в разговоре принимали участие все, каждый, развлекая других, старался внести в него свою лепту, никто не стремился удивить богатством, но все старались быть приятными собеседниками.

* Буквально: «как днем», ярко (итал.).

АЛЕКСАНДР ПУШКИН



I

Пушкин и Байрон ушли из жизни в расцвете лет и таланта, но уже испытав все радости, какие только может дать литературная слава. Как тот, так и другой оказали огромное влияние на развитие литературы своей родины. Подражатели нанесли им немалый вред, однако потомки подтвердили суждение современников; бесспорная слава обоих теперь всеми признана, и ни один критик не осмелится зачеркнуть их имена, сияющие среди имен величайших поэтов. Произведения их имеют некоторое сходство, сходством отличаются также и их характеры. Обоим поэтам свойственны презрительное высокомерие, отвращение к светским условностям, оба отчасти склонны к преувеличениям, стремятся к необычному, считают прекрасным все исключительное или ужасное. Их веселость шумлива, немного искусственна, порою неудержима; она подобна радости пророка, видящего исполнение своих зловещих предсказаний.

Всем известны их «преступления» против общества. Лорд Байрон ненавидел и трагически воспринимал лицемерие (*cant*) светских салонов. Пушкин, как говорят, мечтал о свободе, к которой его страна была еще не подготовлена. Тем не менее салоны, в которых Байрон слыл безнравственным, слыл исчадием ада, льстили его тщ-

славию как своим негодованием, так и своим восхищением. Пушкин, враг деспотизма, нашел, однако, в лице императора Николая столь же благожелательного цензора своих произведений, каким был Меценат для Горация¹. Современники побаивались обоих поэтов и заискивали перед ними. Они же, проявляя то подозрительность, то безрассудную храбрость, заставили признать свою гениальность и, как два деспота, полные презрения, царили над своими подданными.

Можно отметить черты сходства и в их манере письма и, если можно так выразиться, в их поэтическом языке. Стиль обоих отличается лаконизмом: подобно Персию, они стремятся заключить в свои стихи больше смысла, нежели слов. Тем не менее лорд Байрон, рожденный в стране, привычной к ораторству, где с речами выступают по всякому поводу и где часто пишут так же, как говорят, никогда не затруднял себя выбором мыслей, теснившихся в его воображении. Несмотря на то, что он всегда дает им сжатое словесное выражение, он никогда их не ограничивает и зачастую нагромождает одну мысль на другую по мере их возникновения, так что главная идея, переданная вначале очень четко, расплывается, принимая менее удачную форму выражения. Слишком мало доверяя уму и воображению читателя, он хочет ему все объяснить; он комментирует самого себя, в лучшем случае делает нас, так сказать, свидетелями процесса своего творчества, вместо того чтобы представить уже готовый его результат. Напротив, стихи Пушкина не менее сжаты по форме, чем по существу, и всякое его стихотворение является плодом глубокого размышления. Как Пандар, гомеровский лучник, он долго разыскивает в своем колчане именно ту прямую и острую стрелу, которая неминуемо попадет в цель. Его простота и непринужденность — результат утонченного мастерства. Байрон теряет часть

¹ Пушкин жаловался на цензуру. Николай взял на себя чтение и цензуру его творений. У одного из моих друзей есть список драмы *Борис Годунов* с карандашными пометками императора, который ограничился лишь несколькими литературно-критическими замечаниями, большей частью справедливыми. (Прим. авт.)

своей силы, неумело растрачивая ее. Пушкин же всегда приберегает ее для решительных ударов.

Пушкин сумел преодолеть большую трудность, которая затем превратилась для него в живой родник. Он, можно сказать, создал язык для своей поэзии. Для него вопрос о том, можно ли писать поэмы на русском языке, еще был не решен; целая школа заслуженных критиков, исходя из «уважительных причин», настаивала на том, что в поэзии надлежит пользоваться церковнославянским языком, то есть языком церковных книг, богослужения и проповедей. Непонятный «православным христианам» (так русские называют своих единоверцев), церковнославянский язык отличается от разговорного языка известным ароматом благородства и торжественности, объясняемым главным образом необычностью его применения. К этому необходимо добавить, что по времени возникновения и по своему происхождению русский язык не является производным от церковнославянского, как, например, новогреческий язык по отношению к древнегреческому; это два языка, возникшие из общего источника, две ветви, растущие из одного ствола и развивающиеся совершенно самостоятельно, так же как французский и итальянский языки, которые, исходя от латыни, в своем развитии следовали совершенно различным законам. Некий генерал Шишков, которому приписывают авторство красноречивых прокламаций, призывавших в 1812 году русских к защите своей земли, был главным пропагандистом церковнославянского языка; в стране, где патриотизм обычно смешивается с религиозным рвением, он находил в его защиту убедительные аргументы. Несмотря на талант, который проявил генерал Шишков, отстаивая права церковнославянского языка, русский язык все же восторжествовал — и именно благодаря Пушкину. Можно сказать, что Пушкин разрешил этот вопрос подобно греческому философу, который, двигаясь сам, опроверг отрицание движения. Со времени Пушкина стихи пишутся только на разговорном языке.

В России почти нет простонародных наречий; за исключением украинского языка, основного языка Украины, все московские провинции пользуются одним и тем же языком. Крестьяне не делают грамматических ошибок

и зачастую говорят правильнее, нежели дворяне, которые в силу обычая широко пользоваться французским языком допускают в своей речи много галлицизмов и иных чуждых оборотов. Богатый, звучный, живой, отличающийся гибкостью ударений и бесконечно разнообразный в звукоподражаниях, способный к передаче тончайших оттенков, наделенный, подобно греческому, почти безграничной творческой мощью, русский язык кажется нам созданным для поэзии. Рифма — это чужеземное нововведение — бесполезна в языке, где каждое слово имеет отчетливый ритм, или в языке народа, который говорит — словно поет. Но в русском языке рифма всегда легка, а благодаря сочетанию с прозодическим ударением она никогда не становится помехой мысли. Прибавим к этому, что инверсия, которой иногда требует рифма, не затемняет смысла, потому что связь слов во фразе определяется не только их порядком, но прежде всего особыми окончаниями. Поэтому в русском языке не только возможны, но и применяются все стихотворные размеры. Жуковский перевел повесть *Ундина* древним гекзаметром; другие пользовались ямбическим или нашим александрийским стихом; но более всего славянскому гению свойственно стихотворное выражение в восьмистопном ямбе. Этим размером написано большинство старых народных стихов. Они не рифмованы. В настоящее время употребление рифмы уже освящено обычаем; в стихе, так же как и у нас, применяется правильное чередование мужской и женской рифм. Я называю мужской рифму, несущую ударение на последнем слоге; женской — рифму, в которой ударение падает на предпоследний слог. Таким образом, «жена» (*je.nà*) — мужская рифма; «душа» (*doú.cha*)* — женская. Пушкин часто пользуется четырехстопным ямбом; он сделал этот размер, так сказать, классическим.

Создает ли большие преимущества для поэта гибкий, гармоничный и звучный язык? Будучи профаном, я не смею высказать свое мнение, но мне кажется, что в подобном случае поэты слишком часто поддаются искушению жертвовать сущностью ради формы. Поэт довольствуется звуками вместо мыслей, и ему кажется, что цель

* Мериме делает ошибку в ударении.

искусства достигнута, если он услаждает слух нескольких знатоков, сумевших оценить мелодию его стиха. Нередко случается, что совершенство какого-нибудь инструмента увлекает исполнителя и толкает его на тщательные, но бесплодные поиски. Многие поэты принимают за мысли смутные образы, и, стремясь к их утонченности, они делают свою поэзию малопонятной. Что касается меня, то я думаю, что необыкновенные качества русского языка являются косвенной причиной недостатка, частого у авторов, виртуозно им владеющих. Легкость, с которой они могут выразить мельчайшие подробности и почти неуловимые оттенки, приводит их иногда к кокетливому и жеманному изяществу, вовсе не являющемуся конечной целью искусства. Зачастую они слишком этим увлекаются. В вилле Фарнезина показывают огромную голову, нарисованную карандашом Микеланджело, который, если верить легенде, захотел дать урок Рафаэлю и научить его, что всегда следует стремиться к великому. Никто не писал красками столь великолепных арабесок, как Герард Доу, и все же он остался жанровым художником. Я настаиваю на существовании этого национального недостатка русской литературы потому, что Пушкин никогда ему не поддавался, несмотря на всевозможные соблазнительные примеры и искушения. Его трезвость, его такт в отборе основного в сюжете, умение жертвовать лишними подробностями были бы оценены в литературе любой страны, но особенно важны эти качества для русского писателя. Пушкин всегда помнил завет Горация: *Hoc amet, hoc spernat promissi corminis auctor* *.

Пушкину были известны все возможности, все удивительное богатство родного языка, но его мысль всегда выражалась в столь простой форме, что, кажется, невозможно выразить ее проще. Говорят, что, по примеру Мольера, он часто советовался со своей старой няней и пользовался лишь словами, которые встречались в разговорном языке его соотечественников, как дворян, так и крестьян.

Я слышал, что его первым литературным опытом была маленькая антирелигиозная и в достаточной мере не-

* Что отберешь, а что бросишь, обещанный труд создавая (лат.).

приличная поэма — *Гавриилиада*. Эта поэма, насколько мне известно, никогда не была напечатана; я не читал ни одной ее строки, но, по тому, что я о ней знаю, она является подражанием *Войне богов* Парни. Легкие, звучные стихи, описания, полные огня и юношеской дерзости, все же не могли оправдать вольность сюжета и исполнения. Надо помнить, что Санкт-Петербург, заимствующий свои моды у Парижа, всегда несколько отстает от него, так что богохульная поэма Пушкина стала известной читателям, когда подобное произведение во Франции произвело бы уже впечатление дурного вкуса. Она понравилась бы поклонникам сенсуалистической философии, проникшей в высший свет во времена Екатерины II. Однако ко времени Пушкина многие уже стали раскаиваться в своем вольномыслии. Для борьбы с революцией религия могла дать сильное оружие. Старая аристократия поняла, что ей следует проявлять большую сдержанность, по крайней мере на словах; она начала с того, что смешала и предала анафеме разные понятия: безбожие и якобинство. *Гавриилиада* создала своему автору репутацию революционера, не считая репутации безнравственного человека, что в России лишь немногим менее опасно. В течение всей жизни Пушкину пришлось чувствовать последствия своей школьной шалости. Заранее осужденный святошами, а также людьми, которым было выгодно прослыть таковыми, он, не скрывая, высказывает в своих произведениях возмущение обществом, первое суждение которого о нем, надо сознаться, вовсе не отличалось крайней несправедливостью.

Заслуженного успеха, успеха, за который ему не приходилось краснеть, Пушкин достиг около 1820 года, напечатав поэму *Руслан и Людмила*. Это тоже подражание, но более умелое, чем первое, и на этот раз подражание неоспоримым авторитетам. Пушкин вдохновлялся Ариосто и главным образом Вольтером, язык и ум которого были ему особенно близки. Подобно своим учителям, Пушкин весел, изящен, изысканно насмешлив. Покровительствуя подражательной поэзии, Аристархи того времени отнеслись к нему почти благосклонно; они увидели в этом признак скромности, достойной поощрения; очевидно, они были бы безжалостны по отношению к произведению оригинальному. Некогда в Риме никто не осме-

ливался писать по-латыни, не прикрываясь авторитетом кого-либо из греков. Санкт-петербургские ценители также требовали подражания какому-нибудь французскому или немецкому образцу. Стремление поэта обратиться к русским народным верованиям, а не к греческой мифологии, без которой в 1820 году не мыслили себе литературы,— замечательная особенность *Руслана и Людмилы*. В те времена такая попытка граничила с дерзостью,— так велика была нетерпимость классической школы.

Пушкин стремился уйти с проторенных дорог. Живя в среде аристократии, он захотел проникнуть в жизнь крестьянства. Выбираясь из классической колеи, молодой поэт рисковал попасть в одну из рытвин романтизма, и, вероятно, ему понадобился бы больший опыт, нежели тот, которым он тогда обладал, чтобы отыскать истинную поэзию среди скрывающих ее противоречивых и странных традиций. Часто бывает, что под «навозом» народных легенд скрыты истинные жемчужины, но их редко можно увидеть на поверхности. Намерение его было похвально. Но Пушкин был неправ, изучая лишь поверхностно и как бы с презрением старые предания, которые он собирался обновить. Надо сказать, что языческая мифология, которую крестьяне помнят до настоящего времени, менее известна в России, чем греческая мифология, и даже антикварию, наиболее влюбленные в национальные сказания, яснее представляют себе Юпитера и Меркурия, нежели Чернобога или Перуна. В представлениях крестьян славянский Олимп нередко смешивается с оборотнями и привидениями. Древних северных богов трудно себе представить из-за отсутствия поэтов, воспевавших их, и художников, их изображавших. Они способны еще возбудить некоторое подобие страха, но не имеют никакого определенного образа.

По правде сказать, самый мрак, окружающий этих причудливых богов, мог бы стать поэтическим, если бы его сумели воссоздать с тем подлинным искусством, которым отмечены фантастические сказки Гофмана и Гоголя. У самого заядлого скептика бывают моменты суеверного страха, и тогда все чудесное, в какой бы форме оно ни явилось, может найти отклик в человеческом

сердце. Но только вера самого автора может вызвать доверчивость читателя. Лежа вечером в постели и читая истории о привидениях, я буду вздрагивать при малейшем скрипе половицы, если только автор, подобно мне, напуган и если он верит в духов. Если же он будет стремиться показать себя человеком без предрассудков, то — прощай страх. Ошибкой Пушкина, воспользовавшегося народными преданиями для своей поэмы, было то, что он подчеркнул главным образом их комическую сторону и придал тем самым своей поэме иронический оттенок. Такова же была манера Гамильтона. Без сомнения, его волшебные сказки прелестны, но лично я больше люблю сказки Перро. Заметьте еще, что Гамильтон забавлялся фантастикой, уже довольно избитой, и лучшего употребления, пожалуй, ей нельзя было придумать. Пушкин, напротив, сделал открытие неизвестного еще мира, ибо в те времена высшее санкт-петербургское общество никогда не слыхало о славянских древностях; но он сам при этом не понял всего значения своего открытия и рассматривал его с несколько презрительным любопытством пассажира-европейца, причалившего к острову, населенному дикарями. Для того, чтобы в XIX веке говорить о чудесном, по-моему, не следует прибегать к руководству Аристо. Пушкин, однако, обратился именно к нему. Несколько лет тому назад такую же ошибку допустил Бекфорд, человек очень высокого ума. Он лучше всех своих современников знал арабский язык и изучил в совершенстве все обычаи и сказания Востока. Он вложил огромную эрудицию в роман *Ватек*; но вместо того, чтобы придать своему творению эпический и серьезный характер, которого оно было достойно, Бекфорд, мастерски подражая Гамильтону, шутливым тоном рассказывает самые мрачные и ужасные восточные легенды.

Пушкин в *Руслане и Людмиле* — недоверчивый эпикуреец, не умеющий сохранять серьезность, рассказывая свои сказки. Его великаны похожи на пугала, они теряют почти все свое достоинство, как только перестают внушать нам страх. Темной ночью ведет он своего героя через степи и приводит его к одной из древних насыпей — так называемых курганов, оставленных в долинах России каким-то неизвестным племенем. Внезапно конь Руслана встает на дыбы. Я ожидаю появления чего-то ужас-

ного, я готов разделить страх скакуна... На вершине холма лежит голова заснувшего великана. Это немного напоминает пирог, начиненный куропатками, высовывающимися головы из-под верхней корки. Чтобы разбудить великана, Руслан щекочет копьем его ноздри; великан чихает, степь сотрясается.. и тут конец всему чудесному. Кто же испугается чихающего великана? Эта фантазмагория стоит не больше, нежели картонные тигры, которых китайцы расставляли на своих крепостях, чтобы воспрепятствовать нападению наших солдат.

Позднее Пушкин нашел стиль волшебной повести, и некоторые из его произведений являются высокими образцами этого жанра. Чувствуется, как пристально он изучал и подмечал приемы народных рассказчиков. По их примеру он становится доверчивым, превращается в ребенка; он принуждает также и своего читателя испытать это превращение вместе с ним. В таких рассказах я любуюсь главным образом его трезвостью и искусством, с которым он выбирает наиболее разительные черты, пренебрегая многими подробностями, которые могли бы повредить иллюзии. В самом деле, в историях с привидениями всегда необходима некоторая неясность. Заметим также, что умение найти необходимую подробность характеризует все рассказы Пушкина.

В одном из северных замков Англии гости, расходясь после полуночи по своим комнатам и проходя по одному из коридоров, всегда слышали, что за ними следует кто-то обутый в мягкие туфли. Когда оглядывались, то никого не было видно. Эти мягкие туфли имеют особый смысл. Рассказчик чувствовал, что башмаки или сапоги не произвели бы такого же впечатления. Всякая крупная ложь нуждается в хорошо продуманных подробностях, в силу которых она становится приемлемой. Вот почему наш учитель Рабле оставил нам прекрасное правило: «Если лжешь, то пользуйся нечетными числами». Всякая иллюзия исчезает, если выбор подробностей неудачен. Один матрос рассказывал, что видел призрак капитана, убитого за несколько дней перед тем: «Он вышел из большого люка в своей треугольной шляпе...» — «Расскажи это солдатам, — перебил рассказчика один из его товарищей. — Все мы видели призраки, но никто еще не видал призрака в треугольной шляпе».

Кавказский пленник, появившийся вскоре после выхода *Руслана и Людмилы*, свидетельствует о значительном изменении манеры Пушкина. Оставив героев древности, он ищет сюжета в современности. Тем не менее он все еще полон юношеских, романтических идей, и его характеры скорее условны, нежели естественны. Кроме того, Пушкин все еще восхищается Байроном и бросается по его следам с легкомыслием неопита, присягающего *in verba magistri**. Подобно своему учителю, он изучает восточную природу; он едет на Кавказ — этот русский Алжир, терзаемый жестокой войной, конца которой ему не суждено было увидеть. Фабула поэмы очень проста и не отличается новизной. Русскому офицеру, попавшему к черкесам, помогает освободиться из плена полюбившая его чеченская девушка, которая, зная, что его сердце полно любовью к другой, бросается в поток, проводив пленного до первых казачьих постов. Чувствуются перепевы *Гяура* и второй песни *Дон Жуана*, но эти перепевы, однако, мастерски скрыты под новыми поэтическими красками. К сожалению, герои Пушкина говорят и действуют совсем как в романах. Молодая черкешенка — близкая родственница *Гюльнар* и *Гайде*; увидеть эту прекрасную особу можно лишь глазами воображения, и то в двадцатипятилетнем возрасте. Описание местности и природы сделано чрезвычайно точно, так как автор умеет не только видеть, но и выбирать подробности в расстилающемся у него перед глазами ландшафте. В этом опять-таки сказываются такт и трезвость, характерные для Пушкина.

Будучи еще очень молодым, он уже умел повелевать своим воображением, умел сдерживать себя, поправлять самого себя. Это не *Мазепа*, привязанный к дикой лошади, а всадник, прекрасно сидящий в седле, заставляющий своего коня скакать именно в ту сторону, в какую он хочет. Мне кажется, что теперь слишком многие презрительно смотрят на труд поэта и относятся с уважением только к вдохновению. Конечно, Пушкин не страдает от недостатка вдохновения, но оно контролируется у него строгим вкусом, горячим стремлением к совершенству, тонкой работой ювелира, *limal labor***.

* Здесь: словами учителя (лат.).

** Филигранной работой (лат.).

Влияние Байрона на Пушкина было продолжительным; благодаря ему возникло несколько замечательных произведений, которые я не решусь, однако, назвать подражаниями. Будет правильнее сказать, что русский поэт пробует свои силы в той же области, в которой еще до него англичанин успел проявить себя. Байрон, забывший на время свои неистовые страсти, написал перед *Дон Жуаном* прелестную поэму *Беппо*, полную английского юмора и вместе с тем правдиво изображающую итальянские нравы.

Домик в Коломне и *Граф Нулин* — чудесные картинки того же жанра, не менее изящные, чем их предшественница — байроновская поэма. Однако, кроме стихотворной формы и общего тона, Пушкин ничего не позаимствовал у Байрона. Выведенные им характеры — подлинно русские и обладают всеми чертами естественности. *Домик в Коломне* повествует о треволнениях некоей доброй вдовы, матери красивой молодой девушки, ищущей прислугу. К ней приходит наниматься молодая особа, рослая, сильная; видно, что она целовка и неумелая, зато она согласна на предлагаемое жалованье. Хозяйская дочь обещает ввести ее в курс дела и помогает ей всеми силами. Однажды в церкви вдову вдруг охватывает страх, что служанка натворит каких-нибудь бед; она спешит домой и застаёт служанку перед зеркалом за бритьем.

Граф Нулин, возвращающийся из путешествия по Европе, из-за поломки экипажа вынужден остановиться в поместье некоей молодой женщины, страдающей от пренебрежения мужа, страстного охотника. Граф очень привлекателен, молодой женщине наскучило ее невольное одиночество; понятно, что дьявол их искушает; но добродетель торжествует, и граф Нулин, желавший разыграть *Тарквиния*, не получает ничего, кроме нескольких пощечин. По этой легкой канве Пушкин набросал прелестные картины. Сюжет постоянно прерывается авторскими отступлениями. Пожалуй, и в этом можно найти подражание, но если это и так, то честь изобретения подобного рода произведений, в которых автор по поводу немногого говорит обо всем, принадлежит уже

не Байрону. Стерн в своем *Тристраме Шенди* ввел в моду этот род постоянного комментирования, пересыпающего текст самого простого рассказа. До Стерна Рабле с вдохновением и оригинальностью своего несравненного стиля создал сатиру на церковь, на двор и на все общество в духе самой прихотливой сказки.

Мне кажется, что было бы вполне возможно лишить Пушкина славы этого изобретения и, обратясь к древности, отыскать в ней подобные образцы, если бы в произведениях этого жанра самым важным, скажем, даже единственным, достоинством не являлся бы способ выполнения. Никто, кроме Пушкина, не умеет рассказывать так остроумно, никто так искусно не соединяет смелую и честную сатиру с верными и тонкими наблюдениями нравов и характеров; никто, наконец, не касается с большей осторожностью тем, которые под менее умелым пером привели бы в ужас даже не особенно пугливых читателей. Однако всюду встречаются особы проницательные, вроде ханжи у Мольера, способные обнаружить в книге скандальные намерения, которых вовсе и не имел автор. Враги Пушкина вычитывали между строк его поэм множество богохульных, безнравственных и революционных идей. Странно, что те, кто по всякому поводу выступает с высокопарными речами о пороках своего века, яростно набрасываются на произведения авторов, смотрящих так же, как и они, на человеческую природу. По правде говоря, литераторы находятся в весьма затруднительном положении. Нарисуйте людские пороки, слабости и страсти, и вас станут обвинять в желании совратить с пути истинного ваших современников. Даже невзирая на то, что вы предоставите дьяволу возможность увлечь Дон Жуана в преисподнюю, все будут убеждены, что вы проповедуете безбожие.

Некогда человеческое сердце было достоянием поэтов. Теперь же люди во всем соблюдают осторожность. Запрещено изображать некоторые страсти: например, любовь, так как она зачастую бывает безнравственна. Никогда не наделяйте какими-либо приятными качествами героя, который грешит против десяти заповедей; вам скажут, что вы подтачиваете основы общества. Уже Плутарх натворил достаточно

зла со своими так называемыми великими людьми. Главное — никогда не смейтесь над ханжами и лже-филантропами, ибо вы сразу наживете себе много врагов.

Достигнув вершины славы, Пушкин, презирая своих критиков, не пытался отвести от себя обвинение в безнравственности, которое, как говорят, даже доставило ему некоторый успех в среде простодушных добряков, ибо всегда находятся люди, стремящиеся обращать на путь истины души заблудших. Но его враги не ограничивались тем, что всячески чернили его личность, они утверждали, что его русский язык не отличается чистотой. Ведь нашелся же некий зоил, уверявший, что Гомер не знал греческого языка! Этот упрек со стороны людей, которым было бы трудно доказать свою компетенцию в этом вопросе, тем не менее, по-видимому, сильно огорчал и раздражал поэта. Несколько лет тому назад его брат с горечью говорил мне об этом. В переписке Пушкина, в его заметках о своих произведениях и в некоторых журнальных статьях ясно чувствуется его огорчение и досада. Лукиан, философ, человек большого ума, грек по происхождению и, следовательно, оратор, совершенно потерял голову, когда некий педант упрекнул его за какое-то слово не чисто греческого происхождения. Он называл своего критика вором, отцеубийцей, кровосмесителем и тому подобными словами. Обратитесь к *Апофраду* (впрочем, я говорю это не для дам). Пушкин оказался менее резким в полемике, нежели Лукиан, но все происшествие вызвало в нем большее раздражение, чем оно того заслуживало.

Мы видели, как Пушкин искал вдохновения в иностранных источниках и брал себе проводника, быть может, не для того, чтобы иметь руководителя, но чтобы чувствовать себя увереннее, подобно пловцу, который плывет особенно хорошо, если знает, что за ним следует лодка. В поэме *Цыганы* Пушкин уже уверен в себе и пробивает путь на свой страх и риск. Это отрывки, следующие друг за другом без всякого перехода; порой они выливаются в форму коротких рассказов, порой — в диалоги, перебиваемые лирическими отступлениями. Никаких подробностей, никаких рассуждений,

несколько кратких описаний, но все время — увлекательный сюжет. Я не знаю произведения более сжатого, если только этим выражением можно воспользоваться для похвалы; из этой поэмы нельзя выкинуть ни одного стиха и ни одного слова; каждое из них имеет свое место и свое назначение, и тем не менее все дышит совершенной простотой и естественностью; искусство проявляется в полном отсутствии бесполезных украшений.

Человек из общества, изгнанный из своего круга, находит приют среди цыган. Вероятно, черные глаза Земфиры, дочери старшины табора, сыграли некоторую роль в выборе его убежища. Вскоре Земфира и пришелец соединяются браком, или, вернее, заключают вольный союз. Я не педант, чтобы спрашивать у Пушкина, где он видел, чтобы цыганки брали своего рома среди буснэ, то есть из людей, чуждых их племени. Впрочем, говорят, что примеры этому бывают. Изгнанник с наслаждением дышит свободной праздностью цыган. Земфира мечтает о городах: у городских женщин такие красивые наряды! Алеко — таково имя ее мужа — вскоре замечает, что Земфира его разлюбила. Это его удручает и бесит. «Утешься, друг...— говорит ему отец Земфиры:

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись.
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись».

Убедившись в неверности цыганки, Алеко убивает ее вместе с ее возлюбленным. Табор в оцепенении. Неподвижный и удрученный, убийца ожидает мщения цыган. На глазах Алеко обоих любовников опуска-

ют в могилу. Отец Земфиры обращается к нему со словами:

«Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас —
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Табор спешно собирает свои пожитки и оставляет Алеко одного в пустынной степи.

Мне кажется, что эта развязка необычайно выразительна. Ужас кочевников, бегущих от убийцы, — картина более страшная, нежели изображение самого утонченного мщения. По моему мнению, *Цыганы* являются наиболее точным выражением манеры и гения Пушкина. Эту поэму отличает простота фабулы, умелый выбор подробностей, чудесная сдержанность исполнения. На французском языке нельзя передать сжатость пушкинского стиха. Образы, созданные Пушкиным, всегда полны правды и жизни, они скорее намечены, чем развиты, но все это исполнено с истинно эллинским вкусом, завладевающим вниманием читателя. Начало поэмы, описание местности и жизни цыган занимает всего семнадцать стихов. Но разве этой картине чего-нибудь не хватает?

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле;
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалний,
И песни жен, и крик детей
И звон походной наковальни.

Кто видел цыганский табор, тот, вероятно, признает правдивость пушкинского описания; здесь все списано с натуры, только вместо медведя у нас можно увидеть обезьянку или ученого осла. Вот еще одна картина табора, нарисованная графически четко и вместе с тем очень сжато:

Всё вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрип телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно...

Пушкин создал историческую драму *Борис Годунов*, по форме близкую драмам Шекспира; в ней он описывает авантюру Лжедмитрия. Характеры драмы, и прежде всего образ Бориса Годунова, очерчены очень хорошо, но Пушкин часто жертвует действием и драматическими эффектами, заставляя себя следовать официальным историческим источникам. Правильнее считать, что эта драма написана не для сцены. Под официальными историческими источниками я разумею историю Карамзина, одобренную цензурой того времени, ибо у меня есть веские причины полагать, что самозванцем был не монах-расстрига Григорий Отрепьев, которого русская церковь до сих пор проклинаяет за преступление, в коем он, по-моему, совершенно неповинен. В моей исторической работе на эту тему, как мне кажется, доказано, что Лжедмитрий был казаком или поляком; но я сговорчив и готов принять все гипотезы, если только у самозванца не будут отняты чувства и характер, соответствующие той роли, которую он сыграл. К сожалению, пушкинский Григорий Отрепьев обрисован очень неясно. Мне кажется, что этого странного героя, предшественника Петра Великого, которому для успеха и для основания династии следовало бы только иметь больше осторожности и меньше мягкости, надо изобра-

жать более значительным. Я приведу прекрасную драматическую сцену. Самозванец, уже признанный в Польше, где в замке воеводы Мнишка с ним обходились, как с сиятельным князем, влюбляется в дочь воеводы, прекрасную Марину. Все это вполне согласно с историей, но дальше начинается вымысел. Самозванец думает, что он любим, и в минуту откровенности посвящает возлюбленную в свою тайну. Марина любит царевича, но к Отрепьеву она относится с омерзением женщины из высшего общества, оскорбленной признанием плебея. Тогда Отрепьев, как бы внезапно разбуженный, снова вспоминает свою роль. Он говорит ей:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла —
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.

.
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.

М а р и н а

А если я твой дерзостный обман
Заранее пред всеми обнаружу?

С а м о з в а н е ц

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу? — Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно, и тебя,
Мятежница! поверь, молчать заставят.
Прощай.

М а р и н а

Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
Безумный твой порыв я забываю
И вижу вновь Димитрия. Но — слушай:
Пора, пора! проснись, не медли боле;
Веди полки скорее на Москву.
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла..

Совершенно очевидно, что Марина вышла замуж за самозванца лишь для того, чтобы стать царицей, но все же ее честолюбие у Пушкина несколько преувеличено. Судя по ее поведению, по ее письмам, видно, что это была особа пустая, тщеславная, но, подобно своему отцу, свято верившая в легенду самозванца, который, заметим в скобках, кажется, никогда никому не поверял своей тайны.

Драма заканчивается смертью вдовы и сына Бориса. Пушкин не затронул одного эпизода, который, мне кажется, вполне достоин его пера.

Марфа, вдова Иоанна Грозного и мать подлинного Дмитрия, была монахиней в Троицком монастыре в то время, как самозванец венчался на царство в Москве. Она не могла сомневаться в смерти сына, ибо он испустил дух у нее на руках, она была убеждена, что он был зарезан по приказанию Бориса. Уже двенадцать лет настоящий Дмитрий покоился в могиле. Самозванец прибыл в Троицкий монастырь и провел с Марфой наедине полчаса. Он вышел из кельи, ведя Марфу под руку. Перед всем народом Марфа плача бросилась к нему в объятия, и уже никто более не сомневался в том, что она его мать. Никто не знает тайны этого свидания, но я думаю, что поэт мог бы разгадать ее и создать прекрасную сцену.

Пушкин оставил несколько повестей; некоторые из них, например, *Капитанская дочка* и *Пиковая дама*, во всех отношениях совершенны; ему принадлежит также немало литературно-критических статей и историческое исследование о Пугачевском бунте. Пугачев, как известно, был казак; по примеру Лжедмитрия, он пытался выдать себя за царя, смерть которого была весьма таинственна. Имя этого царя — Петр III. Прикрываясь его именем, Пугачев поднял уральских казаков, башкир и крестьян южных русских губерний. Говорят, что император Николай сам поручил Пушкину написать историю этого отважного атамана, руководителя русской Жакерии, который разгромил Казань и истребил тысячи дворян. Быть может, император хотел исцелить поэта от его революционных наклонностей и потому заставил его описывать кровавые сатурналии восставших рабов? А быть может, царь хотел подчинить себе талант Пушки-

на, поручая ему официальный труд? Это мне неизвестно. Но Пушкин сильно разочаровал тех, кто возвещал, что поручение императора вдохновит поэта на новое произведение. Он добросовестно изучил материалы, сопоставил множество мемуаров, перерыл архивы губерний, через которые проходил Пугачев,— в результате появилось повествование холодное, как протокол, составленный секретарем суда. Правда, благодаря этим исследованиям была написана *Капитанская дочка*, небольшая повесть, где Пугачев играет немаловажную роль и где о нем можно узнать больше, нежели из официальной истории.

Я не буду говорить о таких поэмах, как *Братья-разбойники*, *Мазепа*, *Медный всадник*, *Бахчисарайский фонтан*, ибо спешу перейти к самому значительному созданию Пушкина, которое дает полное представление о его гении и выражает все его многообразие. Речь идет об *Евгении Онегине*. Если бы это была картина, я сказал бы, что она начата в первой манере мастера, а закончена в последней, то есть в расцвете его таланта. Первые песни являются прекрасным русифицированным подражанием *Дон Жуану* Байрона. Последние отличаются иным характером: можно сказать, что насмешливый, безжалостный скептицизм уступает в них место нежному и страстному чувству. Отыскивая долгое время в человеческих сердцах пороки и низости, чтобы их бичевать и осмеивать, поэт неожиданно для себя замечает, что наряду с этими постыдными явлениями существуют высокие и благородные. Сделав это открытие, он становится певцом великого и прекрасного.

Евгений Онегин — красивый молодой петербуржец, в нем сочетаются все недостатки его поколения, но его сердце хранит высокие чувства, а ум склонен к философии. Одно время он царствует в мире моды, но вскоре легкие успехи надоедают ему; свет вызывает в нем скуку, и, пресытившись всем, не достигнув еще тридцатилетнего возраста, Онегин уезжает в деревню, где на него косятся соседи, оскорбленные его превосходством. Он знакомится с юным Ленским, привезшим из немецкого университета наивный энтузиазм и высокие устремления. Философии Шопенгауэра тогда еще не было.

Поэтическая наивность Ленского развлекает Онегина, который любит его, хотя постоянно высмеивает. Ленскому все кажется прекрасным; его огорчает, что у его друга столь печальный жизненный опыт. «Сердца исповедь любя, поэт высказывал себя...». Ленский, влюбленный в одну из соседних барышень, открывает Онегину тайну своего счастья и везет его в патриархальную и провинциальную семью Лариных, где две сестры — невесты. Татьяна, сестра возлюбленной Ленского, застенчива и сдержанна; она не смеет вымолвить слова, она вся поглощена холодным спутником своего будущего зятя; в нем она видит воплощение совершенств и достоинств, о которых она столько мечтала.

Татьяна — это вулкан, покрытый снегом. Невозможно вообразить ничего более прекрасного, чем эта молодая девушка, страстная и целомудренная, умная и доверчивая, гордая и застенчивая, живущая в мире своих грез. Но почему же Онегин не замечает этот настоящий, хотя еще и не отшлифованный алмаз? Почему? Да потому что он живет искусственной жизнью и ценит лишь блестящие грани пусть даже фальшивых бриллиантов. Он знает только красивых кукол, одевающихся у лучшей модистки и воспитанных в одной из тех школ, где, по словам миссис Малапроп, барышни приобретают «немного невинности и изящества». После долгих колебаний и сомнений страсть все же берет свое: Татьяна пишет Онегину письмо — признание в любви. «Она писала по-французски, — замечает Пушкин. — Доныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык». (Это эпиграмма в адрес одного из его критиков.) Письмо Татьяны в действительности написано превосходным русским языком и очень трогательно. Онегин удивлен. У него нет ни малейшего желания жениться на Татьяне, он мог бы соблазнить ее, но, будучи в глубине души честным человеком, он испытывает удовольствие, очутившись вдруг в необычном для него положении. Так генерал, взявший немало крепостей, с особым удовольствием, из любви к разнообразию, ведет осаду. Онегин весьма вежливо заявляет Татьяне, что он не может ответить на ее чувство, и, добавив несколько общих фраз отеческой морали, удаляется, очень довольный своим поведе-

нием благородного человека, смертельно ранив сердце девушки.

Ленский несколько обижен тем, что Онегин так мало оценил его невесту и ее семью. Охлаждение и неприязнь возникают между ними, у одного из них вырывается оскорбительное слово, на которое другой резко отвечает. Благодаря друзьям, весьма щепетильным в вопросах чести, ссора становится серьезной. На дуэли Онегин убивает Ленского. После этого он на несколько лет покидает Россию. Онегин возвращается возмужавшим от горя и размышлений, более снисходительным к людям и менее эгоистичным. На балу он видит молодую женщину, замечательную своей красотой и горделивой осанкой. Это московская львица, ее уважает даже злословие света. За время долгих путешествий Онегин забыл всех девушек, обещавших стать чем-то в жизни; он обращается с вопросом к своему родственнику, старому, всеми уважаемому и любимому генералу:

«Да кто ж она?» — Жена моя.—
«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет.—
«На ком?» — На Лариной.— «Татьяне!»

Генерал представляет Онегина жене. Татьяна принимает его без всякого смущения; она не проявляет ни жеманства, ни смелости, она вежлива, любезна, даже приветлива. Она кажется совершенно спокойной, в то время как Онегин не может прийти в себя при мысли, что скромная провинциалка так быстро превратилась в светскую даму. Он жалеет о своей бывшей холодности. Нужно ли прибавлять, что вскоре Онегин серьезно влюбляется в Татьяну? Но теперь он встречает сильное сопротивление. Генерал не ревнив и относится к жене с полным доверием, а она очень сдержанна и умело пользуется своим светским опытом, чтобы избежать опасности, не показывая, что боится или хотя бы подозревает о ней. Теперь настала очередь Онегина писать Татьяне, он посылает ей письмо за письмом, но ни на одно из них не получает ответа. Придя в отчаяние, он однажды проникает в комнату Татьяны и застает ее в слезах за чтением его писем. «Я вас люблю (к чему лукавить?), — говорит она ему. — Но я другому

отдана; я буду век ему верна». На этом кончается поэма.

Я уже отметил подражание *Дон Жуану* в начале пушкинской поэмы, в дальнейшем ее развитии не остается и следа этого подражания. Все характеры очерчены с чудесной правдивостью. Ни в чем нет натянутости, принужденности, все легко, просто, изумительно колоритно. Француз не имеет возможности полностью оценить поэзию Пушкина, но нет ни одного образованного русского, который не знал бы наизусть почти всех стихов *Евгения Онегина*.

Если было бы нужно кратко охарактеризовать пушкинские поэмы, то следовало бы отметить простоту композиции, краткость описаний, а главное — замечательный такт, с каким Пушкин выбирал подробности. Такова же особенность его лирики, в которой Пушкин еще великолепнее... Я начну с очень известного стихотворения, озаглавленного *Анчар*. Анчар — название индийского дерева, сок которого будто бы содержит в себе смертельный яд. Жители Востока рассказывают о нем много чудес; не знаю, известно ли оно ботаникам.

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набезит
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом*.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листьями,
И пот по бледному челу
Струился холодными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом наплат
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Рамка этого стихотворения узка, но картина вполне закончена; она полна изумительной величавости. Вот еще короткий отрывок, в котором Пушкин описывает ужасную сцену, не останавливаясь, однако, на ее отталкивающих подробностях, но создавая тем не менее самое сильное впечатление. Стихотворение озаглавлено *Опричник (Кромешник)*. Опричниками называлась стража царя Иоанна IV, обычная исполнительница его жестоких приказаний.

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах всё темно. У ворот
Запоры с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.

И вся Москва покойно спит,
Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни.

* Только по-латыни можно передать сжатость русского языка:
At vir virum misit — ad antchar superbo vultu, — et ille obedienter viam ingressus est, — et rediit cum veneno. (Прим. автора.)

Мучений свежий след кругом:
 Где труп, разрубленный с размаха,
 Где столп, где вилы; там котлы,
 Остывшей полные смолы;
 Здесь опрокинутая плаха;
 Торчат железные зубцы,
 С костями груды пепла тлеют,
 На кольях, скорчась, мертвецы
 Оцепенелые чернеют...
 Недавно кровь со всех сторон
 Струею тощей снег багрила,
 И подымался томный стон,
 Но смерть коснулась к ним, как сон,
 Свою добычу захватила.
 Кто там? Чей конь во весь опор
 По грозной площади несется?
 Чей свист, чей громкий разговор
 Во мраке ночи раздается?
 Кто сей?— Кромешник удалой.
 Спешит, летит он на свиданье,
 В его груди кипит желанье.
 Он говорит: «Мой конь лихой,
 Мой верный конь! лети стрелой!
 Скорей, скорей!..» Но конь ретивый
 Вдруг размахнул плетеной гривой
 И стал. Во мгле между столпов
 На перекладине дубовой
 Качался труп. Ездок суровый
 Под ним промчаться был готов,
 Но борзый конь под плетью бьется,
 Храпит, и фыркает, и рвется
 Назад. «Куда? мой конь лихой!
 Чего боишься? Что с тобой?
 Не мы ли здесь вчера скакали,
 Не мы ли яростно топтали,
 Усердной местию горя,
 Лихих изменников царя?
 Не их ли кровию омыты
 Твои булатные копыты!
 Теперь ужель их не узнал?
 Мой борзый конь, мой конь удалый,
 Несись, лети!..» И конь усталый
 В столбы под трупом проскакал.

Я закончу стихотворением совершенно иного характера, которое, так же как и *Анчар*, было принято цензурой за революционный дифирамб. В настоящее время и то и другое стихотворение печатаются во всех изданиях Пушкина. Я имею в виду *Пророка*:

Духовной жаждою томим,
 В пустыне мрачной я влачился,—

И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

ИВАН ТУРГЕНЕВ



мя г-на Ивана Тургенева в наши дни очень популярно во Франции; каждое его произведение ожидается с таким же нетерпением и читается с таким же удовольствием в Париже, как и в Санкт-Петербурге. Его называют одним из вождей реалистической школы. Независимо от того, хорошо это или плохо, я думаю, что г-н Тургенев не принадлежит ни к какой школе; он следует своему вдохновению. Как всякий хороший писатель, он остановился на изучении человеческого сердца, источника неиссякаемого, хотя и давно известного. Острый и тонкий наблюдатель, точный до мелочей, он рисует своих героев как поэт и как живописец. Ему одинаково интересны как их страсти, так и черты их лица. Он знает все их жесты и привычки; он слушает и стенографически записывает их речь. С большим искусством живописует он физическую и моральную сторону явлений, создавая реальные картины действительности, а не фантастические эскизы. Благодаря умению отбирать наблюдения и придавать им определенную форму, г-н Тургенев, делая нас зрителями необычного и странного, не оскорбляет наш вкус, так же как его самого не оскорбляет природа. В романе *Отцы и дети* он показывает молодую девушку с длинными руками и маленькими ногами. В строении человеческого тела обыкновенно существует известная гармония между конечностями, исключения в

природе реже, чем в романах. Почему же у хорошенькой Кати большие руки? Автор видел ее такой и из любви к правде имел нескромность сказать нам это. Почему Гамлет толст и задыхается? Надо ли думать заодно с неким прозорливым немецким профессором, что Гамлет, будучи неуверенным в своих решениях, должен был обладать лимфатическим темпераментом, *ergo* * предрасположением к полноте? Но Шекспир не читал Кабаниса, и мне больше хочется верить, что, изображая датского принца именно таким, он думал об актере, который должен был играть его роль; еще более вероятным кажется мне предположение, что поэт всегда совершенно ясно и определенно представляет в своем воображении (*in the mind's eye* **) своего героя. Воспоминания, ассоциации, в которых порой трудно дать себе отчет, совершенно невольно овладевают людьми, привыкшими изучать природу. В своих созданиях они обнимают одновременно массу подробностей, имеющих между собой таинственную связь, которую они чувствуют, но которую, быть может, они не сумели бы объяснить. Заметим еще, что сходство и жизненность в портрете часто зависят от какой-нибудь мелочи. Я помню, как Томас Лоуренс излагал эту теорию, а он, как известно, один из величайших художников-портретистов нашего века. Он говорил: «Выберите какую-нибудь черту в лице вашей модели и точно, даже рабски скопируйте ее; потом вы можете приукрасить остальное. Вы напишете очень похожий портрет, и ваша модель будет довольна». Лоуренс, художник европейской аристократии, с особой тщательностью выбирал ту основную черту оригинала, которую он затем рабски копировал. Г-н Тургенев не стремится быть любезнее фотографа, у него нет слабости к детищам своей фантазии, которую обычно питают романисты. Он изображает их с недостатками, даже с их смешными сторонами, оставляя самому читателю подвести итог добра и зла и сделать из этого свой вывод. Еще менее старается он представить своих героев воплощениями одной страсти или выразителями какой-нибудь идеи, что практиковалось во все времена. Обладая тончайшими приемами анализа, он не

* Следовательно (лат.).
** В очах души (англ.).

видит типов; ему знакомы лишь индивидуальности. В самом деле, существует ли в природе человек, знающий лишь одну страсть и идущий, не колеблясь, на зов лишь одной идеи? Он, конечно, был бы гораздо более опасен, нежели тот человек единой книги, которого боялся Теренций.

Беспристрастие и любовь к истине — вот главная черта творчества г-на Тургенева, и он никогда ей не изменяет. В наше время, создавая роман, посвященный современникам, трудно не затронуть великих вопросов, волнующих общество, трудно не высказать по крайней мере своего мнения по поводу революции в нравах. Тем не менее никто не может сказать, сожалеет ли Тургенев об обществе Александра I или предпочитает ему общество времен Александра II. Своим романом *Отцы и дети* он навлек на себя гнев и молодого поколения и стариков; и те и другие считали себя оклеветанными. Он проявил полную беспристрастность, а этого-то партии никогда не прощают. Я прибавлю, что не следует видеть в Базарове представителя передовой молодежи или же считать Павла Кирсанова идеалом старшего поколения. Мы где-то видели этих людей. Они, без сомнения, существуют, но вовсе не являются олицетворением молодежи и стариков своего века. Хорошо, если бы все молодые люди были бы умны, как Базаров, а все старики столь благородны, как Павел Кирсанов.

Г-н Тургенев исключает из своих произведений великие преступления, вы не встретите у него трагических сцен. В его романах мало событий. Их фабула очень проста, в них нет ничего, что выделялось бы из повседневной жизни; в этом опять-таки сказывается его любовь к истине. Прогресс стремится устранить насилие в современном обществе, но он не может изменить страсти, таящиеся в человеческом сердце. Правда, страсти теперь приняли более мягкий характер, они, если хотите, стираются, как монеты, бывшие долгое время в употреблении. В свете, или, вернее сказать, в полусвете, уже не встречаются Макбеты и Отелло; тем не менее всегда будут честолюбцы и завистники, и не один парижский гражданин, перед тем как начать тяжбу о разделе имущества, испытал муки Отелло, задумавшего удушить Дездемону. Я знавал одного чиновника, которому, конечно,

даже в кошмарном сне не представлялся «кинжал, рукоять которого была бы у него под рукой», но в глазах у него стояло кресло с золочеными гвоздиками — кресло начальника отделения, которое заставило его оклеветать этого начальника, чтобы самому сесть на его место.

Именно в жанре так называемой *психологической драмы* окреп и расцвел талант г-на Тургенева.

Его первое произведение — *Записки охотника* (сборник рассказов, или, вернее, маленьких оригинальных эскизов) — открыло нам русские нравы и сразу дало почувствовать силу таланта автора. Без преувеличения можно сказать, что эта книга сыграла значительную роль в деле освобождения крестьян, этой великой реформы, прославившей царствование Александра II. Автор не столь пламенно защищает крестьян, как защищала негров Бичер-Стоу, но зато русский крестьянин г-на Тургенева — это не выдуманная фигура вроде дяди Тома. Автор не польстил мужику — он показал его со всеми его дурными инстинктами и большими достоинствами. Русский крестьянин представляет собой странную смесь добродушия и хитрости, упорства и послушания, смирения и уверенности в своих силах. Терпение и покорность — его главные добродетели, ложь и коварство — его преобладающие пороки, которые ему достались от природы, а вернее, их породило долговременное рабство. Джон Буль является воплощением английского простонародья; у русского крестьянина в народных легендах тоже есть свой герой. Это Илья Муромец, великий обжора и пьяница, напоминающий нашего Жана Зубодробителя, представляющий собой что-то вроде комического Геркулеса.

Горе тому, кто попадет под руку Илье Муромцу. В России существует поговорка, которую я не берусь переводить буквально: «Мужик плевка не стоит, а бога слопаёт».

Эти покорные люди сознают, однако, свою силу и уже не раз ее показывали. Ведь они, эти рабы, короновали некоего авантюриста, назвавшегося в начале XVII века Димитрием; они же в 1670 году, восстав под предводительством Стеньки Разина, и столетием позже при Пугачеве, поставили под угрозу самое существование

Русского государства. В народных сказаниях Стенька Разин не умер: этот великий и жестокий мститель за угнетенных рабов скрылся из тюрьмы с помощью черта, своего кума, и живет за синим морем. Для русского мужика не может быть ничего дальше этого моря. В 1773 году Стенька Разин появился снова: на этот раз он назвался Пугачевым. Говорят, будто Пугачев был колесован. Ничего подобного. Он снова живет за синим морем в ожидании, что великая неправда и несправедливость истощат долготерпение господне. Когда вера иссякнет и в церквах начнут жечь сальные свечи вместо восковых, тогда вернется Стенька Разин в новом воплощении — и пойдет потеха! Вот каковы мужицкие легенды.

Будет ли обезоружен реформой этот покорный, но уже сознающий свою силу богатырь? Мы на это надеемся, и как будто бы все подтверждает, что надеемся не напрасно.

Нужно обладать тургеневским тактом, чтобы говорить о крепостном праве в России, не трубя в революционную трубу и не впадая в преувеличение, которое могло бы напугать читателя вместо того, чтобы его убедить. После Тургенева одна очень талантливая женщина опубликовала под псевдонимом Вовчок (волчонок) несколько рассказов на украинском языке на эту же тему. Ее рассказы известны мне по русским переводам г-на Тургенева. Краски так мрачны, что вся картина отталкивает читателя. Она, может быть, и правдива, но хочется думать, что она выдумана; к тому же она возбуждает гораздо больше ужаса, нежели жалости. На Корсике, рассказывая о каком-нибудь ужасном случае, обыкновенно добавляют: «*Sie vuol la scaglia*» — «Это требует кремешка в ружье».

Такое чувство испытываешь при чтении первого рассказа сборника—*Козачка*. Манера г-на Тургенева совершенно иная. Подобно судье, резюмирующему прения, он сдержан, беспристрастен, он не навязывает своих убеждений, и это придает его рассказам мощь, которой никогда не достигнет самая красноречивая декламация. Проникнутые тонкой и грустной поэзией, они оставляют более сильное впечатление, нежели возмущение, которое вызывают рассказы Вовчка.

Известно, что художники, писавшие человеческие лица, были, если хотели, и великими пейзажистами. Не удивительно, что г-н Тургенев, тонкий знаток человеческого сердца, умеет наблюдать и талантливо описывать красоты природы. Всегда простой и точный, он возвышается до истинной поэзии благодаря живости своих наблюдений и ювелирному искусству описаний. Он дает нам почувствовать и понять не только природу своей страны; читая его рассказ *Призраки*, невольно любишься разнообразием и точностью описаний природы. Кто ночью смотрел с горы на римскую Кампанью, тот вспомнит небольшие причудливые озера, светлыми пятнами рисующиеся на фоне черной травы и отражающие в себе огнистое небо. Г-н Тургенев сравнивает их с осколками разбитого зеркала, рассыпанными по паркету. Конечно, можно было бы найти более возвышенное сравнение, но сомневаюсь, чтобы кто-нибудь дал более точный образ. В том же рассказе, описывая летнюю ночь в Санкт-Петербурге, он называет ее «больным днем». Это определение прекрасно и незабываемо. Оно просто и ясно передает самую суть явления. Блестящая фантазия *Призраков* является как бы рамкой для ряда разнообразных и превосходных пейзажей.

Я думаю, что на французском языке невозможно передать все очарование этих описаний, простых и в то же время живописных, ибо сжатость и богатство русского языка затрудняют даже самых искусных переводчиков. *Fraduttore — traditore* *, — говорят с полным основанием итальянцы. Более чем кому бы то ни было, г-ну Тургеневу пришлось жаловаться на тех, кто пытался познакомить нас с его произведениями. Переводчик, которому принадлежит заслуга первого издания в Париже *Записок охотника*, заставил автора протестовать против многих бессмыслиц. Например, Тургеневу пришлось нам объяснить, что он никогда не кормил своих собак овсянками, как это утверждал переводчик, поняв русское слово «овсянка» как название известной птицы, которая будто бы служит лакомым блюдом для всех русских гурманов. Спрашивается: почему Тургенев, так хорошо знающий наш язык, не просматривает корректуры перево-

* Переводчик — предатель (итал.).

дов? Он просматривает, но знаете, что из этого получается? Будучи недоволен одним выражением, он попросил изменить его и сделал отметку на полях. Речь идет о грубом разговорном выражении, ругательстве, с которым один из персонажей *Дыма* обращается к своему бывшему товарищу: *Скряга! Слизняк!* Затем следует слово, которое, как мне кажется, соответствует нашему *парикку*, то есть прозвищу, которое и мы в дни нашей молодости давали старшим. Не знаю, как было переведено это слово, но автор поставил возле него *NB* для того, чтобы обратили внимание на его замечание. А напечатано было: *Скряга! Слизняк! Nota bene!* Один из моих друзей, которого приводила в отчаяние малейшая опечатка, утешался тем, что исправлял чернилами свой собственный экземпляр. Нам остается посоветовать г-ну Тургеневу следовать в таких случаях его примеру.

Я не принадлежу к числу тех, кто судит о достоинстве произведения по объему книги. Мастер, выгравировавший несколько греческих медалей, для меня равен скульптору, создавшему колосс; тем не менее я до известной степени разделяю пиетет перед произведениями большого объема. Как не считаться с трудностями, связанными с большой работой, со смелостью, необходимой, чтобы взяться за нее, и с упорством, требующимся для ее выполнения? Если бы Гомер написал двадцать четыре маленьких поэмы, равные каждой одной песне *Илиады*, то разве он был бы царем поэтов? Однако *небольшое* произведение должно быть безупречным, а ведь даже Гораций разрешает соснуть на середине *длинной* поэмы. В сонете все строки должны быть превосходны... В общем, я полагаю, что опасность короткого сюжета заключается в большой тщательности, которую неизбежно приходится вносить в такого рода работу. Писатель невольно увлекается многочисленными второстепенными подробностями и излишней тонкостью исполнения стремится искупить отсутствие широты в избранной теме. За мелочами автор теряет из виду цель искусства, подобно художникам, выписывающим различные подробности с таким совершенством, что внимание зрителя останавливается на них в ущерб центральным фигурам.

Я уже ранее пытался показать, как изумительное богатство русского языка оказывалось подводным камнем для писателей, пишущих на нем. Г-н Тургенев также не всегда избегает столкновения с этим рифом. Иногда он слишком долго останавливается на описаниях, несомненно верных, но требующих большей краткости; он стремится передать тончайшие оттенки, но эта работа, достоинства и трудности которой я не могу не признать, замедляет и ослабляет развитие действия. Иные великие актеры часто проявляют слишком большую заботу о четкости отдельных фраз, упуская из виду общий характер роли. Кажется, это называется *подчеркивать интонацию*, и это нравится публике, которая всегда ценит актера, умеющего владеть своим голосом. Я отметил некоторые излишества, свойственные манере г-на Тургенева, но я бы не хотел, чтобы ему приписали недостатки, в которых он не повинен. Рашель, произнося проклятия Камиллы, придавала иронический смысл последнему полустижиию: «Подрывать еще не окрепшие основы!» Она подчеркивала иронию чарующей вибрацией голоса. Но одобрил ли бы ее Корнель? Всякий, кто слышал слова страсти, мог заметить, что они вырываются быстро и резко, без каких бы то ни было интонационных нюансов. Я представляю себе проклятия Камиллы как целый ряд быстрых и, смею сказать, монотонных выкриков.

Мне кажется, что особенности таланта г-на Тургенева должны были бы обеспечить ему большой успех в театре. Недостатки романиста, на которые я позволил себе указать, то есть некоторые длинноты и обилие подробностей, в силу необходимости исчезли бы на сцене, где автор не может комментировать ни движения, ни речи своих персонажей. В самом деле, драмы, написанные Тургеневым с правдивостью и естественностью, свойственной его романам, свободны от указанных мною недостатков.

Мне неизвестно, были ли представлены на сцене эти произведения. Я склонен думать, что они были написаны скорее для чтения, чем для театра,— я имею в виду театр наших дней, который не довольствуется развитием характеров и страстей, как во времена Мольера, но для которого необходимы действие и сложная интрига.

Впрочем, спешу заметить, что мои упреки г-ну Тургеневу относятся скорее к его первым произведениям, нежели к его последним работам. В прелестном романе *Дым* быстрое действие вполне согласуется с правилами Горация. Удачно подобранные детали оттеняют развитие характеров и драматизм положений. Для того чтобы сделать понятной Ирину, необходимо было тщательно ее изучить, точнее, не упустить из виду ни одного ее жеста и взгляда. Ирина — это inferнальное существо, чье кокетство является тем более опасным, что сама она натура страстная, но страсть ее — это маленький огонь, внезапно потухающий, после того как он вызвал целый пожар. Она любит — Дон Жуан тоже всегда был влюблен, — но любит по-своему. Она принимает за любовь гордость, стремление к приключениям, любопытство, а главное, потребность властвовать и чувствовать свое могущество. Одна очень красивая женщина, бывшая когда-то украшением сцены, глуповатая, но откровенная, говорила: «Как я несчастна! Только я полюблю кого-нибудь, как уже предпочитаю другого!» Ирина умна; это светская дама; она возмутилась бы, если б ее сравнили с этой особой, но бедная актриса любила всех, Ирина же в глубине души любит только самое себя. Ее любовник Литвинов знает ее хорошо, и ей не удастся обмануть его. Он измерил пропасть, в которую она собирается его увлечь, и идет к ней, охваченный угрызениями совести и ужасом. Он очарован, и автор правдиво анализирует его чувства.

Кроме Литвинова, в романе существует еще один несчастный влюбленный. Подобных людей в Италии называют *ratito* *. Это умный, сердечный человек, но пораженный страстью; он подобен Альцесту, который, зная все о Селимене, не питает больше ни надежд, ни иллюзий. Ирина имеет над ним такую власть, что посылает его с поручениями к его счастливому сопернику. Этот характер, являющий собой смесь добродушия и грустной иронии, производит удивительное впечатление; неверно, что Потугин слишком умен для играемой им роли; он любит Ирину, и нет унижения, на которое он не пошел бы, только бы она позволила ему жить по-

* Влюбленный, больной от любви (итал.).

близости. Он вознагражден за свои страдания всякий раз, когда она благоволит показать, что верит его слепой преданности.

Я уже говорил об искусстве, с каким г-н Тургенев наделяет своих героев своеобразными чертами. Когда я прочитал *Дым*, у меня было такое чувство, что я знаком с Ириной, что я узнаю ее, встретив где-нибудь в гостиной. Я слышал, что Санкт-петербургская аристократия негодовала при появлении романа: она увидела в нем сатиру на себя, тем более обидную, что изображение отличалось большим сходством с оригиналом. Посетители любого салона находили здесь свои портреты.

«Какой ужас! — восклицала некая ученая дама в одной из гостиных Невского проспекта. — Оклеветать княгиню А.!» Другие упрекали г-на Тургенева за то, что он вывел графиню Б. Третьи жалели графиню С., по их мнению, бессовестно очерченную. Добрые люди нашли для Ирины прототипы, имена которых начинались со всех букв алфавита. В действительности г-н Тургенев не писал ни портрета, ни сатиры. Виновен ли он в том, что, наблюдая природу, создает правдивые образы? Несмотря на то, что г-н Тургенев необыкновенно живо схватывает и изображает недостатки, пороки, смешные черты эпохи, назвать его сатириком все же нельзя. У него нет того злорадства, которое чувствуется у многих критиков, подмечающих человеческую слабость или пошлость. Эти господа старательно подчеркивают дурные стороны общества, а г-н Тургенев старается отыскать добро всюду, где оно может быть скрыто. Он находит возвышенные черты даже в самых низменных натурах. Он часто напоминает мне Шекспира. Как и английский поэт, он любит истину, он умеет создавать поразительно реальные фигуры. Но как бы искусно ни скрывался автор за своими выдуманнами героями, всегда можно угадать его собственный характер, и это, быть может, является не последней причиной моей симпатии к нему.

ДНЕВНИК СЭМЮЭЛА ПЕПИСА,

опубликованный лордом Брейбруком



ольшинство авторов мемуаров, даже те, которые говорят наиболее откровенно и не скупаются на упреки по своему адресу, тем не менее всегда думали о потомках и старались внушить им выгодное о себе мнение. Королева Маргарита Наваррская называет *филафтией* эту склонность любить себя и любоваться собой в своих произведениях. Заметим в скобках, что эллинисты той эпохи лучше произносили по-гречески, чем наши современники, которые настряпали таких слов, как *автономия*, *автократия* и тому подобное*. Несмотря на авторитет «столь прекрасной и благородной дамы», ее меткое словечко не привилось, и очень жаль, так как ни эгоизм, ни самолюбие не могут его заменить. Когда *филафтия* не приводит ко лжи, что тоже иногда бывает, она, во всяком случае, приукрашает истину. Вместо того чтобы рассказать о своих поступках, их объясняют, получается не рассказ, а защитительная речь. Дневник Сэмюэла Пеписа, который он вел между 1660 и 1669 годами, представляется мне исключением из общего правила; уже одно это дает ему право на наше внимание, но он любопытен еще и с других точек зрения.

Филафтия Пеписа особого свойства и принадлежит

* Слова *автономия* и *автократия* (*autonomie*, *autocratie*) по-французски произносятся *отономи*, *отокраси*, что действительно далеко от греческого произношения.

к числу наиболее невинных. Она сводится, в сущности, к кропотливому наблюдению над самим собой, без всяких попыток как-либо повлиять на читателя или навязать ему собственное мнение. Он с величайшей простотой рассказывает о своих поступках и часто о своих мыслях, нимало не заботясь о том, что скажут люди. Крайне редко пытается он оправдать или хотя бы объяснить свое поведение. Я лично убежден, что он никому не показывал свою рукопись. Самая манера изложения служит тому доказательством. Сохранились письма Пеписа — они написаны с изяществом, даже с известным кокетством слога. В его дневнике, наоборот, нет и следа изысканности или старания: это беглые заметки, набросанные наспех, в том виде, как они вылились из-под пера, иногда даже трудные для понимания в силу своей лаконичности. Добавлю, что Пепис пользовался своего рода стенографией, которую в его время мало кто мог разобрать. По-видимому, он надеялся таким образом защититься от чужого любопытства, точно так же как Леонардо да Винчи, когда он писал свои заметки справа налево.

С. Пепис происходил из знатного рода, но из обедневшей его ветви. Это установлено его биографами, сам же он, кажется, никогда не делал попыток выяснить свою родословную. Его отец был портным в лондонском Сити, но не имел чести одевать знатных особ своего времени. Тем не менее Сэмюэл получил хорошее образование; учился в Кэмбридже, в Мэдлин колледже, вероятно, в качестве стипендиата. Окончил ли он этот университет — неизвестно; в архивах колледжа его имя упоминается только один раз — по поводу выговора, сделанного ему за то, что он 20 октября 1653 года напился пьян.

Он женился очень молодым на весьма красивой четырнадцатилетней девице, англичанке родом, но воспитанной в монастыре во Франции и подозреваемой поэтому в склонности к папизму, в чем впоследствии обвиняли и самого Пеписа. Это, очевидно, не был брак по расчету, так как мисс Элизабет Марчент не принесла ему приданого, но женская красота всегда имела большую власть над Пеписом, что явствует чуть ли не из каждой страницы его дневника, и хотя его издатель, лорд

Брейбрук, счел свои долгом изъять наиболее скандальные записи, их все же осталось достаточно, чтобы доказать, что Пепис отнюдь не отличался строгостью нравов; по-видимому, буржуазия той эпохи подражала по мере сил аристократии, столь любопытный портрет которой мы находим в *Мемуарах де Грамона*.

Женившись в молодых годах и не имея состояния, Пепис проживал у своего двоюродного брата, сэра Эдварда Монтегью, благодаря чьему покровительству получил скромную должность в военном ведомстве. Таково было его положение к 1 января 1660 года, когда ему вдруг пришла мысль вести дневник. Тогда в Англии это было довольно распространенным обычаем. Надвигался правительственный кризис. Грозный Протектор умер, а его сын Ричард не сумел сохранить ни власть, ни титул, так легко доставшийся ему по наследству. Нация устала от республики и в особенности от «охвостья» Долгого Парламента, который уже столько раз чистили, разгоняли, восстанавливали. Она втайне жаждала возвращения Стюартов, но под тяжелой рукой Кромвеля, под страхом его непобедимой армии, состоявшей из фанатиков и авантюристов, не смела возвысить голос. Все здание уже было подточено и грозило падением, но масса бездействовала, ожидая толчка. Взгляды Пеписа в эту пору, как мне кажется, в точности отражают чаяния большинства его сограждан. Он был привержен к религии, но отнюдь не пуританин. О Стюартах он, в сущности, ничего не знал, кроме их злоключений, и простодушно верил, что достаточно восстановить старый режим — и все пойдет, как по маслу. Необходимо только любой ценой освободиться от двойного гнета — гнета фанатических проповедников и гнета военщины. Вместе со Стюартами вернется веселье и свобода.

Пока Монк двигался из Шотландии в Англию во главе послушной ему армии, пока он с внешним бесстрашием выслушивал предложения различных партий, адмиралу, командовавшему флотом в Ламанше, тоже делали всяческие авансы. А командовал флотом не кто иной, как сэр Эдвард Монтегью, и Пепис, в качестве его секретаря, находился на борту «Нэзби», флагманского судна, чье название напоминало об одной из первых побед парламента над королевскими войсками. Сэр Эд-

вард Монтегью был человек умный и решительный, за что и был в свое время отличен Протектором, который не требовал, чтобы его генералы были святыми. Кромвель так высоко ценил его заслуги и его верность, что указал на него Ричарду как на лучшего советчика, какого он может избрать. У современников сэр Эдвард слыл вольнодумцем, ибо отказывался верить во многие чудеса, всеми признанные. По словам Пеписа, он простирали свой скептицизм до того, что даже не верил в дьявола. Около 1663 года он — не сэр Эдвард, а дьявол — пребывал в одном замке в Уилтшире и обнаруживал свое присутствие тем, что по ночам бил в барабан. Барабан и барабанщик были невидимы и тотчас повторяли все сигналы, которые солдаты отбивали на настоящих барабанах. Сэр Эдвард, распорядившись выбить какой-то очень трудный и сложный сигнал, поставил дьявола в тупик и с тех пор только смеялся над всей этой историей. Итак, Протектор умер. Ричард не мог и не хотел царствовать. Сэр Эдвард, ничуть не дороживший республикой, имел в мыслях лишь собственное благосостояние. Флот был у него в руках, так же как армия в руках Монка. При первом же намеке адмирала все капитаны и их команды вскричали: «Да здравствует король!» Сэр Эдвард отправился в Голландию за Карлом II и привез ему денег, в чем тот весьма нуждался, ибо, по словам Пеписа, весь гардероб его величества не стоил двух фунтов стерлингов. Рискнув гораздо меньшим, чем Монк, сэр Эдвард разделил с ним первые милости Реставрации: его сделали графом Сэндвич и камергером двора. Пепису тоже досталась малая толика от королевских щедрот. Помимо чести поцеловать руку Карла II и руку герцога Йоркского, он получил кругленькую сумму. Никогда еще у него не было столько денег в кармане.

Вскоре лорд Сэндвич доставил ему место секретаря в военно-морском министерстве; насколько можно понять, в этой должности ему надлежало ведать, как мы сказали бы теперь, приказами по личному составу и по материальной части. Жалованье, по правде сказать, было небольшое, но были еще *rissorza del mestiere*, как говорит Фигаро. В те времена чиновники не совестились получать подарки. Когда офицера возводили в более вы-

сокое звание, когда ему вручали патент на командование кораблем, полагалось, согласно обычаю, выразить свою благодарность господину секретарю, либо преподнести ему какую-нибудь серебряную вещьцу, либо попросту сунув ему в руку несколько гиней в бумажке. Это вовсе не облекалось в тайну и даже считалось до некоторой степени законным, приблизительно, как сейчас куртаж в коммерческих кругах. Люди щепетильные — а Пепис принадлежал к их числу — не всегда принимали подарки, особенно если назначение совершалось без их участия, но такие пуританские добродетели встречались редко. Секретарь одного министерства говорил Пепису: «Я только и живу подарками просителей. Моя лошадь — подарок, мои сапоги — тоже. Все поставщики платят мне дань. Приходите, разопьем вино, которое я заставил себе подарить». Когда надо было замолвить словечко влиятельной особе, эта услуга оплачивалась заранее. «19 июня, — пишет Пепис, — леди Пикеринг изложила мне дело своего мужа с тем, чтобы я походатайствовал за него перед милордом (лордом Сэндвичем), и дала мне завернутые в бумажку 5 фунтов стерлингов серебром». В тот же день он нашел у себя порядочный запас шоколада, присланный неизвестно кем. 21 числа того же месяца капитан Керл дал ему пять золотых гиней и серебряную кружку для его жены по случаю получения патента на командование, посланного ему Пеписом. Леса́ж не фантазировал, когда изображал нам в *Жиль Бла́се*, как министр поучает своего секретаря касательно доходов, которые тот может извлечь из своей должности. Пепис для своего времени был на редкость честный человек, однако и он нажил состояние и притом очень быстро. Несмотря на любовь к удовольствиям и врожденное любопытство, побуждавшее его интересоваться разными предметами, серьезными и легкомысленными, но не имевшими отношения к его должности, он, без сомнения, был лучшим чиновником в своем ведомстве; именно ему обязано английское адмиралтейство многими правилами, которые сохранились там и до сих пор и по общему мнению способствуют скорейшему прохождению дел, порядку и экономии. Он умел вскрывать хитрости поставщиков и отличать действительно заслуженных офицеров. К несчастью, в то время фаворитизм решал

все. Хотя и верный роялист, Пепис часто оплакивает выбор двора и не может не сравнивать ветрогонов, получивших командование при Стюартах, со старыми морскими волками, которых брал на службу Протектор.

Ему довелось быть свидетелем прискорбных последствий, к которым королевские любовницы и фавориты привели правительство Карла II; он видел, как голландский флот вошел в устье Темзы и Рюйтер, имея метлу на верху грот-мачты, сжег в Чэтеме английские корабли. После разгрома Армады Филиппа II англичане привыкли жить спокойно, не опасаясь чужеземного вторжения, но этот дерзкий набег породил такую панику, что Пепис поспешил отослать свою жену и свои сбережения подальше от Лондона, и большинство тех, кому было что терять, последовали его примеру.

Подобно Панургу, он от природы боялся драки, и он этого не скрывает, но, как говорят испанцы, у всякого есть свой день храбрости, да, кроме того, добавим мы, есть столько же видов храбрости, сколько и разных видов опасности. Во время знаменитой лондонской чумы Пепис, едва ли не единственный из всех чиновников, оставался на своем посту и не прекращал работы. В письме, написанном в ту пору одному другу, Пепис говорит:

«Вы рисковали собой среди сабельных ударов, теперь я обязан рискнуть собой среди чумы».

В этой простой фразе выразилось его чувство долга, тем более почтенное, что оно было редкостью у его современников.

После чумы на Лондон обрушилось новое бедствие. В Сити загорелся дом; раздуваемый сильным ветром, огонь перебросился на склады спиртного. С ужасающей быстротой пожар охватил целые кварталы. Мэр Лондона потерял голову и спрятался, вместо того чтобы распорядиться. В те времена еще не было ни пожарных команд, ни полиции. Министры и принцы ходили смотреть на пожар; всякий предлагал свои меры, но некому было их осуществлять. Кто жил ближе всего к пожару, думал только о собственной беде и о том, как спасти деньги и мебель. Сперва стали сносить что подороже в церкви, но церкви тоже загорались, как и дома. Несколь-

ко дней подряд пожар все распространялся то в одну сторону, то в другую, смотря по направлению ветра. Вскоре в Лондоне не осталось ни одного квартала, где можно было чувствовать себя в безопасности. Позаботившись о сохранности наиболее ценного имущества, Пепис закопал столовое серебро и вино в саду, отправил жену в деревню и стал ждать пришествия огня. Записи в его дневнике свидетельствуют о царившем тогда беспорядке. Он отмечает ряд мелких фактов, и странными показались бы эти наблюдения перед лицом столь великого бедствия, если не вспомнить, как причудливо блуждает порой наша мысль и на каких пустяках она иной раз останавливается, в то время как совершающиеся важные события должны были бы поглотить все наше внимание. Пепис вспоминает о том, как на его глазах вытащили из трубы наполовину опаленную, но живую кошку; о том, что он восемь дней не брился; что он ел на обед холодную баранину на глиняном блюде, и лишь мельком, в двух-трех словах, упоминает об осенившей его блестящей идее — вызвать из Депфорда в Лондон рабочих арсенала. Эти ловкие, сметливые, дисциплинированные люди, у которых, в отличие от лондонских горожан, не было причин противопоставлять личный интерес общественному, взялись за борьбу с огнем именно так, как это следовало сделать с самого начала. Они стали порохов взрывать дома и остановили пожар преградой из развалин.

Но не эта огромная заслуга, важности которой Пепис, возможно, сам не понимал, утвердила его репутацию. Парламент, давно уже недовольный министрами и фаворитами и в особенности пристыженный разгромом на море, от которого болела душа у всех англичан, распорядился создать комиссию для расследования и вести его с величайшей строгостью. Хотели найти виновных и примерно их наказать. Чиновники адмиралтейства в большинстве своем были крайне невежественны, члены комиссий — предубеждены. Волей-неволей пришлось Пепису, отчасти защищая самого себя, отвечать на обвинения против ведомства, к которому он принадлежал, но которым не управлял. Он оправдался, не взваливая вины ни на кого другого, и четыре часа подряд говорил с такой ясностью, словно профессор, читающий

лекцию о предмете, которым занимался всю жизнь. Он сам потом дивился своему красноречию и апломбу перед судьями, ибо раньше ему не случалось говорить публично. У членов комиссии хватило здравого смысла признать, что он в этих делах понимает больше, чем они, и, выслушав его с интересом, они отпустили его с похвалами. Удостоенный комплиментов от парламента и милостивой благодарности от короля, Пепис с этой минуты становится необходимым человеком в военно-морском управлении.

Незадолго до этого блестящего успеха и после того, как Пепис уже свыше двух лет выполнял обязанности, которые мы сейчас приравняли бы к обязанностям бухгалтера, он записал в своем дневнике: «Ко мне ходит г-н Купер, старший офицер на «Роял Чарлзе». Я хочу, чтобы он поучил меня математике, и мы начали сегодня. Он очень знающий, а отблагодарить его можно будет какой-нибудь безделицей. Мы целый час занимались арифметикой. Первой моей задачей было вытвердить таблицу умножения». Не напоминает ли это вам г-на Журдена и его учителя философии? Но надо сказать, что в то время почти все купцы вели свои подсчеты при помощи жетонов, как *Мнимый больной*. Немного позже Пепис нанял еще учителя танцев и манер; ведь он бывал при дворе, и король, случалось, говорил ему: «Здравствуйте, господин Пепис».

Не одной только этой стороной он схож с г-ном Журденом. Пепис — законченный тип мещанина. Все знатное, благородное имеет для него неотразимую привлекательность; он простодушно любит себя, когда впервые надевает бархатный кафтан, впервые опоясывается шпагой. Он идет в театр; какой-то вельможа подзывает его к себе и разговаривает с ним при всех. Он на седьмом небе. В Вестминстерском аббатстве ему, в виде особой любезности, показывают усыпальницу королевы Екатерины Валуа, жены Генриха V. «Я держал в руках тело этой королевы, — пишет он, — и поцеловал ее в губы, приговаривая про себя: ведь это королеву я целую и как раз в день моего рождения. Мне исполнилось тридцать шесть лет, и я поцеловал Королеву!» Мещанину, для которого «герцогине всегда двадцать пять лет», было далеко до Пеписа.

Он целовал не только мертвых королев. Ему выпала честь поцеловать как нельзя более живую красавицу, знаменитую Нелли Гвин, что тоже было в своем роде узурпацией королевских прав: «Нипп (актриса, с которой он дружил) впустила нас за кулисы, потом привела Нелли Гвин, прелестную женщину, дивно сыгравшую сегодня роль Селии. Я поцеловал ее, моя жена тоже. Она прехорошенькая, просто душка! (*A mighti pretty soul she is*)». Как видно, в те времена мужчины и женщины целовались при первом знакомстве. С тех пор нравы сильно изменились. Найдется ли сейчас в Англии честная буржуазка, которая поцеловала бы *душку*, столь обремененную грехами, как Нелли Гвин?

У Пеписа была настоящая страсть к театру, не только к хорошеньким актрисам. В годы республики театральные представления были запрещены, и теперь все стремились вознаградить себя за долгие лишения. Распушенность царила и здесь; трудно даже понять, как двор Карла II, столь манерный и офранцуженный, выносил грубости, которые ему показывали со сцены. Сейчас мы с удивлением читаем суждения Пеписа о современном ему театре. Он не лишен был ни тонкости ума, ни литературного образования, но, очевидно, в этих делах у каждого столетия свой вкус, и неотразимое влияние моды сказывается на умственных предметах не меньше, чем на одежде. В его дневнике мы находим такую запись: «По дороге в Депфорд читал *Отелло Венецианского мавра*. Отличная пьеса; но как раз перед тем я прочитал *Приключения за пять часов*, и *Отелло* мне показался плоским».

Вспомним, что во Франции в самом изысканном обществе одно время заставляли в наказание читать какую-нибудь сцену из *Гофолии*. А в Лондоне в эпоху Пеписа очень редко ставились пьесы Шекспира, и, кажется, Гаррику принадлежит честь возрождения их на сцене.

Дневник Пеписа лучше, чем любой исторический труд, знакомит нас с нравами английского среднего класса и даже английской аристократии в XVII веке. Мне кажется, их можно охарактеризовать так: полное отсутствие притворной стыдливости, общее стремление к удовольствиям без примеси соображений тщеславия. Тогда не было этих званых обедов, на которые загодя стараются получить приглашение, ни этих *раутов*, когда тысяча го-

стей в парадных туалетах два часа толпятся в духоте на лестнице, обмениваясь рукопожатиями и повторяя друг другу: «Какой прелестный вечер!» Зато мы находим в дневнике Пеписа много импровизированных ужинов и балов, задушевных бесед, веселых поездок за город, много простоты и добродушия в обращении. Становится понятно, почему тогдашняя Англия получила прозвище «веселой» — *merry England*, что сейчас несколько удивляет иностранца, особенно по воскресеньям. Разрешите мне еще раз вернуться к теме о поцелуях. В день святого Валентина их в Англии было изобилие. В наше время англичане ограничиваются любовными посланиями, и, как меня уверяли, их бывает столько, что почтовое ведомство вынуждено прибегать к экстренным мерам, чтобы доставить все по назначению. Во второй половине XVII века кавалер в этот день являлся ранним утром в спальню дамы и целовал ее. Тогда он становился ее валентином, а она его валентиной, и полагалось сделать ей подарок. Пепис, любивший широкие жесты, дарил в таких случаях пару зеленых шелковых чулок с подвязками. Из *Мемуаров де Грамона* мы знаем, что тогда «без зеленых чулок ни одна дама не могла почитать себя элегантно».

25 сентября 1660 года Пепис, захворав жестоким расстройством желудка, послал в кофейню за чашкой чая — до тех пор он его еще никогда не пил. Он тут же поясняет, что это китайский напиток и пишет его название как *tee*; орфография этого слова тогда еще не была установлена*. В предшествующем году Ост-индская компания поднесла королю две унции чая как особо ценный дар. Чай, видимо, заваривали оптом в кофейнях, где затем и продавали в розницу в жидком виде. В первых записях о взимании налогов за торговлю чаем счет ведется на галлоны (мера жидких тел, равная четырем литрам). А в наше время не найдется крестьянина, у которого не было бы своего чайника и который не пил бы чай два раза в день.

Тогдашние цены на необходимые съестные припасы и на предметы роскоши, часто отмечаемые Пеписом в его дневнике, поражают нас — иногда своим резким отли-

* Современная орфография — *tea*.

чем от наших, иногда тем, что за все это время ничуть не изменились. Он купил карету у хорошего мастера за 53 фунта стерлингов и пару вороных, весьма красивых, за 50 фунтов. В то же время его доля расходов на банкет с товарищами по службе составила 2 фунта стерлингов. Правда, в другом месте он говорит об обедах на несколько персон, где каждый ел и пил вдоволь всего за 18 пенсов.

Я мог бы продолжить такие цитаты до бесконечности, наугад раскрывая его дневник, но что меня больше всего пленяет в любопытнейшей книге Пеписа — это прорывающая за всем личность автора, его оригинальный характер — смесь расчета и легкомыслия, пронизательности и простодушия, эгоизма и доброжелательства. К тому же добрые склонности настолько преобладают в нем над дурными, что невозможно не любить Пеписа, невольно начинаешь принимать участие в его делишках, словно в делах близкого друга. Нет ничего забавнее, чем происходящая в его сердце борьба между выгодой и благодарностью. У лорда Сэндвича, бывшего его покровителя, денежные затруднения; Пепис боится, что, одолжив ему свои сбережения, больше уж их никогда не увидит, и все-таки, как благородный человек, вручает лорду потребную сумму. Его жена выписала из Франции туалеты; Пепис в ярости, но платит. Он теряет терпение, только когда миссис Пепис, следуя моде, желает надеть пудренный парик.

Закончу в нескольких словах историю Пеписа, которую его дневник доводит только до 1669 года. Его зрение к этому времени очень ослабело; он счел необходимым отказаться от своих стенографических каракулек, и, кажется, это было для него большой жертвой. «Я больше не буду вести эти записи,— говорит он.— Я как будто уже вижу себя в гробу, к каковой печальной минуте и ко всем горестям, сопровождающим слепоту, да подготовит меня господь бог!»

Однако он не ослеп и еще долго выполнял свои обязанности секретаря адмиралтейства. После его блестящей речи перед комиссией по расследованию ему навязали политическую роль. Его сделали членом парламента, но там он не выступал ни разу. Это не помешало ему иметь врагов. Его обвинили в папизме, модном

тогда преступлении. Лорд Шефтсбери донес, что он держит у себя распятие из слоновой кости, был издан приказ о его аресте, и Пепис попал в Тауэр, где и провел некоторое время, утешаясь посещениями высокопоставленных друзей и принимая свою опалу как философ. Заключение его, впрочем, было недолгим, и его обвинители ничего не добились, кроме павшего на их голову кратковременного позора. Он снова занял свое место в парламенте и в адмиралтействе. Отдавая большую часть времени трудам в этом ведомстве, он находил еще возможность заниматься искусством, науками, литературой, интересоваться всеми полезными или занимательными открытиями. Он покровительствовал художникам, собирал книги и гравюры, имел дома маленький музей редкостей. Его имя значится в числе основателей Королевского общества, он даже был его президентом. С падением Иакова II он потерял все свои должности и удалился от дел, имея приличный достаток и сохранив всех своих друзей. Он умер в 1703 году. В Кэмбридже, доступные для обозрения, хранятся его коллекции, которые он завещал Мэдлин колледжу, и если можно судить о человеке по его библиотеке, Сэмюэл Пепис, без сомнения, достоин самой высокой оценки.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СЕРВАНТЕСА



Если спросить у испанца или у кого-либо, специально занимавшегося испанским языком, что следует думать о стиле *Дон Кихота* или *Novelas ejemplares* *, они, вероятно, ответят, что он неподражаем и непереволим. Может быть, это до известной степени правильно, и мне кажется, что так вообще обстоит дело со всеми подлинно оригинальными писателями. Однако славой своей Сервантес в значительной мере обязан как раз переводчикам, а его соплеменники, долгое время считавшие его лишь изящным и живым прозаиком, заметили, что это лучший их писатель, лишь когда таковым его объявила вся Европа. Лиценциату Маркесу де Торрес, начальнику пажей кардинала, архиепископа толедского, выпала честь быть цензором второй части *Дон Кихота*. По-видимому, он был весьма неглупый человек и к тому же достаточно хороший писатель, чтобы Сервантеса оказалось возможным обвинить в том, что он сам написал *argobación* **, документ, на основании которого книга его была разрешена к продаже. «25 февраля 1615 года,— пишет лиценциат Маркес в означенной *argobación*,— я имел честь сопровождать его высокопреосвященство к только что прибывшему французскому послу. Во время разговора с дворяна-

* «Назидательных новелл» (исп.).

** Одобрение (исп.).

ми его свиты мне был задан вопрос, какие испанские писатели пользуются наибольшей славой. Когда я назвал Мигеля Сервантеса, цензором которого я как раз тогда был назначен, господа эти не нашли достаточно ярких слов, чтобы выразить восхищение, которое он вызвал у них на родине. Они наизусть знали *Галатею*, первую часть *Дон Кихота* и так горячо хвалили Сервантеса, что мне пришлось предложить им познакомить их с писателем; предложение мое они приняли с живейшей охотой. Так как они забросали меня сотней вопросов о нем, я вынужден был сказать, что Сервантес — старый солдат, дворянин и бедняк. Тогда один из французов воскликнул: «Как же Испания не даст такому человеку хорошей пенсии из доходов казначейства?» Но один из его товарищей возразил: «Если его заставляет писать нужда, то пусть уж небо не даст ему обогатиться, чтобы он, оставаясь в бедности, продолжал обогащать своими творениями весь мир». Слава лиценциату Маркесу, образцу для всех цензоров, который ни слова не вычеркнул из второй части *Дон Кихота* и сохранил нам столь лестную для наших сограждан историю!

Как только Сервантес был благоговейно и безоговорочно признан гением — а случилось это спустя довольно долгое время после его смерти, — любопытные начали усиленно выискивать все подробности его полной приключений жизни. К сожалению, было уже поздно, и для составления его биографии сохранилось лишь очень мало достоверных сведений, да и те были смешаны с большим количеством апокрифов и просто вымышленных анекдотов. Имя Сервантес, Сербантес или Зербантес — это одно и то же — в Испании встречается нередко. Всюду, где оно ни попадалось, — в любой приходской книге или в каком-либо другом источнике, — данная местность признавалась родиной писателя. При поддержке муниципального патриотизма семь городов — совершенно так же, как это было с Гомером, — оспаривали славу считаться местом его рождения, и каждый из них нашел более или менее ловких защитников своих притязаний. Мадрид, Севилья, Лусена, Толедо, Эскивьяс, Алькасар де Сан-Хуан, Сонсуэгра имели своих сторонников и в письменной форме приводили доводы в свою пользу. Первым внес в свои исследования обстоятельную критику дон

Мартин Фернандес де Наваррете: его *Жизнь Сервантеса*, вышедшая в 1819 году,—превосходная работа. После него в биографии, которую Испанская академия признала достойной стать предисловием к выпущенному в 1862 году великолепному изданию *Дон Кихота*, дон Херонимо Моран исправил немногочисленные ошибки и добавил несколько небольших недавно открытых подробностей. В отличие от своих предшественников оба эти ученые остереглись выдавать свои гипотезы за необычайные открытия, а если и бывали вынуждены за отсутствием документов строить те или иные предположения, то делали это весьма добропорядочным образом и сами указывали на то, что не уверены в своих построениях. Из этих двух работ мы и черпаем подробности, которые, по нашему мнению, способны особенно заинтересовать французских читателей. Сейчас уже точно установлено, что Мигель Сервантес родился в Алькала́ де Энарес 7 октября 1547 года. Запись о его крещении сделана в книге прихода Санта-Мариа Ла Майор и датирована девятым числом того же месяца. Любопытным еще показывают как остаток дома, в котором автор *Дон Кихота* увидел свет, старую стену, примыкающую к воротам монастыря капуцинов. Трудно судить о доме по одному звену стены, в котором к тому же нет ничего примечательного.

Отец его, дон Родриго, был идадьго, добрый дворянин и обедневший потомок одного *rico* *оте* Леона и Кастилии, принимавшего в войсках святого короля Фердинанда участие в завоевании Севильи. Нет дворянства более почетного. Его прабабка по отцу, донья Хуана де Авельянеда (запомните это имя), была дочерью дона Арьяса де Сааведра, прозванного *El Famoso*, из рода графов де Кастрильо. Полагают, что именно в память об этой даме Мигель де Сервантес прибавил к своему имени имя Сааведра. В те времена в дворянских семьях был обычай благодарить таким образом за какое-либо благодеяние, совершенное более или менее дальним родственником.

У Родриго было четверо детей, два мальчика и две девочки, от одной матери, доньи Леонор де Кортинас, тоже происходившей из хорошей дворянской семьи и такой же бедной, как ее муж. Матери великих людей нередко имели весьма благотворное влияние на воспитание своих детей, и нам хотелось бы знать хоть какие-

нибудь подробности о характере доньи Леонор, но, к сожалению, нам о ней ничего не известно. Есть кое-какие основания полагать, что она была в родстве с доньей Магдаленой де Кортинас, тещей Лопе де Вега.

Не больше сведений имеем мы и о детстве Мигеля. Он был младшим из четырех детей дона Родриго, и, по всей вероятности, воспитанию его уделялось еще меньше внимания, чем воспитанию его старшего брата. Г-н Наваррете знал одного профессора Саламанкского университета, дона Томаса Гонсалеса, утверждавшего, будто в каком-то списке студентов этого университета ему попалось имя «Мигеля Сервантеса, проживающего на *calle de Moros*»*. Однако мы уже говорили, что фамилия Сервантес встречается не реже, чем имя Мигель, да и никому больше не удалось найти этот список. Правда, одна из новелл Сервантеса, *Подставная тетка (La tía fingida)*, доказывает, что он был отлично знаком с нравами и поведением саламанкских студентов, и отсюда сделали вывод, что он, видимо, учился в этом университете. Но при такой аргументации можно доказать также, что он учился в школе воров, которую содержал сеньор Мониподьо: ведь и о ней он говорит с не меньшей осведомленностью в новелле *Ринконете и Кортадильо*. Нам представляется, что он вообще вряд ли когда-либо посещал лекции в каком-нибудь университете. И действительно, впоследствии недруги Сервантеса называли его *ingenio lego* — «мирской писатель», а в те времена это означало: не воспитанный ни в одном из крупных учебных заведений. Ясно, что он немного знал латынь, хотя порою и ошибается в цитатах, приписывая Вергилию то, что принадлежит Горацию, и наоборот. Что до греческого, то о познаниях его можно судить по следующему отрывку: «Знаешь ли ты, что такое философия? Слово это состоит из двух греческих имен существительных — «филос» и «софия». «Филос» значит «любовь», а «софия» — «познание». На это можно возразить, что у Сервантеса это говорит пес, но ведь он предварительно сообщал, что пес этот учился в коллеже.

В одном из своих прологов он говорит, что еще в детские годы пристрастился к чтению, но, не имея книг, ста-

* Улица Мавров (исп.).

рательно собирал на улице обрывки печатной бумаги. У него была прекрасная память, и уже в пожилом возрасте он декламировал целыми тирадами стихи, которые запомнил с детства, когда слышал их из уст самого Феспиды Испании, Лопе де Руэда.

Если он и не учился в коллеже, то, во всяком случае, прошел какой-то курс гуманитарных наук. В 1568 году по случаю смерти королевы Изабеллы де Валуа, супруги Филиппа II, некое духовное лицо по имени Хуан Лопес де Ойос, профессор латинского языка и классической литературы в Мадриде, выпустил очень толстую и очень скучную книгу под следующим заглавием: *История и правдивое повествование о болезни и блаженном уходе в лучший мир и о пышном погребении яснейшей королевы Испании доньи Исавель де Валуа, государыни нашей, с изложением надгробных слов, надписей и эпитафий на ее гробнице и с добавлением рассказа о различных обычаях и обрядах, принятых у многих народов при погребении усопших, согласно оглавлению настоящей книги. Мадрид 1568 in-8^o*. Фасад может дать полное представление о всем здании. Вероятно, с целью удлинить свой труд и сделать его достойным заглавия ученый муж счел необходимым включить туда стихотворения своих учеников, и среди этих произведений одна длинная элегия, один сонет и одна многословная эпитафия принадлежат перу дона Мигеля де Сервантеса, «его возлюбленного ученика». Учитель, разумеется, находит эти произведения замечательными. Но прежде чем высказаться о них, заметим, что Хуан Лопес де Ойос получил кафедру в Мадриде лишь в 1568 году и что он никогда не был преподавателем университета в Алькала де Энарес, города, где Сервантес, по-видимому, провел первые годы своей жизни. Выходит, значит, что будущий автор *Дон-Кихота* имел мужество двадцати лет от роду сесть на школьную скамью. Ограничимся переводом эпитафии: ее вполне достаточно, чтобы составить представление о двух других произведениях.

«Здесь покоится слава земли испанской, здесь покоится лучший цветок французской нации, здесь покоится та, что сумела примирить враждующих, увенчав войну оливою мира. Здесь, в малом клочке земли, скрыто наше светило запада. Здесь погребена бесподобная причина за-

ката нашего счастья. Гляди же, каков мир и царящая в нем жестокость, и как даже над самой ликующей жизнью смерть постоянно одерживает победу. Пойми также, каким блаженством наслаждается наша знаменитая королева в вечном царстве славы. Когда война ушла с нашей иберийской земли, оставив её свободной, лучший из её цветов внезапным дуновением унесен был на небо. И пока не оборвался его стебель, ужасная катастрофа скрыта была от мира. Так несчастный, ставший жертвой огня, замечает его, лишь когда он начинает жечь».

После того, как биографу посчастливилось обнаружить в исправленной ученической тетради ранние стихи знаменитого писателя, он тотчас же с досадой замечает, что затем следует основательная лакуна, внушающая подозрение, что тут скрывается некая важная тайна. С 1568 года все следы Сервантеса теряются до 1570 года, когда он появляется уже в Риме, в доме кардинала Аквавивы. Между тем некоторые фразы Сервантеса в ряде его произведений как будто намекают на какое-то злополучное происшествие, приключившееся с ним именно около этого времени. Не так давно в архивах Симанкаса нашли приказ об аресте, выданный вследствие заочного осуждения некоего Мигеля *de Zerbantes* и датированный 15 сентября 1569 года. В XVI веке орфография еще не была твердо установлена, да и теперь между *Zerbantes* и *Servantes* не существует никакой разницы в произношении. В то время было делом вполне обычным писать одно и то же имя в одном и том же документе на разные лады. Весьма возможно, что этот скрывшийся от суда обвиняемый был автор *Дон Кихота*. Он приговорен к десяти годам изгнания и к отрезанию кисти руки за нанесение ран некоему Антонио де Сигура, обозначенному как *andante en esa corte*. Насчет того, что означает это выражение, среди комментаторов существуют разногласия. По мнению одних, оно относится ко всякому лицу, находящемуся при дворе либо по должности, либо по своему личному делу; другие полагают, что звание *andante en la corte* присваивается специально судебным чиновникам, состоящим при особе суверена. Последнее толкование как будто подтверждается приговором укрывшемуся от суда: действительно, законы того времени карали десятью годами изгнания

за удары, нанесенные альгуасилу при исполнении им служебных обязанностей. Что касается отрезания кисти руки, то оно грозит всякому, кто обнажает шпагу в месте, где пребывает король. Наконец, некоторым критикам представляется, будто подтверждение такого происшествия можно найти в одном эпизоде из *Дон Кихота Авельянеды*, где добрый рыцарь наносит рану альгуасилу, приняв его за злого рыцаря, а известно, что Авельянеда не раз приписывал своему *Дон Кихоту* общеизвестные поступки или мнения Сервантеса.

Добавим, что кардинал Аквавива, под чьим покровительством Сервантес появляется в Риме, был послан в Испанию папою Пием V для выражения Филиппу II соболезнований по поводу кончины королевы Изабеллы, а, возможно, также и для того, чтобы потребовать объяснений насчет смерти дона Карлоса. Прибыв в Мадрид в сентябре 1568 года, он, насколько известно, был довольно холодно принят Филиппом II. Зато испанские гуманисты усиленно ухаживали за ним, и он сразу же стал для них чем-то вроде Мецената. Уже второго сентября 1568 года он получил свой паспорта, и путь его пролегал через Валенсию; между тем в романе *Персилес и Сихизмунда* Сервантес с такой точностью изобразил путь следования легата, что невольно возникает соблазн предположить: не сопровождал ли он его? Обычные в судопроизводстве, особенно испанском, проволочки достаточно объясняют, почему только в сентябре 1569 года вынесен был приговор за преступление, совершенное в прошлом году. Несмотря на деспотизм Филиппа II, в его царствование происходит немало поединков, а альгуасилы, которые должны были не допускать их, нередко получали свою долю ударов шпагой. Нет ничего необыкновенного в том, что юноше двадцати одного года, каким был наш писатель, довелось схватиться с альгуасилом... Но идет ли речь именно о нашем Сервантесе? Проявим, по примеру г-на Морана, осторожность и предоставим читателю решать самому на основании упомянутых нами документов.

Был ли Сервантес изгнан или нет, но некоторое время он пребывал в доме кардинала Аквавивы в качестве *услужавшего*: на языке того времени название это применялось и к камердинерам, и к секретарям, и к дворья-

нам свиты — словом, ко всем, кто в любом качестве находился под покровительством крупного сеньора, вроде такого, каким был кардинал. Положение это, каково бы оно там ни было, ненадолго устроило Сервантеса, ибо через несколько месяцев он завербовался в солдаты. Кажется, сперва он поступил в одну из пехотных частей на службе святого отца, но затем вскоре оказался в *tercio*, или испанском полку. В 1570 году он был солдатом в *tercio* полковника Мигеля де Монкадо, в роте капитана дона Дьего де Урбина. Находясь на одном из кораблей эскадры, которой командовал Марко Антонио Колонна, он плавал некоторое время по Адриатике, потерпел кораблекрушение у Каттарской бухты и едва не был захвачен турками. В следующем, 1571 году, 7 октября, в день своего рождения, он принимал участие в битве при Лепанто на галере «Маркеса», в эскадре, которой командовал Андреа Дориа. Уже в течение нескольких дней Сервантес болел лихорадкой, и капитан уговаривал его отлежаться в трюме. Однако Сервантес так настаивал на том, чтобы принять участие в сражении, что Дьего де Урбина должен был уступить. Он дал ему под начало двенадцать солдат и назначил место «перед шлюпками»: на галере это, кажется, как раз средняя часть корабля.

«Маркеса» в этом бою покрыла себя славой. Она напала на один из сильнейших кораблей оттоманского флота, александрийскую адмиральскую галеру, и после долгого кровопролитного боя принудила ее спустить флаг. Сервантес получил три огнестрельные раны, причем две из них в грудь; благодаря кирасе или нагруднику буйволово́й кожи, который тогда носили в пехоте, раны эти, видимо, оказались не такими тяжелыми. Третья рана, самая серьезная, раздробила ему левую руку и искалечила на всю жизнь. В одном стихотворении, о котором нам еще придется говорить, он так описывает свои впечатления от этого страшного дня:

«Одною рукой сжимал я шпагу, из другой текла у меня кровь. В груди я ощущал глубокую рану, а левая рука моя была раздроблена на тысячу осколков. Но душа моя так ликовала от победы христиан над неверными, что я не замечал своих ран, хотя смертная мука перехватывала мне дух и временами я терял сознание».

Мы сделали наивозможно буквальный перевод. Стихи плохие, нескладные, но они одушевлены благородным, живым и достойным Сервантеса чувством.

После сражения «Маркесу» в числе прочих судов флота посетил дон Хуан Австрийский, чтобы выразить благодарность победителям, принести помощь и утешение раненым. Он похвалил Сервантеса и увеличил ему жалованье на три или четыре дуката. В те времена это была единственная награда солдат. Вскоре раненых спустили на берег в Мессине, и 23 января 1572 года Сервантес получил 20 дукатов наградных, а в Палермо, 17 марта того же года, еще 22 дуката. Семь месяцев провел он в Сицилии, лечась в госпиталях от ран и не оставлявшей его лихорадки. Тотчас же по выздоровлении он был назначен в *tercio* дона Лопе де Фигероа, в роту дона Мануэля Понсе де Леон, и в 1573 году принял участие в экспедиции дона Хуана Австрийского против Туниса. После взятия этого города полк Фигероа возвратился в Италию и стоял гарнизоном последовательно в Генуе, Флоренции, Палермо, Ферраре, Парме, Милане и Неаполе. «Более года, о Неаполь, ходил я по твоим мостовым», — говорит Сервантес в *Путешествии на Парнас*.

В конце 1575 года он получил разрешение возвратиться в Испанию, чтобы ходатайствовать о продвижении по службе. При нем были самые почетные удостоверения, а также письма дона Хуана Австрийского и герцога де Сеса, которые просили назначить его командиром роты пехотинцев. Он отплыл на галере *El Sol** вместе со своим братом Родриго, тоже солдатом. Вблизи берегов Испании их атаковали и после довольно долгого сражения захватили алжирские пираты. Оба брата стали рабами греческого ренегата по имени Дали Мами, помощника или товарища другого ренегата, албанца, которого звали Арнаут Мами. Из-за схожести имен этих двух негодяев впоследствии путали.

Письмо дона Хуана, найденное у Сервантеса, навело пиратов на мысль, что он может заплатить большой выкуп, и, несмотря на его уверения, что он всего-навсего солдат, с ним упорно обращались как с военачальником, то есть очень плохо по алжирскому обычаю, рассчитанному

* Солнце (исп.).

на то, что пленник постарается поскорее внести за себя выкуп. Он попытался бежать и добраться до Орана, где стоял испанский гарнизон, но заблудился, был пойман, закован в цепи и оказался под гораздо более строгим надзором. В тот же год он еще трижды делал попытки к бегству, но всякий раз безуспешно. Его семья, извещенная о пленении обоих братьев, отослала в Африку все деньги, какие только могла собрать, но мавры требовали большого выкупа, и освободить удалось одного Родриго. Тот, возвращаясь в Испанию, имел в проекте согласованный с братом Мигелем план бегства, который надо было сообщить испанским властям, чтобы они согласились помочь его осуществлению. Речь шла о том, чтобы в некий условленный день небольшое судно было послано к удаленному на одну милю от Алжира пункту побережья, где уже должно было находиться некоторое количество пленных испанцев. В саду, принадлежавшем одному алжирскому мавру, имелось подземелье, где уже довольно давно скрывались рабы-христиане. Вероятно, это была заброшенная силосная яма, увеличенная, может быть, пленником, который работал в саду. За исключением этого человека и обитателей подземелья, среди которых находился Сервантес, никто не знал о его существовании. Однако им надо было как-то жить в ожидании корабля-освободителя. Поставщиком они избрали одного испанца, уроженца Мелильи, по имени *el Dorador**, и в течение некоторого времени этот человек добросовестно исполнял свои обязанности. 20 сентября 1577 года, в день, установленный написанной Сервантесом инструкцией, баркас под командованием майорканца по имени Виана подошел к берегу и стал подавать условные знаки. К несчастью, его тотчас же заметили мавры и забили тревогу. Баркас поспешил уйти в открытое море. С целью приукрасить эту историю рассказывали, будто Сервантес воспрепятствовал своим товарищам воспользоваться благоприятным случаем и погрузиться на баркас и заставил их ждать *el Dorador'a*, который должен был отправиться вместе с ними. Но если бы беглецы могли попасть на судно, было бы совершенной нелепостью оставаться на берегу, поджидая одного

* Золотильщик (исп.).

человека. На следующий день баркас Вианы уже не появился, а *el Dorador*, то ли со страху, который навела на него неудача, то ли соблазненный наградой, выдал пленных. Подземелье окружили, и они были снова захвачены. Говорят, некоторые из них провели там больше полугода.

Мавры думали, что план побега был подготовлен отцами милосердия, ведавшими делом выкупа пленных христиан. Путем самых ужасных угроз они понуждали своих пленников раскрыть, кто был организатором заговора. Сервантес сказал, что он один продумал это дело и руководил им, и его великодушие и смелость произвели на варваров известное впечатление. Асан-Ага, дей Алжира, отличался крайней свирепостью. Каждый день он учинял жестокие казни. Попытки к побегу карались сажанием на кол, сдиранием кожи или палочными ударами, столь беспощадными, что смерть была неизбежна. Однако дей не подверг Сервантеса никаким мучениям: он удовольствовался тем, что отправил его на каторжные работы и велел не спускать с него глаз, говоря, что пока этот однорукий испанец в его власти, он может не опасаться за Алжир. *Beneficium latronis non occidere* *.

Приключение это может показаться чересчур романтическим, тем не менее оно удостоверено самым надежным образом. Бенедиктинец дон Дьего де Аэдо повествует о нем в своей *Истории Алжира* на основании свидетельств, собранных на месте, и оно подтверждается дознанием, во время которого опрошено было довольно значительное число испанцев, товарищей Сервантеса по плену. Все единодушно свидетельствовали о его мужестве, преданности товарищам, влиянии, которое он имел на них и даже на своих тюремщиков. При всей своей бедности он умудрялся помогать тем, кто не умел, подобно ему, бороться с нуждой.

На каторге Сервантес продолжал обдумывать планы побега и сочинял стихи. До нас дошло его послание к дону Матео Васкесу, любимцу Филиппа II, принимавшему такое большое участие в процессе, затеянном против Антонио Переса по поводу убийства Эсковеды. Рукопись этого произведения, которое, насколько нам известно, бы-

* Благоденствие разбойника — не убивать (лат.).

ло опубликовано лишь в 1862 году в большом издании Сервантеса, предпринятом Испанской академией, обнаружили в архиве графа Альтамиры. Рукопись не датирована, но если принять во внимание то место, где автор говорит, что он служит королю уже десять лет, она, по видимому, относится к 1579 году. В ней Сервантес просто и сжато излагает все свои приключения, начиная с поступления на службу и кончая захватом его в плен алжирцами. Он закликает короля уничтожить пиратское гнездо: «Дело это нетрудное. Надо стереть с лица земли жалкую, крепостцу, где мало и оружия и защитников. Каждый день толпа несчастных взирает на горизонт, надеясь увидеть испанский флот... Государь! Ключ от мрачной темницы, где гибнут двадцать тысяч христиан, — в твоих руках». Стиль этого послания почти совершенно свободен от выкрутасов, столь излюбленных в то время и представляющихся нам теперь столь нелепыми, но, по правде сказать, это не более как рифмованная проза. В нем нет и намека на художественный замысел или поэтический порыв. Впрочем, этот упрек обычно делают всем стихам Сервантеса.

Ни адресат, ни его секретарь не являлись любителями поэзии. У них были дела поважнее, чем выслушивание жалоб храброго солдата. Но Сервантес, со своей стороны, не дожидаясь, пока Васкес примет участие в его судьбе. В условиях каторги, под надзором тюремщиков, ему удалось склонить на свою сторону одного мавра, взявшегося доставить губернатору Орана письмо с изложением плана побега и просьбой помочь его осуществлению. Мавра захватили в тот момент, когда он приступил к выполнению своей миссии. Он оказался верным слову и предпочел умереть на колу, но не выдал тех, кто его послал. Дей велел умертвить на глазах Сервантеса трех испанцев, захваченных на дороге в Оран. Самого Сервантеса он приговорил к тысяче палочных ударов, но еще до начала казни помиловал. В эпизоде с пленным в первой части *Дон Кихота* наш писатель так изображает Асана-Агу: «Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши — и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости и что он человеконенавистник по своей при-

роде. Единственно, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Сааведра,— тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова».

Может быть, Сервантес как-то заморозил этого свирепого человека? Асану-Аге стали приписывать нечто вроде великодушия. Нам кажется, что он этого не слишком заслуживал. Конечно, ему было бы приятно умертвить собаку-христианина, но он все же предпочитал получить выкуп за пленника, чем отправить его на казнь, а ему представлялось, что от человека, которому дали рекомендацию дон Хуан Австрийский и герцог де Сеса, он, наверное, получит крупный куш. Он был слишком расчетлив, чтобы потерять такой залог в минуту гнева.

Хотя счастье беспрестанно изменяло Сервантесу, его решимость оставалась непоколебимой, и он сделал последнюю попытку вернуть себе свободу, привлекая к осуществлению своего замысла довольно значительное число своих товарищей по несчастью. От одного майоркского купца, по имени Онофре Эхарке, обосновавшегося в Алжире, он получил сумму денег, достаточную для того, чтобы зафрахтовать судно, на которое должно было погрузиться около сотни пленников. Дело это казалось вполне верным, но и на этот раз среди заговорщиков нашелся предатель. Один монах ордена св. Доминика, по имени Хуан Бланко де Пас, выдал их дею, рассчитывая на хорошее вознаграждение. Асан-Ага, не отличавшийся расточительностью, дал этому негодяю одно экю и горшок масла.

Сервантесу удалось бежать с каторги, и он укрылся у одного друга. Но, узнав, что заговор раскрыт, он поспешил успокоить майоркского купца и передать ему, что он все берет на себя. В то же время он предупредил сообщников, чтобы они все ввалили на него одного и во всем только его и обвиняли. Об этом самым решительным образом свидетельствует один из сотоварищей Сервантеса, участник этой злополучной авантюры. Однако, отличаясь не только смелостью и великодушием, но также благоразумием и ловкостью, Сервантес устроил так,

что к дею его привел один мавр, питавший к нему некоторое сочувствие и в данном случае оказавший ему известное покровительство. Асан-Ага велел сперва надеть ему на шею петлю, а затем потребовал назвать имена тех, кто должен был бежать вместе с ним. Сервантес назвал ему четырех испанских кавалеристов, которым побег удался, и во время всего допроса держал себя так ловко, что на купца Эхарке, наиболее, с точки зрения мавров, виновного, не пало даже тени подозрения. Дей и на этот раз проявил расчетливость либо великодушие; однако по его приказу Сервантеса опять посадили на цепь и стерегли теперь в самом дворце. По обычаю Асана-Агу должны были сменить, и ему предстояло вернуться в Константинополь, причем он заявлял, что заберет пленника с собой.

Мать Сервантеса и его сестра Андреа собрали все, что у них было, то есть около 300 дукатов, которые и были переданы братьям милосердия в середине 1579 года. Герцог де Сеса проявил участие и замолвил за них слово перед королем. Все, что для них сделал Филипп II, свелось к выдаче свидетельства на право торговли с Алжиром. Такие свидетельства необходимы были для вывоза товаров, они принимались и переуступались как имеющая хождение ценность. Г-жа Сервантес продала полученное ею свидетельство за шестьдесят дукатов. Наконец, несколько алжирских купцов сложились и дополнили сумму, которая требовалась для выкупа прославленного пленника. Сперва Асан-Ага потребовал тысячу экую, однако затем он снизил эту сумму до пятисот, вероятно, убедившись, что больше ему не получить. Не так-то легко установить, о каких экую шла речь и во сколько оценили Сервантеса. По Наваррете, пиратам заплатили, включая всевозможные подачки, сумму в 6 770 реалов.

Мать и сестра Сервантеса внесли	3300 реалов
Алжирские купцы	2970 »
Орден милосердия	250 »
Некий Ф. Караманчель, состоявший на службе государственного советника Сапаты	250 »

Итого 6770 реалов

Сделка завершилась лишь 29 сентября 1580 года, в тот самый момент, когда Асан-Ага намеревался уезжать и когда Сервантес уже находился, скованный, на одной из галер, готовых отплыть в Константинополь.

Освободившись, он еще два месяца оставался в Алжире. Зачем — объяснить довольно трудно. Существует версия, согласно которой Бланко де Пас, предавший его дело, донес на него и инквизиции. Этот негодяй утверждал, что священным трибуналом на него возложено тайное поручение, и, по всей вероятности, таким способом вытягивал деньги у запуганных им людей. До тех пор, пока о нем не узнали всю подоплеку, это был очень опасный мерзавец. Сервантес раскрыл его измену, и некоторые из пленников, как выкупленных, так и невыкупленных, объявили о своем намерении самолично расправиться с ним ударом кинжала. Отсюда якобы проистекала и его ненависть к Сервантесу и то, что последний не слишком торопился с возвращением в Испанию. Прежде чем уехать, он хотел, чтобы самым торжественным образом были засвидетельствованы его мужество и стойкость, а главное — его непоколебимая твердость в вере. И действительно, сохранилось нечто вроде опроса свидетелей, большая часть которых заявляет, что в течение всего времени нахождения Сервантеса на каторге он не только ревностно соблюдал религиозные обряды, но что ему удалось даже вернуть в лоно церкви пять молодых ренегатов-испанцев.

Имея при себе это свидетельство, он возвратился в Испанию к своей прежней службе в *tercio* полковника Фигероа, где состоял прежде и где вновь встретился со своим братом Родриго. В ту эпоху часть испанской пехоты вооружена была только щитом и мечом, так что увечье Сервантеса не делало его совершенно непригодным к военной службе. В 1581 году обоих братьев послали в Португалию, куда Филипп II отправил армию под командованием герцога Альбы. Завоевание этого королевства было уже закончено, но острова Терсейрес еще стояли за приора Крато, поддержанного французским флотом. Адмирал Вальдес, которому поручено было подавить сопротивление островов, погрузил на корабль *tercio* Фигероа, но экспедиция эта ограничилась разведкой. В следующем году ее предприняли снова, поручив на этот раз более

смелому и ловкому начальнику, дону Альвару де Басан, маркизу де Санта Крус. 25 июля 1582 года Сервантес и его брат присутствовали при морском сражении, в котором французский флот был разгромлен в виду острова Сан Мигель. К сожалению, победа эта была запятнана отвратительными жестокостями. Известно, что маркиз де Санта Крус велел перебить всех захваченных в плен, и среди них был французский адмирал Филипп Строцци, которого бросили в море раненого, но еще живого.

По всей видимости, после этой смертельной схватки испанский флот был не в состоянии напасть на острова Терсейрес. Адмирал Филиппа II направился в Испанию, чтобы снарядиться заново, и еще через год возвратился для нападения на португальцев, которых испанцы считали мятежниками. Оба брата Сервантес участвовали и в этой экспедиции и в штурме береговых укреплений, воздвигнутых для того, чтобы помешать высадке десанта. Так как испанские баркасы не могли пристать к берегу, солдаты бросились в море и по пояс в воде добрались до суши. Родриго Сервантес оказался третьим из тех, кто вышел на берег, несмотря на волны и выстрелы из аркебуз. Победоносная армия возвратилась в Кадис в сентябре 1583 года.

О пребывании Сервантеса в Португалии, где он со своим *tercio* провел более двух лет, ничего не известно. По тому, как он говорит об этой стране, видно, что она ему понравилась. В своем последнем романе *Персилес и Сихизмунда* он не нахвалится вежливостью и приветливостью португальцев. Особенно хвалит он жителей Лисабона. «На женщин здесь не удивишься и не налюбишься», — говорится в романе.

Из этого, естественно, сделали вывод, что у Сервантеса в Лисабоне было любовное приключение, а так как вскоре после этого у него в доме появилась побочная дочь, решили, что мать ее португалка. Более того: если бы эта дочь родилась не в Португалии, были бы основания полагать, что она родилась как раз в год женитьбы Сервантеса, а большинство его биографов не могут допустить, чтобы он оказался настолько безнравственным. Но, по правде говоря, толком ничего не известно: ни когда, ни где именно явилась на свет эта дочь; об этом упоминалось лишь в одном показании на суде, о чем

нам еще придется говорить. В 1605 году она заявляла, что ей двадцать лет. Но эту цифру — двадцать лет — ни от какой девицы ни в какой стране нельзя принимать как нечто безусловно достоверное. Мы весьма далеки от стремления очернить нравственность Сервантеса, к тому же недавние изыскания как будто подтверждают мнение о португальском происхождении матери этой побочной дочери.

После завоевания Азорских островов Сервантес как будто распротился с военной карьерой. Он отправился в Мадрид и стал добиваться какой-нибудь гражданской должности. Брат его Родриго получил звание «альфереса» (прапорщика) и отбыл в Нидерланды. В конце 1584 года, то есть, по-видимому, вскоре после своего приезда в столицу, Мигель Сервантес выпустил первые шесть книг *Галатеи*. Может показаться странным, что человек, вышедший из тюрем Асана-Аги и только что принимавший участие в кровопролитном сражении, начал свою литературную деятельность пасторалью. Но в те времена такова была мода. Хорхе де Монтемайор прославился своей *Дианой*, только что вышло несколько подражаний ей. Не пытаюсь развивать тот же сюжет, Сервантес стал писать в манере Монтемайора, и этот не им изобретенный искусственный жанр принес ему довольно заметный успех. Его *Галатея* выдержала несколько изданий. Ее тотчас же перевел на французский язык Сезар Уден, и она встретила в Париже такой же хороший прием, как и в Испании. Сейчас эти пастушеские романы читать очень трудно. Проза *Галатеи* старательно закручена. В ней полно инверсий, единственная цель которых, по-видимому, — показать, что автор не желает писать так, как все говорят. Она нашпигована всевозможными фигурами словесной игры и педантическими рассуждениями. Можно подумать, что Сервантес с самым непосредственным увлечением постарался запутать главную сюжетную линию, осложнив ее таким нагромождением побочных эпизодов, что этого не выдержит даже самое добросовестное терпение. Заметьте, что ни эта главная сюжетная линия, ни эпизоды не имеют никакой развязки, и невольно задаешь себе вопрос: а можно ли здесь вообще придумать какую-нибудь развязку? Мы, со своей стороны, сомневаемся, чтобы Сервантес когда-либо думал о

ней, ибо в ту эпоху было в обычае предлагать читателю подобную путаницу, не помышляя даже о том, чтобы как-то разъяснить ее. Кто мог тогда предвидеть, что автор *Галатеи* создаст *Дон Кихота* или *Novelas exemplares*? Кто мог угадать, что после сочинения, где все фальшиво, надуманно, приукрашено наперекор всякому здравому смыслу, то же перо создаст шедевр естественности и оригинальности! Сервантес был слишком скромнен и всегда готов подчиниться капризам моды. По тому, как он стал впоследствии говорить о пасторальном жанре, можно подумать, что он в глубине души презирал тех богов, которым воскурял фимиам. В одной из своих новелл он пишет: «...дама моего мясника... читала в каких-то книгах, что жизнь пастухов проходит в пении и игре на вольтке, свирелях, равелях, гобоях и других диковинных инструментах... как пел пастух Анфрисо, восхваляя несравненную Белисарду... с той самой минуты, когда солнце пробуждается в объятиях Авроры... Пастухи мои... пели... «Эй, куда волк пошел, эй, Хуаника!»... не под звуки... вольток, а постукивая... черепками, зажатыми в пальцах... Большую часть дня они проводили в искании на себе блох и починке сандалий, называя при этом друг друга не Амарилис... равно как и не Лисардо... а... Антон.:? Льоренте...».

Уже завоевав себе славу одного из «светлых умов» Испании, Сервантес в конце 1584 года женился на донье Каталине де Паласьос Саласар-и-Восмедьяно, проживавшей в Эскивьясе, где семья ее владела кое-какой недвижимостью (*una cosa salariega*). Отца доньи Каталины уже не было в живых, но дочь его могла получить наследство лишь после кончины своей матери. Некоторые биографы, из тех, что всегда стараются найти какую-то связь между произведениями писателя и обстоятельствами его жизни, высказали догадку, что под видом *Галатеи* Сервантес изобразил свою жену. Они забывают о скандальном приключении в Португалии. Напротив, все указывает скорее на то, что он женился по расчету. Обе семьи были связаны давнишней дружбой, и отец Сервантеса избрал мать доньи Каталины в качестве душеприказчицы. По-видимому, ей не пришлось этим долго заниматься. В щепетильно точном труде г-на де Наваррете можно прочесть, что мужу своему она принесла

182 297 мараведи, включая 37 500, составлявших его вклад в приданое. 34 мараведи равняются одному реалу, а 20 реалов — одному пиастру. Из этого явствует, что госпожа Сервантес не была богатой наследницей.

Несмотря на то, что у него была теперь молодая жена, Сервантес часто покидал Эскивьяс, чтобы повидаться с мадридскими гуманистами, побывать у книгопродавца, в особенности же для того, чтобы посещать спектакли. Тогда театры имелись во всех крупных городах Испании, а в Мадриде было даже несколько трупп, и все они пользовались большим успехом у публики. Это было еще новое развлечение, которое, однако, широко распространилось в течение самого короткого времени. Был период, когда в Мадриде насчитывалось до двадцати трупп комедиантов. В детстве Сервантес видел, как Лопе де Руэда играл на подмостках, установленных на площади или на гумне. Прошло немного лет, за это время и обстановка театральных зрелищ и актерский состав существенно усовершенствовались, а диалоги Лопе де Руэда сменились более или менее правильно построенными пьесами. Правда, больших каменных театральных зданий еще не было, но всюду вырастали просторные балаганы, вмещавшие значительное число зрителей. Испанская комедия началась, подобно греческой, со стихотворных диалогов, своеобразного парада двух или трех персонажей. Вскоре она дополнилась причудливо завязанной интригой, действие усложнилось, но в стиле речей было больше лирики, чем настоящего драматизма, а так как в Испании не появилось ни Эсхила, ни Софокла, публика тотчас же обнаружила вкус к пышности зрелища и к тому, что сейчас называется искусством театрального машиниста. Вот как сам Сервантес рассказывает о развитии испанского театра, за которым он наблюдал с величайшим интересом: «...я вспомнил представления великого Лопе де Руэда, мужа, славившегося остроумием своего ума и своею игрою на сцене... Этот уроженец Севильи, мастер-золотобой, дал изумительные образцы пасторальной поэзии, в этом его никто до сих пор не превзошел... На смену Лопе де Руэда пришел Наварро... Он несколько улучшил декорации и заменил мешок для костюмов сундуками и баулами; он вывел музыкантов, до того скрывавшихся за одеялом, на подмостки; он упразд-

нил бороды — а прежде никто не играл без накладной бороды, — он добился того, что все актеры стали выходить на сцену без этого украшения, кроме тех, кто изображал стариков... Он изобрел театральные машины, молнию, гром, облака, придумал, как устроить сражения и поединки...»

Насчет того, когда именно на подмостках начали выступать женщины, Сервантес никаких подробностей не сообщает. Нам думается, что в Испании, так же как и в Англии, женские роли сперва исполнялись юнцами, но вскоре появились и актрисы, многие из них прославились.

Общение с драматургами, вероятно, с директорами театров, актерами и, возможно, актрисами побудило Сервантеса к сочинению комедий. Тогда на испанском Парнасе пренебрегали мудрым наставлением Горация насчет *limes labor et mora**, и драматурги проявляли невероятную плодовитость. За весьма краткий промежуток времени, то есть с 1584 по 1587 год, было поставлено «двадцать или тридцать» его комедий, «и ни одну из них, — говорит он, — зрители не потчевали ни огурцами, ни какими-либо другими метательными снарядами, — их представления не сопровождалось ни свистом, ни криком, ни перебранкой». Из этих первых опытов сохранилось только два, да и те почти не заслуживали бы такой чести. Кажется, первой пьесой его были *Los tratos de Argel* (Алжирские нравы). Второй по времени — *Нумансия*, пьеса, несколько более известная и сохранившаяся даже для сцены после кое-каких изменений, вроде тех, что Гаррик внес в некоторые драмы Шекспира.

Сюжет *Los tratos de Argel* составляет приключение, свидетелем которого был, по-видимому, сам Сервантес: похищение юной мавританки испанским пленником. Как известно, оно является также одним из главных вставных эпизодов *Дон Кихота*. По преданию, в лице героя изображен некий капитан Руис Перес де Вьедма, а под отцом мавританки — Ахи Морато (Хаджи Муратом) подразумевается великодушный мавр, приютивший на несколько дней Сервантеса, когда он в последний раз пытался бежать, и с величайшей преданностью защищав-

* Тщательной работы подпилком (лат.).

ший его от ярости дея. В пьесе выведен и сам Сервантес под именем Сааведра; в этой эпизодической роли он декламирует несколько терцетов, сочиненных им на каторге и посвященных Матео Васкесу. Есть там один пленник, которому удается бежать. Он заблудился в пустыне и, сломленный усталостью, заснул. Проснувшись, он видит рядом с собой льва, который не только не съедает его, но даже выводит на верную дорогу. Интересно было бы знать: появлялись ли уже в 1584 году на сцене прирученные львы или же льва в *Tratos de Argel* изображал статист на четвереньках и в звериной шкуре? Как бы ни исполнялась эта сцена, она доказывает, что уже тогда в театре старались вызвать интерес зрителей способами, не имеющими отношения к искусству, ибо не подлежит сомнению, что пьеса Сервантеса ничего не потеряла бы, если бы из нее выкинули роль льва.

От других его пьес ничего не сохранилось, кроме главнейших некоторых из них, например, *Batalla naval* (Морское сражение), навеянной, кажется, воспоминаниями о Лепантской битве. Еще одна, под заглавием *La Confusa**, имела, насколько известно, большой успех: в *Путешествии на Парнас* Сервантес говорит, что «если верить молве, на сцене она казалась превосходной».

Нумансия, которая неоднократно переиздавалась, представляет собой весьма многословный и напыщенный пересказ того, что Плутарх и Аппиан сообщают о доблестном народе, покончившем самоубийством, чтобы не стать рабом римлян. Имена действующих лиц как будто взяты из Аппиана в испанском переводе, но из одного вождя, Ретогена-Карауна, Сервантес сделал двух персонажей — Теогена и Карабино. От начала до последней картины писатель дает однообразное описание мучений голода, перемежающееся несколько банальными тирадами о любви к родине. Стихи большей частью плоские и тяжелые — этот недостаток, вообще свойственный Сервантесу, тем более странен, что проза его часто достигает подлинно поэтических высот. Приведем лишь два знаменитых примера: похвала воину в *Дон Кихоте* и похвала свободе, которой наслаждаются цыгане, в *Цы-*

* «Путаница» (исп.).

ганочке, являют нам непревзойденные образцы стиля. При чтении стихов из *Нумансии* на смерть утомленному все время хочется воскликнуть: «Писал бы он прозой!» Можно упрекнуть Сервантеса и в ничем не оправданной грубости. Так, один нумантинский прорицатель, взывая к Плутону, называет его *cornudo* *. Писатель не постеснялся призвать к себе на помощь театрального машиниста, хотя это искусство делало тогда лишь первые свои шаги, и проявил большую заботливость о постановке. Об этом можно судить по его указаниям, составленным для театральной дирекции. Перед тем как Сципиону обратиться к своему войску, которое постоянно бьют нумантинцы, автор вводит в печатный текст драмы ремарку: «На сцену следует вывести как можно больше солдат, одетых по-римски и без *аркебуз*». В другом месте главный жрец нумантинцев совершает жертвоприношение; в тот момент, когда он уже намеревается поразить жертвенное животное (в данном случае барана), «под сценой катят бочонок, набитый камнями, пускают ракету, и демон, появляясь из люка, уносит барана».

Сервантес похваляется тем, что первый (так он, вероятно, вполне искренне воображал) вывел на сцену аллегорические персонажи. Действительно, в *Нумансии* выступают в качестве действующих лиц река Дуэро, Голод, Чума, Война. Мы не считаем, что этим следует гордиться. В любой пьесе аллегорические персонажи отнюдь не способствуют занимательности действия и в то же время отнимают у зрителя всякую иллюзию правдоподобия. Что же касается до заслуги изобретателя, то какой-нибудь эрудит мог бы признать первенство за Аристофаном, но, кажется, и в Испании до Сервантеса маркиз де Вильяна еще в XV веке и многие авторы мистерий выводили на сцену аллегорические персонажи и олицетворяли всевозможные добродетели и пороки. То же самое можно сказать и о разделении пьесы на три дня, или действия, о чем Сервантес, как он уверял, додумался первым. Немало поэтов делали это и до него, например, Хуан де ла Куэва и Крестоваль де Вируэс. Но, может быть, именно с *Нумансии* и *La Confusa* прочно установилось это деление на три действия, став своего

* Рогоносцем (исп.).

рода правилом, отклонения от которого уже не допускались.

По всей видимости, Сервантесу нужен был театр лишь для заработка, чтобы содержать семью, а не для литературной славы. Об этом достаточно ясно говорит спешка, с которой он работал. Впрочем, он не только писал плохие стихи, но также ходатайствовал о службе и заставлял хлопотать своих друзей. Притязания его были весьма скромные. В 1587 году он добился невысокой должности в управлении по снабжению армии и флота, или, вернее, во временной комиссии; должность эта приносила ему двенадцать реалов в день. Ему пришлось уехать из Мадрида в Севилью и поступить под начало алькальда Дьего Вальдивии, став его главным агентом. В этой должности он совершил несколько поездок по Андалусии то для закупки зерна, то для сбора денег, которые должны были поступать в королевскую казну.

22 января 1588 года он получил патент на должность королевского комиссара, выданный ему генеральным интендантом испанской армии доном А. Геварой. В обязанностях Сервантеса никакого изменения, по-видимому, не произошло, но служебное положение его несколько упрочилось, и, возможно, ему немного увеличили жалованье. Выполняя некое поручение, о котором мы ничего толком не знаем, но которое, несомненно, имело отношение к интендантской службе, он попал в Африку, посетил Мостаганем и Оран. Немного времени спустя он стал работать у другого генерального интенданта, дона Мигеля де Овьедо. Это не мешало ему все время хлопотать и посылать прошения королю и министрам. Обнаружена была докладная записка, которую он направил Филиппу II с просьбой дать ему назначение в Америку; в ней он специально ходатайствует о предоставлении ему одного из четырех вакантных мест: должности *contador mayor** Новой Гранады, должности губернатора провинции Соконуско в Гватемале, чиновника по выплатам морского ведомства в Картахене и, наконец, коррехидора в городе Ла Пас, в Перу. По характеру этих должностей видно, что Сервантес выставлял себя в качестве того, что мы

* Главного счетчика (исп.).

назвали бы теперь специалистом по финансовой части, впрочем, достаточно сведущим и в юриспруденции, раз он хотел получить место коррехидора в одном из городов Нового Света. В те времена не надо было быть крупным юристом, чтобы выполнять такие функции гораздо менее сложные, чем функции судей и адвокатов. Ответ на эту петицию, данный по повелению короля и, может быть, даже написанный его рукой, ибо никого так не одолевала мания лично помечать все бумаги, попадавшие к нему на глаза, как Филиппа II, был поистине следствием некоего счастливого озарения: «Оказать ему какую-нибудь милость в нашей стране (в Испании)». Если бы Сервантес уехал в Америку, вряд ли бы он написал *Дон Кихота*. Однако же обещанная милость так, видимо, и не была оказана, ибо еще в 1592 году он был интендантским комиссаром. В тот год ему пришлось иметь дело с правосудием. Он был обвинен в незаконной, без соответствующего разрешения, продаже трехсот фанег зерна, посажен в тюрьму в городе Кастро дель Рио по приказу дона Франсиско Москосо, коррехидора Эсихи, и должен был оставаться в заключении, пока не возместит стоимости незаконно проданного зерна. Коррехидор допустил превышение власти. Как военный чиновник, Сервантес, по испанским законам, подлежал суду привилегированного трибунала, королевского военного суда. Проведя в заключении всего несколько дней, он был условно выпущен из тюрьмы, и ему пришлось отправиться в Мадрид, чтобы дать отчет в своих действиях. Насколько мы можем судить, Сервантес только выполнил распоряжение своего непосредственного начальника Педро де Исунсы. Но вместо того, чтобы свалить с себя ответственность за подсудное дело, он смело взял ее на себя и старался только доказать законность или во всяком случае целесообразность принятой им меры. Решение трибунала нам неизвестно, но, по-видимому, оно было благоприятным для Сервантеса, ибо в следующем году мы находим его опять в Андалусии, выполняющим поручение интенданта Овьедо закупить большое количество зерна в окрестностях Севильи. В 1594 году он приехал в Мадрид и получил письменное распоряжение короля о взимании государственных сборов и пошлин, подлежащих выплате казначейству, с города Гранады и других южных горо-

дов — кажется, это была довольно важная миссия, занимавшая его в течение целого года. Из-за нее он едва избежал крупных неприятностей. Он передал одному негоцианту, по имени Симон Фрейре де Луна, сумму в 7 400 реалов, которые тот должен был внести в казначейство. Человек этот обанкротился до того, как выполнил поручение, и ответственность пала на Сервантеса. К счастью, во время ликвидации дел банкрота, которая состоялась в ноябре 1596 года, Сервантесу были возвращены все деньги.

Вскоре после этого — новая беда. Сервантесу нужно сдать отчет в определенный день, а у него нехватка — 2 641 реал. Это была не очень значительная сумма, но он не смог раздобыть ее немедленно, и трибунал *Contaduria mayor*,* известный своей суровостью, дал ему отсрочку на двадцать дней, а до того времени посадил его за решетку в Севилье в сентябре 1597 года. Вскоре Сервантес внес залог, равный требуемой сумме, и был выпущен на свободу. Нам кажется, что он отнюдь не был выдающимся финансистом, что порядок и методичность — качества, необходимые счетоводу, — были ему не свойственны. Впрочем, честность его никогда не бралась под подозрение. Выйдя из заключения, он не только сохранил за собой должность королевского комиссара, но, как мы знаем, многие семьи поручали ему ведение своих дел. По-видимому, он собирал и поступления для частных лиц всюду, где бывал по делам службы.

Тюремное заключение Сервантеса в Севилье — факт вполне доказанный, однако существует весьма странная версия, по которой место этого заключения было другое: не Севилья, а городок Аргамасилья в Ламанче. *Дон Кихот* начинается следующими словами: «В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать...» Казалось, за этой фразой что-то скрывается. Так как все комментаторы согласны в том, что родина *Дон Кихота* — Аргамасилья, надо было найти причину, по которой автор не захотел назвать это селение, и вот воображение заработало. Подобно другим, более значительным населенным пунктам, Аргамасилья тоже притязала

* Главной счетной палаты (исп.).

на то, что является родиной Сервантеса, однако ей не удалось доказать ничего, кроме факта, что в XVI веке некоторые из ее жителей носили ту же фамилию. Вынужденная отказаться от славы быть родиной такого гения, Аргамасилья уцепилась за славу быть его темницей. Только бы прославиться, а чем — это уж второстепенное дело. Сервантес якобы приехал туда требовать от имени казны уплаты по задолженности жителей Аргамасильи, они же, отнюдь не расположенные к сборщикам податей, нарочно затеяли с ним ссору, вследствие которой потом засадили его в тюрьму. Там Сервантес, на вынужденном досуге и к тому же вдохновленный столь поэтичным местом, написал первые главы или же, во всяком случае, набросал план *Дон Кихота*. Правда, в Аргамасилье нет и, вероятно, никогда не было тюрьмы, но ведь всюду, где имеются четыре стены, можно посадить человека под замок. Если какой-нибудь иностранец решится забраться в Аргамасилью, его сперва накормят отвратительным обедом, затем покажут старый дом, а в первом этаже этого дома комнату: вот она, тюремная камера Сервантеса. Так как в Испании цивилизация движется вперед гигантскими шагами, может случиться, что теперь вниманию путешественников станут предлагать подлинное перо, коим начертаны были первые главы *Дон Кихота*. К сожалению, неутомимые и весьма добросовестные изыскания г-на Наваррете камня на камне не оставили от притязаний Аргамасильи. Обследовав все ламанчские архивы, он не смог обнаружить ни малейших следов факта, который должен был обеспечить этому селению неувядаемую славу. Но почему же все-таки Сервантес не захотел его назвать? Некоторые изощренные умы открыли, что там мог проживать какой-нибудь родич жены Сервантеса, возражавший против ее брака, и что Сервантес пожелал наказать всех жителей Аргамасильи за преступления одного из них. Но, по правде говоря, нам непонятно, почему не принять объяснения, которое сам автор дает в последней главе своей книги. «Местожителство его Сид Ахмет точно не указал, — пишет он, — дабы все города и селения Ламанчи оспаривали друг у друга право усыновить *Дон Кихота* и почитать его за своего уроженца, подобно как семь греческих городов спорили из-за Гомера».

Когда подумаешь о всем том времени, которое Сервантес потерял, выполняя неблагодарные и недостойные его обязанности, хочется осыпать проклятиями его современников, обвиняя их в том, что они лишили потомство тех выдающихся произведений, которые он мог создать вместо того, чтобы составлять счета, инкассировать реалы и выписывать квитанции. Тем не менее не все это время было потеряно даром. Скитальческая жизнь, которую он вел в прелестной стране среди веселого, остроумного, самобытного народа, не могла не произвести на него глубокого впечатления, и впоследствии оно оказало свое действие. Доказательством этого служат *Novelas ejemplares* и *Дон Кихот*.

Не подлежит сомнению, что, выполняя свои служебные обязанности, Сервантес находил время для литературных занятий. Проживая в Севилье, он общался со всеми выдающимися умами своего времени; если он и не печатался, то читал свои произведения перед избранной аудиторией. В начале нашего столетия в бумагах одного севильского каноника, Франсиско Порраса де ла Ка́мара, обнаружена была рукопись, озаглавленная им *Собрание примечательных произведений Испании* и законченная в 1606 году, то есть за семь лет до выхода в свет новелл Сервантеса. Среди этих примечательных произведений находился и один его рассказ; почтенный представитель духовенства не побоялся включить его в свое собрание, хотя он и оставляет желать лучшего в смысле морали, и дамам его читать не совсем удобно. Речь идет о *Tía fingida* (Подставной тетке), которая входит сейчас во все издания *Novelas ejemplares*. Несмотря на недостатки, которые мы вынуждены были отметить, это подлинный шедевр. Даже если иметь в виду только стиль, *Подставная тетка* оставляет далеко позади себя *Галатею*, и в ней уже заметно, что автор владеет искусством повествования, в котором впоследствии будет неподражаем. В том же сборнике каноника находятся еще две новеллы Сервантеса: *Эстремадурский ревнивец* и *Ринконете и Кортадильо* — обе они были напечатаны автором в 1613 году. Вполне вероятно, что первые наброски *Дон Кихота* относятся к тому же времени, а привлекающая столь пристальное внимание фраза, где автор указывает, что произведение его задумано было в темни-

це, вполне подошло бы к его заключению в Севилье, ибо маловероятно, чтобы он намекал здесь на алжирскую ка-торгу и что еще до *Галатеи* мог возникнуть замысел его самого выдающегося произведения.

От времени пребывания Сервантеса в Севилье сохранилось и несколько поэтических опытов. В те годы он, видимо, славился своими эпиграммами. Вот одна из них. 1 июля 1596 года граф Эссекс захватил Кадис, обложил население контрибуцией и в течение двадцати дней развлекался тем, что жег и разрушал дома. Это был реванш за поход «Непобедимой Армады». Не получив никакого отпора, англичане выпили все вино, сожрали все съестные припасы, а затем преспокойно погрузились на суда и удалились. В продолжение этих двадцати дней оккупации севильские власти громогласно приказывали вооружаться, но шуму при этом было гораздо больше, чем дела. Герцог Медина Сидонья получил повеление собрать войско; некому военачальнику Бесерро поручили обучать рекрутов. Не хватало только оружия и денег, сказался также и некоторый недостаток воинского пыла у андалусцев. По этому именно поводу Сервантес сочинил следующий сонет:

«В июле была у нас еще одна святая неделя, о чем свидетельствуют некие братства, у солдат именуемые ротами, которые внушают страх черни, но отнюдь не англичанам.

По ветру летело столько перьев, что меньше чем за две недели пигмеи и голиафы скрылись и все здание рухнуло.

Бесерро * взревел и наколол их на вертел. Земля загремела, небо померкло, близок был конец света.

Граф Эссекс, не торопясь, ушел из Кадиса, и туда с разумной медлительностью триумфально вступил великий герцог Медина Сидонья».

Не без некоторого злорадного чувства читаем мы в истории XVI столетия об унижениях, которые претерпел в последние дни своей жизни Филипп II. Приятно представлять себе, как деспот, мечтавший о порабощении Соединенных провинций и Англии, узнал, что его непобедимый флот сожжен еретиками, что одна из лучших его

* *Beserro* — по-испански бычок.

морских гаваней захвачена врагами почти без боя, что из-за своего отвратительного управления страной он не может собрать ни оружия, ни солдат, чтобы отомстить за себя, и, наконец, что его собственные подданные смеются над его бедами, вместо того чтобы содрогаться от гнева при виде поражений родины.

Как нам кажется, подобного же рода чувство можно обнаружить в другом сонете Сервантеса, написанном спустя два года, по случаю смерти Филиппа II (13 сентября 1596 года). Во всех городах Испании, особенно в Севилье, происходили пышные траурные церемонии. Катафалк, воздвигнутый в соборе, слыл за настоящее чудо, и все устремлялись поглазеть на него, вместо того чтобы читать заупокойные моливы. По правде говоря, никто не мог сожалеть о конце столь длительного и столь тяжелого царствования. Для понимания этого сонета следует добавить, что в глазах кастильцев и вообще северных испанцев андалусцы и в особенности севильцы — это то же, что для парижан и нормандцев — гасконцы. Севилья — родина остряков, хвастунов и фанфаронов. Там все, от носильщика до знатного дворянина, непрерывно изощряются в прибаутках, насмешках и бахвальстве. Брантом составил из всего этого целую книгу, но напрасно он озаглавил ее *Испанское бахвальство*, надо было написать — *андалусское*. Такой старый солдат, как Сервантес, побывавший во всяких переделках, получивший три огнестрельные раны и много раз рисковавший жизнью, находясь в руках мавров, имел право немного позабавиться за счет севильских храбрецов, у большинства из которых для поддержания их боевой славы не было ничего, кроме длинных усов да осанки бреттера. Но не странно ли, что подходящий случай для насмешки над севильскими храбрецами наш писатель усмотрел в кончине Филиппа II? Мы не считаем, что для этого ему нужно было быть республиканцем или сторонником парламентского правления. Мы только думаем, что у него, как и у всех его современников, гора с плеч свалилась, когда умер самый мелочно-придирчивый государь, какой когда-либо существовал, король, который, получив от отца богатейшее наследство, оставил свое государство уменьшившимся, ослабевшим, разоренным, смертельно раненным.

Вот этот сонет. Он обращен «К гробнице короля в Севилье»:

«Черт побери! Я теряюсь при виде такого величия и дал бы дублон за то, чтобы суметь его описать. Кто не изумится, кто не восхитится при виде этой блистательной, этой пышной махины!

Жив господь Иисус Христос! Любая часть в ней стоит добрый миллион; жаль, что такое чудо не простоят целый век. О великая Севилья! Рим, торжествующий благодаря своей доблести и благородству!

Побьюсь об заклад, что душа усопшего покинула сейчас небо, свою вечную обитель, чтобы насладиться этим несравненным произведением искусства.

Некий молодец, услышав мои слова, сказал: «Вы говорите правду, господин солдат, а тот, кто стал бы возражать, лжец!»

Он отступил на шаг с самым лихим видом, надвинул на глаза широкополую шляпу, погладил эфес шпаги, искоса поглядел на меня... и пошел своей дорогой. Вот и все».

Во время пребывания Сервантеса в Севилье два довольно известных художника написали его портреты. Оба при случае выступали и как стихотворцы и дружили со всеми гуманистами. Один из них был Пачеко, учитель и тесть великого Веласкеса, другой — Хуан де Хауреги, от которого осталось несколько достойных внимания произведений. Мы полагаем, что оба подлинных портрета не сохранились, а тот, который так часто воспроизводили после первого издания, выпущенного Испанской академией, срисован был с копии, а может быть, даже лишь с описания своей наружности, которое сам Сервантес оставил нам в прологе к *Novelas ejemplares*, в 1613 году. «Тот, кого вы сейчас видите с сутулыми плечами, каштановыми волосами, горбатым, но не слишком большим носом, серебристой бородой (меньше двадцати лет назад она еще золотилась), длинными усами, маленьким ртом, в котором не хватает зубов — ведь в нем их всего шесть и они в неважном состоянии и к тому же плохо, ибо несимметрично расставлены, — этот человек ни слишком высокого, ни слишком низкого, скорее среднего роста, с чистым и румяным лицом, скорее светлым, чем смуглым, весь немного сутуловатый, не очень подвижный — это ав-

тор *Галатеи* и *Дон Кихота*, восходивший на Парнас, подобно перуджинцу Капорали, автор и других затерявшихся произведений, кочующих по свету анонимными. Обычно он именуется Мигель де Сервантес Сааведра». Сервантесу было тогда шестьдесят пять лет. Необычайно высокий лоб, напоминающий лоб Шекспира, длинный орлиный нос — вот черты, постоянно воспроизводящиеся на всех портретах Сервантеса. Но таких портретов, которые с уверенностью можно было бы отнести к XVI веку, мы не знаем.

С 1599 по 1603 год — новая лакуна в биографии Сервантеса. Мы расстались с ним в Севилье, где он занимался делами короля и частных лиц в качестве комиссара по сбору причитающихся казне денег и по закупке провианта. Мы находили его при исполнении тех же самых, по-видимому, обязанностей в Вальядолиде в феврале 1603 года. С 1600 года королевский двор перебрался в этот город. Похоже, что опять какое-то судебное дело привело Сервантеса в Вальядолид, так как у него снова неприятности с отчетностью. Он проживает со своей семьей в довольно убогом по внешнему виду доме. Сестра его, донья Андреа, которой пятьдесят с чем-то лет, живет вместе с ним и ведает бельевой маркиза де Вильяфранка. В архиве этого семейства имеются счета за белье, написанные почерком Мигеля Сервантеса, из чего можно сделать вывод, что донья Андреа не умела писать.

У литераторов всегда были покровители. Сервантес состоит под покровительством герцога де Бехар и графа де Сальданья, младшего сына герцога Лермы, в те годы всемогущего министра Филиппа III.

Очевидно, ремесло Сервантеса по-прежнему состояло в ведении всевозможных дел, но нет сомнения, что у него было и более важное занятие — что он отшлифовывал первую часть *Дон Кихота*. 24 сентября 1604 года он получил королевскую привилегию, одобрение, и первое издание, посвященное герцогу де Бехар, вышло в свет в начале 1605 года. Согласно весьма распространенному преданию, герцог долгое время не соглашался принять это посвящение, но в то время для успеха книги посвящение было необходимо, и Сервантесу пришлось очень настойчиво добиваться возможности прочесть первые главы романа перед избранной аудиторией. Успех этого чтения

убедил вельможу, что он, не компрометируя себя, может оказать своим именем покровительство труду Сервантеса. Добавляют, что писателя поздравляли все присутствующие, за исключением одного духовного лица, которое вкривь и вкось критиковало прочитанное. Вот почему через десять лет Сервантес отомстил ему, выведя его во второй части *Дон Кихота*. *Credat Judaeus Apella* *.

Все эти предания кажутся нам довольно подозрительными, ибо ни одно современное свидетельство их не подтверждает. То же самое надо сказать и о другой легенде, согласно которой при выходе своем в свет *Дон Кихот* был сперва плохо принят читателями. Издатель был в отчаянии, но тут Сервантесу пришло в голову выпустить брошюру под заглавием *El buscaríe* (шутиха, ракета), в которой он намекал, что в *Дон Кихоте* содержится немало занятных и таинственных вещей, заслуживающих углубленного изучения. Всякие бездельники бросились раскупать *Дон Кихота* и выискивать в нем то, чего там вовсе и не было. Так маленькая брошюра обеспечила счастливую судьбу великому произведению. Но кто видел *El buscaríe*? Пелисер, автор серьезный и дотошный во всевозможных биографических изысканиях, первый высказал подозрение, что такой брошюры никогда не существовало. Дон Висенте де Лос Риос, член Испанской академии, утверждает, что один его приятель, дон Антоньо Руй Диас, видел ее в библиотеке графа де Саседа, но с той поры никому в этом не везло. *El buscaríe* так и не появился вновь, а в книжных каталогах графа де Саседа, пользовавшегося славой книголюба и знатока всяческих редкостей, он не упомянут.

В 1847 году бесследно исчезнувшая брошюра была перепечатана, то есть в качестве оригинала выпустили довольно ловкую подделку под стиль Сервантеса, выполненную неким весьма остроумным литератором, доном Альфонсо де Кастро. Кое-кто попался на эту удочку. Впрочем, не стоит больше говорить о таком пустяковом анекдоте. *El buscaríe* — одно из произведений, которых библиофилы никогда не найдут, как не найдут и тех, что просматривал Пантагрюэль в библиотеке монастыря св. Виктора. Добавим, что публика не нуждалась ни в каком

* Пусть этому верит иудей Апелла (лат.).

подхлестывании, чтобы читать *Дон Кихота*. Напечатанное в начале 1605 года, первое издание было распродано в течение нескольких недель. В тот же год вышло четыре новых издания. Книгу переводили на другие языки, и имя автора прогремело по всей Европе. Рассказывают, что Филипп III, находясь на балконе своего мадридского дворца, расположенного над долиной Мансанареса, увидел студента, который что-то читал на берегу реки, хохоча, хлопая себя по лбу и вообще проявляя живейшее удовольствие. «Этот парень спятил,— сказал король,— или же он читает *Дон Кихота*». Один из придворных поспешил пойти и спросить, как называется столь забавная книга; это действительно оказался *Дон Кихот*.

В наше время литератор, выпустивший подобное произведение, разбогател бы. Но материальное благополучие Сервантеса, по-видимому, отнюдь не улучшилось со-ответственно его славе, ибо мы знаем, что в то же самое время он согласился выполнить некое весьма неблагодарное официальное поручение, которое ему, по всей вероятности, раздобыл, как счастливую находку, кто-нибудь из его покровителей. Речь шла об описании празднеств, устроенных в 1605 году в Вальядолиде по случаю рождения принца, ставшего впоследствии Филиппом IV; они совпадали с приездом английского посла. Приводим эпиграмму Гонгоры, не оставляющую сомнений в том, что Сервантес является автором этого описания, ничем, в сущности, не отличающегося от других панегириков такого рода. Послом был лорд Говард, адмирал, захвативший в 1596 году Кадис:

«Королева родила. Явился лютеранин, с ним еще шестьсот еретиков и столько же ересей. За две недели мы истратили миллион на драгоценности, поднесенные им в дар, на угощение и вино. С нашей стороны — пышный парад или же всяческие глупости: празднества или, вернее, толчея по случаю приезда английского посла и шпионов того, кто поклялся именем Кальвина соблюдать мир. Мы окрестили маленького доминиканца, родившегося, чтобы стать доминиканцем испанского государства*. Мы нагромоздили одни чудеса на другие.

* Намек на одно из имен принца Доменико, обозначающее и монахов ордена св. Доминика, которому поручена защита веры. (Прим. автора.)

Но мы по-прежнему бедны. Лютеранин уехал разбогатевшим, а рассказ обо всех этих достославных событиях поручили составить Дон Кихоту, Санчо и его ослу».

Сервантес занимал в Вальядолиде второй этаж дома на улице Растро, которая в те годы находилась за городской стеной. Если местные предания дошли до нас неискаженными, на что можно с некоторым основанием надеяться, это дом, который сейчас числится под номером 11, и вряд ли внешний вид его с тех пор существенно изменился. Он трехэтажный, на каждом этаже четыре окна, выходящих на улицу, а в первом — четыре двери. Он тянется параллельно течению речонки с довольно крутыми берегами, называемой Эсгева и пересеченной мостом почти напротив дома номер 11. По развалинам старинных зданий на берегу речонки можно предположить, что и там когда-то стояли дома. Улица не отличается красотой, а жилье Сервантеса как бы свидетельствует о его бедности. Самое подходящее сравнение для этого жилья — дома для рабочих, построенные в предместьях Лондона. Почему в первом этаже столько дверей, станет ясно, когда мы скажем, сколько семей жило под одной крышей. Второй этаж занимал Сервантес с женой, побочной дочерью Исавелью де Сааведра, сестрой доньей Андреа, вдовой своего третьего мужа генерала Альваро Менданья, дочерью от первого брака этой сестры, доньей Констансой де Обандо, и, наконец, с некоей беаткой, доньей Магдаленой де Сотомайор, каковую Сервантес по неизвестной нам причине именовал сестрой. Так обстоит дело с квартирой Сервантеса. В прочих проживали четыре вдовицы, и при одной из них, г-же Гарибай, находились ее дочь и сын, священник. Трудно понять, каким образом в одном доме жило столько народу. С той же трудностью сталкиваемся мы, когда обзираем развалины Помпеи, и нам кажется, что как для древности, так и для эпохи Сервантеса этому есть лишь одно объяснение: условия жизни были очень плохие. Все эти мелкие подробности мы приводим прежде всего потому, что они необходимы для понимания одного факта, о котором мы сейчас расскажем, но главным образом ради того, чтобы дать представление о положении

Сервантеса и большинства его современников-литераторов.

В то время был в Вальядолиде некий рыцарь ордена св. Иакова по имени дон Гаспар де Эспелета, своего рода Дон Жуан, славившийся любовными похождениями и храбростью. Имелись ли у него доходы и откуда, никто не ведал. Он, как тогда говорили, пребывал там, где находился двор, и был до того благороден, что жил на средства маркиза де Фальсес, его очень близкого друга, если верить злым языкам. 27 июня 1605 года дон Гаспар, весело поужинав с маркизом де Фальсес, у которого он жил, покинул его около десяти часов вечера и заявил при этом, что уходит на всю ночь. Он вышел в сопровождении своего пажа, но, как человек, опасавшийся излишней огласки, вскоре отослал его домой, обменявшись с ним предварительно плащами. По обычаю волокит того времени, он не только был при шпаге, но и с маленьким щитом под названием *родела*, диаметром с тарелку. Это оборонительное оружие, весьма тогда распространенное, пристегивалось к поясу. Во время поединка его держали в левой руке, парируя удары. Роделы выделывались обычно из полированной стали, иногда с насечкой, чернью, позолотой или рельефными украшениями. Тот, кто брал с собой подобное оружие, тем самым показывал, что намеревается затеять какое-то опасное дело.

Снаряженный на такой манер, дон Гаспар шагал по улице Растро, направляясь к улице Мантерья, где, должно быть, у него было назначено свидание. Но ему пришлось на некоторое время задержаться: на дороге стояла небольшая толпа зевак — кому-то давали серенаду. Как мы уже говорили, это был человек, не любивший никакого шума вокруг своих личных дел. Когда серенада закончилась, он продолжал свой путь, как вдруг почти около дома Сервантеса какой-то закутанный в плащ человек среднего роста, только что перешедший мост, приказал дону Гаспару остановиться и не сместь идти дальше. Был ли это человек, дававший серенаду, или ревнивец, враг любителя приключений? Неизвестно. Шпаги были одновременно выхвачены из ножен, и после очень короткой схватки дон Гаспар получил смертельный удар в грудь. На его крики Сервантес со своим соседом,

священником доном Эстебаном де Гарибай, выбежал на улицу, и раненый упал им на руки. Они отнесли его на кровать матери Гарибая, которая, вероятно, жила в первом этаже. Появились врач, нотариус; Гарибай исповедал и причастил умирающего. Перед смертью дон Гаспар заявил, что он был нападающим, что он первый схватился за шпагу, что противник ему совершенно незнаком и что поединок был честный. Затем он отдал несколько завещательных распоряжений, одно из которых — дар шелкового платья Магдалене де Сотомайор, beatке, которую Сервантес называл сестрой, привлекло внимание. На рассвете он испустил дух. По правилам, beatка могла носить только шерстяную одежду. Но знал ли дон Гаспар, что она beatка? Был ли он, пронзенный насквозь ударом шпаги, в состоянии припомнить, какую одежду ей полагается носить? Этот дар показался подозрительным, и правосудие придало ему большое значение. Предположили или, может быть, сделали вид, что предположили, будто в данном случае это фидеикомисс и на самом деле платье предназначено какой-то женщине, которую умирающий не захотел назвать. Beatка же сделала весьма правдоподобное заявление, что дона Гаспара де Эспелета она совершенно не знает, что никакого секрета он ей не доверил и что она усматривает в даре платья только желание умирающего отблагодарить ее за уход. И действительно, она привыкла ухаживать за больными и не отходила от раненого с момента, когда его внесли в дом. Госпожа Гарибай, особа весьма уважаемая как вдова знаменитого летописца, тотчас же заявила, что донью Магдалену она знает как особу безупречной жизни и высокой нравственности и смиреннейшую рабу божью.

Следствие, само собой разумеется, затянулось, на всякий случай были задержаны все обитатели дома, где умер дон Гаспар. Однако Гарибая, из уважения к его духовному сану, почти тотчас же освободили. Женщины после краткого допроса получили разрешение остаться у себя, но под наблюдением альгуасила. Только Сервантеса, которому, впрочем, не было предъявлено никакого обвинения, несколько дней держали в заключении, и на допрос вызвано было довольно много лиц, обычно бывавших у него. Из их показаний видно, что большинство

вызванных на допрос ходили советоваться с ним относительно своих дел, и у него было, значит, тогда нечто вроде бюро консультаций.

Можно, кажется, с уверенностью сказать, что вся эта странная процедура имела целью не обнаружить убийцу Эспелеты, а направить всеобщие подозрения по ложному следу — на бедную и не имеющую влиятельных покровителей семью. Следствие старалось навести на мысль, что серенада и последовавшая затем дуэль имели отношение к дочери или племяннице Сервантеса, единственным молодым женщинам в доме. Нет, однако, никаких доказательств, что они знали дона Гаспара; те же, кому были известны привычки этого кавалера, говорили, будто он шел на свидание с женой одного богатого стряпчего. Другие утверждали, что он направлялся к даме, чей супруг занимал важную должность при дворе. Обе эти версии прекрасно объясняют способ ведения следствия по данному делу.

В своих показаниях донья Исавель де Сааведра заявила, что ей двадцать лет; по этому-то поводу и стали обвинять Сервантеса в безнравственности, ибо получилось, что в самый год его женитьбы у него появилась внебрачная дочь. Мы не признаем легенды о романтической любви между обоими супругами — легенды, усматривающей в законной госпоже де Сервантес прообраз Галатеи. Не станем мы и возмущаться безнравственностью Сервантеса на основании свидетельства девицы, утверждавшей, что ей двадцать лет. Один лишь факт в этом показании представляется нам любопытным: молодая женщина, воспитанная в доме отца, заявила, кончив давать показания, что она *не умеет подписать своего имени*. Вспомним, что счета за белье, доверенное маркизом де Вильяфранка донье Андреа, написаны рукой Сервантеса. Разве это не проливает свет на эпоху?

Противник дона Гаспара так и не был обнаружен, равно как и имя дамы, к которой он отправился в столь поздний час. Проведя несколько дней в заключении, Сервантес был самым, по-видимому, почетным образом освобожден. От всего этого дела остался в конце концов только лишний довод в пользу и без того весьма распространенного убеждения, что в случае драки или убий-

ства людям благоразумным лучше ничего не видеть и не слышать.

Двор покинул Вальядолид в 1606 году. Неизвестно, последовал ли за ним Сервантес немедленно в Мадрид. Г-н Фернандес-Герра доказал, что в 1606 году он находился в Севилье. В письме с пометкой этого года Сервантес дает шутливое описание пикника на одном из островков Гуадалкивира в день св. Иоанна Альфарачского; он сам участвовал в этом пикнике вместе с другими учеными и литераторами города. После состязания в поэтическом искусстве состоялся турнир; все выступавшие на нем сидели верхом на картонных лошадках. Может быть, первая часть *Дон Кихота* уже дискредитировала настоящие турниры. Наконец, после обеда на траве разыграна была комедия *Персей и Андромеда*, закончившаяся шутовскими куплетами. Сервантес был одним из судей поэтического конкурса и секретарем компании, устроившей пикник. И стиль этого описания и обстоятельства, при которых оно было найдено, убеждают, что Сервантес и в самом деле является его автором. Но что он делал в Севилье? Приехал ли он туда для выполнения своих обязанностей королевского комиссара? Это наиболее вероятная догадка, тем более что еще через два года он по-прежнему состоял чиновником финансового ведомства. 6 ноября 1608 года трибунал Контадурии обязал Сервантеса уплатить 2 тысячи реалов некоей личности, задолжавшей ему еще более значительную сумму. Сервантес обжаловал это решение, из чего можно сделать вывод, что в то время он еще распоряжался какими-то фондами казначейства. Однако ясно, что немного времени спустя он от этой должности отказался и даже закрыл свое бюро деловых консультаций, чтобы всецело отдаться литературному труду.

В 1609 году он окончательно поселился в Мадриде и 11 апреля того же года принят был в Братство святейшего таинства орагии. Тогда это было одно из самых прославленных в Европе религиозных братств; членами его были король Филипп III и герцог Лерма, его первый министр. В том же 1609 году Сервантес потерял свою сестру донью Андреа, которая неотлучно проживала вместе с ним после смерти своего третьего мужа,

генерала Менданья. Она была нежно привязана к брату и отдала свое приданое на выкуп его из плена.

В начале 1610 года герцог де Лемос, самый щедрый и могущественный из покровителей Сервантеса, был назначен вице-королем Неаполя; есть основания думать, что Сервантес льстил себя надеждой сопровождать его и состоять у него на службе. Но выбор герцога пал на другого, как можно предполагать, под влиянием обоих братьев Архенсола, считавшихся, однако, большими друзьями Сервантеса. Вероятно, именно тому обстоятельству, что они о нем забыли, мы обязаны появлением второй части *Дон Кихота*. В *Путешествии на Парнас* можно найти несколько довольно умеренных по тону жалоб Сервантеса на отношение его покровителей. «Я долго ждал, — пишет он, — мне многое обещали, но, видимо, новые обязанности заставили моих друзей позабыть о том, что они мне говорили». Это — единственное вырвавшееся у него проявление недовольства; в дальнейшем у него не сохранилось ни капли желчи по отношению к Луперсьо Архенсоле и его брату, хотя оба они, отлично зная его положение и будучи в состоянии оказать ему услугу, никогда ни о чем для него не хлопотали.

Существует довольно распространенное мнение, что Лопе де Вега, находившийся тогда в зените славы, не любил Сервантеса, а Сервантес платил ему тою же монетой. Говорят, что они написали друг на друга несколько эпиграмм, но факт этот никогда не был доказан. Они встречались в обществе и даже находились в некотором свойстве, так как — об этом уже было упомянуто — мать Сервантеса приходилась двоюродной сестрой или теткой первой жене Лопе де Вега. Кэпмэни передает, к сожалению, без ссылки на источники, что однажды Сервантес и Лопе де Вега встретились в приемной монастыря св. Троицы, где находились также донья Исавель де Сааведра, побочная дочь Сервантеса, о которой мы уже говорили, и ее мать, чье имя не упоминается. В комнату вошел священник по имени Мигель де Лос Сантос. Между тем за несколько лет до того монах-августинец, носивший то же имя, был повешен как сообщник пирожника из Мадригале, выдававшего себя за короля Себастьяна. «Не впадайте в грех своего соименника», —

смеясь, сказал ему Сервантес. «И в грехи Сервантеса тоже»,— добавил Лопе де Вега, глядя на мать и дочь, сидевших неподалеку. Разговор для приемной монастыря не слишком подходящий. Приводим этот анекдот, хотя и не очень в него верим. Зато определенно можно сказать, что оба предполагаемых врага не раз публично хвалили произведения друг друга. Правда, это отнюдь не значит, что их похвалы были вполне искренни.

В конце 1613 года Сервантес выпустил сборник новелл под заглавием *Novelas ejemplares*. После *Дон Кихота* это лучшее его произведение. За девять лет оно выдержало десять изданий и было переведено на все европейские языки. Мы уже упоминали, что *Tía fingida*, написанная в Андалусии до 1606 года, не вышла вместе с другими новеллами, может быть, потому, что писатель находил сюжет слишком смелым для того, чтобы подписать новеллу своим именем. Вспомним, однако, что мы обязаны одному севильскому канонику тем, что эта вещь до нас дошла. Согласно мнению самых авторитетных судей, по стилю своему новеллы стоят выше первой части *Дон Кихота*, которая, в свою очередь, превосходит в этом отношении *Галатею*. Принимая во внимание тогдашний возраст Сервантеса, такое быстрое совершенствование нельзя не признать весьма примечательным и крайне редким в истории литературы.

За *Novelas ejemplares* последовало в 1614 году *Путешествие на Парнас*, поэма, которую Сервантес особенно любил,— он считал ее одним из лучших своих произведений. Всю свою жизнь он, по-видимому, думал, что писать стихи — дело более достойное, чем писать прозу, и хотя стихи его никогда успехом не пользовались, он питал к ним некое пристрастие, подобно тому, как матери часто с особой нежностью относятся к своим обиженным природой детям. *Путешествие на Парнас* с добавлением в прозе (*Adjunta al Parnaso*) — диалогом в манере Лукиана — представляет собою не слишком злую сатиру на современных Сервантесу плохих поэтов, ныне позабытых, сатиру, сочетающуюся с крайне преувеличенными восхвалениями, которые автор расточает довольно значительному количеству писателей, нам отнюдь не более известных. Нередко возникал вопрос: не являются ли эти неумеренные похвалы своего рода

эпиграммами? Теперь, когда современные Сервантесу поэты, хорошие и плохие, почти все одинаково неизвестны, *Путешествие на Парнас* представляет интерес лишь рассыпанными там намеками на жизнь писателя. Часто он говорит о своей бедности, говорит просто, без зависти, без унижения паче гордости. Он допущен к самому Аполлону, окруженному всей своей свитой в полном составе, ему предлагают сесть, но все места заняты. «Ну ладно,— говорит бог,— сложи свой плащ и садись на него». В те времена так обычно поступали кавалеры в гостиных, где зачастую не хватало кресел. «Ваше величество,— отвечает Сервантес,— не обращайтесь внимания, у меня нет плаща». «Ну что ж, я все-таки рад тебя видеть, добродетель — это плащ, которым бедность прикрывает свой стыд, не вызывая ничьей зависти». Один эпизод поэмы, где плохие поэты пытаются взять Парнас штурмом, мог навести Буало на мысль о битве книг в его *Аналое*.

Несмотря на то, что его первые драматургические опыты не получили никакого поощрения, Сервантес не переставал писать для театра, но так и не находил театрального директора, который пожелал бы ставить его пьесы.

В 1615 году он решился напечатать восемь комедий с восемью интермедиями — все это вместе составило довольно толстый том. То было время, когда гремела слава Лопе де Вега,— этот плодовитый писатель, чьи пьесы исчисляются сотнями, почти один занимал многочисленные актерские труппы Мадрида. Отнюдь не собираясь покушаться на славу Лопе, мы все же упрекнем его в том, что он привел испанский театр на пагубный путь, и притом совершенно бессознательно, не признавая никакой системы и не имея твердых взглядов на театральное искусство. Он сам пишет в *Новом руководстве к сочинению комедий*: «Я сам, однако, больше всех других повинен в варварстве, уча писать наперекор законам... Что делать? Я доселе написал четыреста и семьдесят три комедии (с той, что на днях закончил), и все, за исключением шести, грешили тяжело против строгих правил. И все же я от них не отрекаюсь; будь все они написаны иначе, успеха меньше бы они имели. Порой особенно бывает любо то, что законы нарушает грубо».

Сейчас его наследие составляют уже не четыреста восемьдесят три комедии, а около тысячи восьмисот. Лопе был очень искусным импровизатором. Стих его изящен, легок, и хотя зачастую в нем отсутствует мысль, он до сих пор чарует слух его соплеменников. Но что сказать о композиции этих сотен пьес, где повторяются одни и те же перипетии, одни и те же чувства, одни и те же преувеличения? Все в них фальшиво: характеры, положения, диалог. То, что Лопе именуется искусством, сводится, по-видимому, к соблюдению известных правил, которых никто не изучал и которых педанты никому не открывают, подобно тому, как юристы древнего Рима не сообщали своих правовых формул. «Искусство» было лишь условностью, требовавшей копирования некоторых образцов вместо подражания природе; тогда меньше всего следовали замечательному наставлению Горация: *Respicere exemplar vitae morumque* *, которого драматический поэт как раз и не должен терять из виду. Лопе называл себя варваром, так как он не соблюдал правила трех единств. Шекспир, которого тоже считали варваром, соблюдал их не в большей степени, но вместо них — а это было гораздо важнее — он давал глубокий анализ страстей, полное развитие характеров, точное наблюдение малейших движений сердца человеческого. Где в испанском театре можно найти что-либо подобное? Все в нем — условность, действующие лица его лишены даже забавного разнообразия старинной итальянской комедии. Единственная страсть, одушевляющая его, — это честь, вернее сказать, щепетильность в делах чести, *rindonor*.

По костюму находящегося на сцене персонажа зритель уже заранее знает, как он поведет себя в данном положении. Все три дня заполнены бесконечным рядом ссор между ревнующими друг друга влюбленными, ошибочных узнаваний из-за того, что женщины кутаются в плащ, дуэлей, на которых никого не убивают, и после всех путаных перипетий интриги пьеса внезапно завершается бракосочетанием всех молодых людей. Когда сюжет комедии черпается из истории, действующие лица не изменяют по этому случаю своего характера:

* Обращать внимание на образцы жизни и нравов (лат.).

Ираклий, дон Педро Жестокий станут «молодыми любовниками»; римские матроны, христианские героини будут, подобно севильским девицам, назначать свидания у решетки своих балконов.

С этой и впрямь варварской драматургической системой сочетается стиль, на наш взгляд, ничуть не менее варварский. Сказать самую простую вещь наименее естественным, наименее понятным образом, наспиговать изысканной словесной игрой и антитезами диалог в моменты наивысшего душевного напряжения — таково было правило «искусства» в эпоху Лопе де Вега. Впрочем, надо сознаться, что почти вся Европа разделяла тогда этот вкус к словесной игре, нам сейчас представляющийся таким странным. В Испании восхищались стилем *culto*, в Англии — «эвфуизмом», который не большего стоил. Ромео, перед тем как отравиться на могиле Джульетты, восклицает, запечатлевая поцелуй на устах возлюбленной: «И губы, вы, преддверия души, запечатлейте долгим поцелуем со смертью мой бессрочный договор». Какой-нибудь прокурор не сказал бы лучше. Едва родившись на свет, драматическая поэзия стала выискивать эти столь мало идущие ей украшения. Эгист, обманутый ложным донесением, думает, что Орест убится, упав с колесницы. Он говорит: «Нам сообщили, что он погиб во время конного кораблекрушения»*. Даже Расин, обладатель необыкновенно тонкого вкуса, без колебаний писал: «Сжигаемый большим количеством огней, чем я их зажигал» и: «Волна, которая вынесла его на берег, в ужасе откатила назад». Приходится предположить, что в те времена зрители обладали возможностью испытывать сразу два весьма несхожих наслаждения и, заливаясь слезами от трогательной ситуации, наслаждались игрой слов. Да и теперь поэзия доставляет двойное наслаждение: даже самая глубокая мысль не допускает пренебрежения законами просодии, возвышенный образ, вероятно, нравится еще больше, если ему помогает богатая рифма. Не будем же чрезмерно строги ко вкусу, почтенному в силу своей древности и сохраняющемуся еще у многих людей, которые славятся своим умом.

* Софокл «Электра». (Прим. автора.)

Сервантес потакал моде своего времени, может быть, даже меньше других современных ему писателей, но драматургический стиль его не стал от этого лучше. Стих его, иногда смехотворно напыщенный, большей частью до безнадежности безвкусен. Что касается интриги в его пьесах, то нельзя представить себе ничего слабее, ничего менее искусно слаженного. Похоже, что он не отдает себе отчета в значении композиции: в его комедиях сцены сменяются одна другой как бы случайно.

Театр Сервантеса мало известен, и мы попытаемся дать беглый обзор тех пьес, которые представляются нам стоящими хоть некоторого внимания. Начнем с *La Entretenida*. Заглавие это можно перевести: *С первым апреля*, оно содержит намек на поговорку *dar con la entretenida* — обмануть кого-нибудь ради шутки. Пьеса очень странная: ни дуэли, ни женитьбы, но очень тягостное положение, от которого ожидаешь самых ужасных последствий. Некий кавалер любит даму по имени Марсела и непрерывно говорит о ней со своей сестрой, которую тоже зовут Марсела и которая воображает, что брат влюблен именно в нее. Как истинная христианка и благовоспитанная девица, она старается по возможности избегать его. В конце концов она обнаруживает, что в любви ее брата нет ничего постыдного. Трудно понять, с какой целью Сервантес обманывал читателя отвратительной мыслью о кровосмешении, в которой нет ничего занимательного и нет никакого драматического эффекта.

В *Rufián dichoso* (*Блаженный негодник*) имеется беглый набросок характера, не лишённого интереса, однако развитие его происходит слишком быстро и потому неестественно. Кривоваль Луго — студент, но его всегда можно встретить не с книжкой под мышкой, а с круглым щитком у пояса и кинжалом, который он всегда готов вытащить из ножен. Он товарищ и верный приятель всех севильских подонков, защитник и покровитель женщин дурного поведения. Несмотря на свою распутную жизнь, он хранит в душе величайшее благочестие. После ночной оргии он отдает последний грош на молебствие о спасении душ, томящихся в чистилище, а затем вламывается в булочную и избивает полицейских, чтобы освободить своего приятеля, содержащего

притон. Перед тем, как проиграть все свое достояние, он раздумывает, не стать ли ему вором, но внезапно ему приходит в голову: «А почему бы не монахом?» Тут его осеняет благодать, и он становится достойным примером для всех жителей города, которых прежде вводил в великий соблазн. Он делается настоятелем своего монастыря, творит чудеса и умирает в ореоле святости. Этому персонажу сопутствует *gracioso* * — бывший товарищ Луго, обратившийся, подобно ему, на путь истинный и ставший монахом того же монастыря. Но у него еще осталось кое-что от прежнего, у него порой возникают вспышки дурных страстей и сожаления о жизни, которую он оставил. Это комический персонаж пьесы. В ней есть одна довольно забавная сцена, где он засовывает за пояс подол рясы и дает урок фехтования другому монаху.

Автор не раз указывает, что он ничего не выдумал, и ссылается на легенду. Приводим одну из ремарок: «Входят со сладострастными телодвижениями шесть замаскированных статисток, одетых нимфами, а также те, кто должен петь и играть на музыкальных инструментах, одетые чертями на античный лад. Они исполняют балет. Все так и происходило; это вовсе не какое-либо придуманное, сомнительное или обманное видение».

Есть также попытка изобразить настоящий характер в комедии под заглавием *Педро де Урдемалас* (по имени главного героя), но три дня этой пьесы кажутся лишь экспозицией еще не написанной драмы. Педро де Урдемалас — нечто вроде Фигаро, который занимается всем, чем угодно, попадает в самые отчаянные переделки, из которых выпутывается благодаря своему бесстыдству, дерзости, а иногда уму. Одна из его проделок — вытягивание денег у богатой вдовы, которой он выдает себя за святого человека, только что вышедшего из чистилища. «Ваш покойный супруг, — говорит он ей, — очень там мучается, меньше чем за триста золотых ему от страданий не избавиться. А брата вашего поджаривают на медленном огне, — чтобы стащить его с жаровни, надо четыреста дукатов». В те времена ни духо-

* Шут (исп.).

венство, ни даже инквизиция не обижались на подобное зубоскальство, а души чистилища не теряли из-за него ни одной мессы. Ведь и *Лягушки* Аристофана не приводили в негодование поклонников Вакха, а наши средневековые епископы позволяли справлять праздник шутов в зданиях, предназначенных для культа, и служить там ослиную мессу. В драме, о которой идет речь, имеется также удачно набросанный женский характер, ибо в этой странной пьесе все — только набросок. Это девушка, которую воспитали цыгане и которая выказывает среди своих жалких соплеменников возвышенный дух и аристократические вкусы. Выясняется, что она принцесса, которую в свое время потеряли родители, и ее возвращают ко дворцу. Тогда одна из ее прежних подруг-цыганок почтительно напоминает ей о несчастных, которые заботились о ней в детстве. «Хорошо,— говорит новоявленная принцесса,— напишите мне памятную записку, и я этим займусь». В 1615 году министрам уже писали памятные записки.

Интермедии Сервантеса — это всего-навсего не связанные между собой сценки, какие можно импровизировать где-нибудь в замке между двумя ширмами. Им не хватает веселья, а настоящий комизм часто подменяется грубым шутовством. В интермедии *Guarda cuidadosa** кухарка, за которой ухаживает церковный служка, жалуется своей хозяйке, что он ее обесчестил. «Куда же, предательница, он заманил тебя?» — «Да никуда, среди улицы». — «Как среди улицы?» — «Там, среди Толедской улицы, он перед богом и всеми добрыми людьми назвал меня неряхой и бесчестной, бесстыдницей и бестолковой и всякими другими обидными словами подобными, и все оттого, что ревнует меня к этому солдату».

Там и сям посреди всего этогохлама обнаруживаешь черты, характерные для нравов той эпохи и сохраняющие интерес поныне. В *Двух болтунах* прокурор заставляет некоего кавалера уплатить 200 дукатов за шрам в «двенадцать стежков», которым тот украсил лицо его клиента. «Стежки» — мера, принятая башмачниками: влюбленный утверждает, например, что у его возлюбленной обувь в десять стежков. Двенадцать стежков — это

* Бдительный страж (исп.).

ужасный шрам. Бедняк, свидетель этой сцены, предлагает нанесшему шрам сделать и ему порез со скидкой. Во времена Сервантеса полоснуть по лицу человека, против которого что-то имеешь, было делом довольно частым. Этим способом мести не пренебрегали и в лучшем обществе. Сейчас в Испании он в ходу лишь у простонародья, где с этой целью пользуются зазубренной и отточенной монетой. Это называется «расписать шебеку»: полоса вокруг борта этих суденышек представляет собою ряд ромбов, а такой полоской ромбов и должен выглядеть мастерски нанесенный шрам.

Когда Сервантес выпустил первую часть *Дон Кихота*, вероятно, он и не собирался писать вторую. И действительно, герой вернулся к себе, все эпизоды пришли к своей развязке, сюжет, можно сказать, был исчерпан. Однако в последней главе автор словно предвидит, что Рыцаря Печального Образа станет воспевать не одна лира, ибо он заканчивает главу следующими стихами Ариосто:

*Forse altri cantera con miglior plettro**

Не было ли это вызовом всем светлым умам? Известно, что рыцарские романы в большинстве своем писались последовательно различными авторами; я полагаю, что двенадцать частей *Амадиса Гальского* написаны почти таким же числом разных рук. Поэтому отнюдь не следует расценивать как бессовестный плагиат предприятие одного писателя, который под именем Авельянеды выпустил в 1614 году вторую часть *Дон Кихота*. Если бы она стоила первой, грех был бы невелик, но это было подражанием обезьяны человеку. Авельянеда нагл и груб по отношению к тому, кого он взял за образец. С первых же строчек пролога он обнаруживает всю свою низость. По собственному признанию, он взялся за перо, чтобы лишить Сервантеса выручки, которой тот мог ожидать, если бы продолжил *Дон Кихота*. Подделыватель пробок или зубного эликсира проявляет обычно более возвышенные чувства. Литератор, скрывающийся под псевдонимом Авельянеды, ополчившись против Сервантеса, старается исчерпать до дна запас самой мерзкой

* Может быть, кто-нибудь другой спел об этом искуснее (итал.).

ругани. Он называет его старым калекой, тюремным за-всегдаем, завистником, ворчуном. На это Сервантес отвечает в своей второй части устами Дон Кихота: «Я просмотрел немного, однако уже успел заметить три вещи, достойные порицания: это, во-первых, некоторые выражения в прологе (то есть бранные выражения, которые мы только что привели), во-вторых, то, что книга написана на арагонском наречии, с пропусками некоторых частей речи, в-третьих... он путается и сбивается с толку...» Лучше бы он ограничился этим и не заставлял несколько ниже прекрасную Альтисидору говорить, что она видела, как черти в аду играли в мяч, которым служила книга Авельянеды. В стране, где господствует инквизиция, не надо делать дьявола участником литературного спора.

Кто был этот Авельянеда? Решить задачу тем более трудно, что автор был крайне заинтересован в сохранении тайны; к тому же в первое время он особого любопытства не вызывал, и не было сделано очень уж настойчивых попыток его раскрыть. Указания, собранные теперь, довольно неопределенны, найти еще что-нибудь надежды мало. Одно можно считать вполне установленным: автор книги — араговец. Об этом прямо заявил Сервантес; кастильцы обнаруживают в поддельном *Дон Кихоте* многочисленные следы провинциального диалекта.

Из-за их арагонского происхождения подозревали обоих Архенсола, но они были друзьями Сервантеса, очень чисто писали по-испански, и стиль их совсем не похож на стиль Авельянеды.

Г-н Бенхумеа проявил большую тонкость, пытаясь отождествить Авельянеду с Бланко де Пас, негодяем, выдавшим алжирскому дею Сервантеса, когда тот пытался бежать, и заявившим о своей принадлежности к ордену св. Доминика. По мнению остроумного критика, Сервантес отомстил этому мерзавцу, выведя его в первой части *Дон Кихота*. Вспомним, что в приключении с мертвым телом (гл. XIX) добрый рыцарь повалил человека, называвшего себя лиценциатом и участвовавшего в похоронной процессии, и, приставив ему к горлу клинок, потребовал, чтобы тот назвал свое имя и род занятий. Человек этот отвечает, что он лиценциат, на самом

же деле он всего-навсего бакалавр; он говорит, что нога у него сломана, в то время как она только вывихнута; следовательно, он лжец. Имя же его — Алонсо Перес де Алькобендас, и г-н Бенхумеа, разъединив и снова соединив составляющие это имя буквы, приходит к выводу: *Es lo de Blanco de la Paz**. Я полагаю, что, потрудившись таким образом, можно составить и другие имена. Но для того, чтобы принять имя Бланко де ла Пас, надо доказать, что этот человек умел писать, затем объяснить, каким образом он употреблял арагонизмы, будучи родом из Эстремадуры. В настоящее время большинство испанских историков литературы согласны между собой в том, что под маской Авельянеды скрывается некое весьма важное в ту эпоху лицо — его преподобие фрай Луис де Альяга, доминиканец и духовник Филиппа III. Он был арагонец, автор нескольких посредственных книг, где можно обнаружить характерные для Авельянеды провинциализмы. Известно, что он был весьма нерасположен к Сервантесу, ибо усматривал в ряде мест *Путешествия на Парнас* эпиграммы на Лопе де Вега, своего большого приятеля. При дворе Альяга был всем ненавистен; по какому-то неизвестному нам поводу его прозвали Санчо Панса, на что он весьма обижался. Он был завистлив, злобен и всех старался опорочить. Он написал сатиру на Кеведо. После восшествия на престол Филиппа IV духовник покойного короля был ко всеобщей радости сослан, и радость эту блестящий и злосчастный граф де Вильямедьяна передал в десятистишии, имевшем тогда большой успех:

«Санчо Панса, духовник покойного монарха, некогда ловко пускавший кровь несгораемому ящику Осуны, отправляется в Хуэнте, пронзенный клинком скорби. Следовательно подвергается следствию, исповеднику придется исповедаться».

«Альяга» — по-испански — дикий терновник. В эпизоде, где Сервантес рассказывает о въезде Дон Кихота в Барселону, усматривают эпиграмму на королевского духовника: проскользнувшие сквозь толпу шалуны кладут под хвост Росинанту и его верному сотоварищу ослу по пучку дикого терновника.

* Это имя Бланко де ла Пас (исп.).

Вспомним также подозрительную сдержанность, которую проявлял Сервантес, говоря о своем подражателе — личности тогда слишком могущественной, чтобы с ней можно было обходиться, как она того заслуживала.

Мы должны откровенно признаться, что все эти приведенные только что доводы представляются нам мало убедительными. Стилистические погрешности и провинциализмы не являются доказательством, ибо не один отец Альяга был уроженцем Арагона. Если бы этот человек хотел повредить Сервантесу, он, вернее всего, нашел бы более надежный и действенный способ, чем своеобразное литературное соревнование, в котором он никак не мог рассчитывать на успех. Наконец, совсем уже странным является то, что после опалы, постигшей Альягу, и после того, как слава Сервантеса возросла настолько, что попытка подражать его самому выдающемуся произведению могла рассматриваться как смехотворная нелепость, почти как преступление, — после всего этого не нашлось никого, кто упрекнул бы бывшего королевского духовника за оскорбление великого человека.

Кто бы ни был настоящим автором продолжения, напечатанного под именем Авельянеды в Таррагоне в 1614 году, оно не имело никакого успеха и было перепечатано в 1732 году лишь в качестве библиографической редкости. Впрочем, ему выпала на долю честь быть переведенным на французский язык Лесажем, который его сократил, несколько изменил и превратил в нечто, могущее быть прочитанным.

Не следует думать, что этой бездарной писанине обязаны мы появлением подлинной второй части *Дон Кихота*, что лишь досада пробудила дремлющий гений Сервантеса. Ведь вторая часть появилась в свет почти через год после продолжения Авельянеды, — трудно предположить, чтобы Сервантес, здоровье которого было уже подорвано и который к тому же начал другое крупное произведение, мог в столь короткий срок написать эту вторую часть, более длинную, чем первая. Ему было тогда шестьдесят восемь лет, и он жестоко страдал от водянки, не поддававшейся лечению. Врач посоветовал ему дышать деревенским воздухом, и он покинул Мадрид 2 апреля 1614 года, через несколько месяцев после

окончания *Дон Кихота*, который вышел в конце 1615 года в Мадриде с посвящением графу де Лемос. Перед отъездом в Эскивьяс, где у жены Сервантеса имелаь небольшая ферма, он стал членом мирской конгрегации ордена святого Франциска, с которой был связан еще с 1613 года. Тогда это делалось очень часто, особенно при тяжелых заболеваниях.

Вторая часть *Дон Кихота* оказалась не последним произведением Сервантеса. Незадолго до своей смерти он закончил роман *Персилес и Сихизмунда*, который вышел в свет уже посмертно, и довольно длинную *canCIÓN* * о божественных восторгах святой Тересы — на тему, заданную поэтическим конкурсом, который объявлен был по поводу недавней канонизации этой великой святой. Одним из членов жюри являлся Лопе де Вега. Фрай Дьего де Сан Хосе, докладчик конкурса, указывает, что стихи Сервантеса получили одну из высших оценок, но не добавляет, что он был удостоен премии.

Сервантес встречал приближение смерти на одре болезни с тою же твердостью, с какой бросал ей вызов при Лепанто и стоял перед палачами дея в Алжире. Кто бы подумал, что все сокровища веселья, содержащиеся во второй части *Дон Кихота*, вышли из-под пера несчастного, больного старика, всю свою жизнь прошедшего в трудной борьбе с невзгодами? Веселый нрав не оставлял его. Об этом можно судить по следующему отрывку, написанному за несколько дней до смерти. Это — предисловие к *Персилесу и Сихизмунде*, кстати сказать, самое лучшее место в этом произведении:

«Однажды, любезнейший читатель, возвращаясь с двумя приятелями из примечательного местечка Эскивьяс, примечательного по многим причинам и, между прочим, славящегося знатными своими жителями и еще более знатными винами, я услышал позади быстрый топот, словно нас старались догнать, в чем мы и удостоверились, как скоро нам крикнули, чтобы мы не очень спешили. Мы остановились, и к нам подъехал на осле серый студент в очках — серый, ибо таков был его костюм; на ногах у него были башмаки с круглыми но-

* Песнь (исп.).

сками, сбоку висела рапира, на плечи же он накиннул засаленную пелерину с тесемками; по правде сказать, тесемок у него было всего две, и оттого пелерина поминутно съезжала набок, так что ему стоило больших трудов и усилий поправлять ее. Поравнявшись с нами, он сказал:

— Ваши милости, как видно, спешат просить места или же пребенды у его преосвященства епископа Толедского, а то и у самого короля: ведь они оба теперь в столице, иначе зачем бы вам так мчаться, что даже мой осел, многих опережавший, не мог вас догнать?

На это один из моих спутников ответил так:

— Лошадь сеньора Мигеля де Сервантеса тому виною, ибо у нее чересчур длинный шаг.

При слове «Сервантес» студент, соскочив с седла и растеряв все свои дорожные принадлежности, причем в одну сторону полетела подушка, в другую — сумка, бросился ко мне и, схватив меня за левую руку, воскликнул:

— Ах, так вот он, однорукий мудрец, великий во всем, так вот он, забавный писатель, утеха муз!

Выслушав столь великую похвалу моим достоинствам, в столь кратких словах выраженную, я почел невежливым на нее не ответить и, обняв студента за шею, после чего пелерины на нем не оказалось вовсе, заметил:

— В это заблуждение введены по незнанию многие ценители искусства. Да, сеньор, я — Сервантес, но не утеха муз, и все прочие небылицы, которые ваша милость обо мне наговорила, также ко мне не относятся. Садитесь же на своего осла и давайте проведем остаток пути в приятной беседе.

Учтивый студент так и сделал; тронув поводья, мы не спеша поехали дальше, и, как скоро у нас зашел разговор о моей болезни, добрый студент отнял у меня всякую надежду на выздоровление, сказав:

— Болезнь ваша именуется водянкой, и ее не излечить всем водам океана, если б даже вы стали принимать их по капле. Впрочем, сеньор Сервантес, пейте умеренно, не забывайте про еду, и вы поправитесь без всяких лекарств.

— Это мне многие говорили, — возразил я, — однако ж не пить я не могу, ибо это значит отказать себе в том удовольствии, ради которого я словно появился на свет божий. Дни мои сочтены, равно как и удары моего пульса, который, судя по записям, перестанет биться, самое позднее, в ближайший воскресный день, и то будет последний день моей жизни. В тяжелую минуту встретились мы с вами: ведь у меня даже нет времени для того, чтобы поблагодарить вас, как должно, за ваше внимание.

Между тем мы подъехали к Толедскому мосту, и тут нам надлежало расстаться, ибо путь студента лежал через Сеговийский мост. Молва заботливо сохранит описанное мной происшествие, друзья с приятностью станут о нем рассказывать, мне же еще приятнее будет их слушать. Я еще раз обнял студента — он ответил мне тем же, потом хлестнул своего осла и уехал, оставив меня в столь же скверном расположении духа, сколь скверно умел он сидеть на осле, что могло бы дать моему перу великолепный повод позабавиться, но времена уж не те. А вдруг да настанет такая пора, когда, связав порванную нить, я доскажу все, чего здесь недостает и что следовало бы сказать? Простите, радости! Простите, забавы! Простите, веселые друзья! Я умираю в надежде на скорую и радостную встречу с вами в мире ином».

Последнее причастие он получил 18 апреля 1616 года. На другой день, уже не в состоянии будучи писать, он диктовал посвящение *Персилеса и Сихизмунды* графу де Лемос, находившемуся тогда в Италии:

«Не хотел бы я, чтобы те старинные строфы, которые в свое время таким успехом пользовались и которые начинаются словами: «Уже я ногу в стремя заношу», — вполне пришлись к месту в этом моем послании, однако я могу начать его почти так же:

Уже я ногу в стремя заношу,
Охваченный предсмертною тоскою,
И эти строки вам, сеньор, пишу.

Вчера меня соборовали, а сегодня я пишу эти строки; время идет, силы слабеют, надежды убывают, а между тем желание жить остается самым сильным мо-

им желанием, и не хотелось бы мне скончать свои дни, прежде чем я не облобызаю стопы Вашей светлости; и столь счастлив был бы я видеть Вашу светлость благоденствующим в Испании, что это могло бы вдохнуть в меня жизнь. Но если уж мне положено умереть, то да исполнится воля небес, Вы же, Ваша светлость, по крайней мере будете знать об этом моем желании, равно как и о том, что Вы имеете во мне преданнейшего слугу, готового пойти больше чем на смерть, дабы доказать Вам свое рвение. Со всем тем я заранее радуюсь прибытию Вашей светлости, ликую, представляя себе, какими рукоплесканиями будете Вы встречены, и торжествую при мысли о том, что надежды мои, внушенные мне славой о доброте Вашей светлости, оказались не напрасными. В душе моей все еще живут дорогие образы *Недель в саду* и *Достославного Бернардо*. Если ж, на мое счастье, выпадет мне столь великая удача, что небо продлит мне жизнь,—впрочем, это будет уже не просто удача, но чудо,—то Вы их увидите, а с ними и конец *Галатеи*, которая Вашей светлости пришлась по вкусу. Да почиет же благодать господня на этих моих будущих трудах, равно как и на Вашей светлости. Писано в Мадриде, тысяча шестьсот шестнадцатого года апреля девятнадцатого дня».

Сервантес не дожил до возвращения своего покровителя. Он умер 23 апреля 1616 года, в тот самый день, когда, по распространенному мнению, Англия потеряла Шекспира.

Сервантес был погребен в церкви женского монастыря св. Троицы, где за два года до того постриглась его побочная дочь. Впоследствии тщетно искали точное место его погребения и сперва следовали неверному указанию на Калье дель Умильядеро, где некоторое время действительно находился монастырь св. Троицы. Позже было установлено, что монахини св. Троицы с 1612 года пребывали на улице Кантарранас, ныне улице Лопе де Вега, и лишь в 1639 году переехали на Калье дель Умильядеро, откуда через два года возвратились на прежнее место. К сожалению, на этой улице столько домов снесено и перестроено, место, на котором прежде стояла церковь монахинь св. Троицы, столько раз изменяло свой вид и прежде всего именно могилы так ча-

сто переносились, что надо отказаться от надежды найти останки Сервантеса, которые, по-видимому, и вообще никогда не покоились в могиле с какой-либо надписью. Таково заключение, к которому приходит в своей интересной работе маркиз де Молин, занимавшийся по поручению Испанской академии розысками могилы Сервантеса.

Один дом на Калье дель Леон, на углу улицы Франкос (последняя именуется сейчас Калье де Сервантес) долгое время пользовался известностью как обиталище автора *Дон Кихота*. В 1833 году старый дом на углу улицы Франкос был разрушен с тем, чтобы на его месте построить новое здание. Король Фердинанд VII пожелал купить этот участок, чтобы соорудить на нем нечто вроде Атеней, но владелец упорно отказывался продавать. Он согласился лишь на то, чтобы в фасад нового дома был вделан медальон с изображением Сервантеса, исполненный по повелению короля и за его счет Эстебаном де Агреда, директором Академии художеств. Надпись излишне длинна; лучше, если бы она была латиндарнее — в таком, например, роде: «Здесь жил и умер Мигель де Сервантес Сааведра, кем восхищается весь мир. Скончался в 1616 году».

Для сведения иностранцев, «любопытных обозревателей надписей и памятников», как выражается г-н Харитидес, добавим, что некогда дверь Сервантеса выходила не на улицу Франкос, которая носит теперь его имя, а на Калье дель Леон, где числилась под номером 20.

Фердинанд VII, желавший почтить память Сервантеса, заказал его статую, которая должна была быть воздвигнута на площади Санта Каталина (ныне Площадь кортесов), скульптору дону Антонио Сола, директору Испанской школы в Риме. Статуя эта была закончена лишь через два года после смерти короля, в самый разгар гражданской войны. Она отлита из бронзы, размерами больше натуральной величины. Сервантес стоит, одетый, как дворянин своей эпохи, в трико, короткие и словно раздувающиеся штаны, в правой руке он держит рукопись, левая сжимает эфес шпаги, и ее не видно под складками короткого плаща, — многим понравилась эта выдумка, напоминающая манеру рисовать какого-нибудь лейтенанта в профиль, чтобы не виден был эпо-

лет без бахромы. Пьедестал, на наш взгляд, чрезмерно высок, пропорции его не слишком удачны. Надпись гласит:

*Micheli de Servantes
Saavedra
Hispaniae Scriptorum
Principi
Anno
MDCCXXXV **

Не думаем, чтобы наш дорогой учитель, г-н Хаза, одобрил *hispaniae scriptorum*. На задней стороне пьедестала — испанский перевод этой надписи. На боковых сторонах — два посредственных барельефа: первый выезд Дон Кихота и приключение со львами.

Вдова Сервантеса выпустила в 1617 году незаконченный роман *Персилес и Сихизмунда*, подражание скучнейшему *Феагену и Хариклею* Гелиодора: в нем наличествуют все недостатки, в которых упрекают автора *Дон Кихота*, без искупающих их изумительных достоинств. Даже стилю не хватает легкости и изящества других прозаических произведений Сервантеса. Это ряд неправдоподобных приключений, между которыми как бы случайно вкраплены длинные побочные эпизоды, прерывающие главную сюжетную линию. У немногих хватит духу дочитать роман до конца, и никто, добравшись до конца, не сможет вспомнить начало.

Комментарии, критические исследования и всякого рода замечания о *Дон Кихоте* составляют целое собрание томов, довольно-таки бесполезных для оценки труда, который читают все и о котором все одного мнения, подкрепленного трехсотлетним всеобщим восхищением. Мы здесь ограничимся пересказом лишь некоторых взглядов на цель, которую преследовал писатель.

Его современники и большинство непосредственных преемников полагали, что он хотел высмеять некий литературный жанр, излюбленный в его время, — рыцарский роман. Может быть, правильнее было бы сказать, что критика рыцарских романов явилась не столько целью этого произведения, сколько поводом для него, так же как пародия сказки о Гаргантюа оказалась для Рабле лишь

* Мигелю де Сервантесу Сааведра, лучшему испанскому писателю, год 1835 (лат.).

исходной точкой его бессмертной сатиры. Но это объяснение показалось слишком простым кое-каким утонченным комментаторам, которые часто приписывают людям минувших веков взгляды, господствующие в наше время. Мы живем в эпоху, когда многие заинтересованные люди смотрят на литературу как на своего рода жречество. Что бы теперь ни писалось — философский труд или водевиль, — все пишется для вящего блага человечества. *Vitae monstranda via est* *. Эти литераторы не допускают мысли, что Сервантес мог написать книгу лишь для того, чтобы позабавиться и позабавить читателей. Предположить, что он старался лишь высмеять рыцарские романы, по их мнению, означает признать писателя таким же безумцем, как его герой, сражающийся с ветряными мельницами. И вот стали строиться всевозможные гипотезы — одна хитроумнее другой, но все, к сожалению, в самом корне своем ошибочные. Чтобы их можно было принять, надо было бы, чтобы Сервантес родился на два столетия позже и обладал таким же блестящим умом, как его комментаторы.

Многие хотели видеть в Сервантесе политического мыслителя и либерала. С этой точки зрения *Дон Кихота* следовало бы рассматривать как едкую сатиру на царствование Карла V. В таком случае великий император — это Рыцарь Печального Образа; приключение с ветряными мельницами — это насмешка над его притязаниями создать всемирную монархию. Заметьте, что у *Дон Кихота* орлиный нос, у Карла V — нос такой же формы. Карл предпринял неудачную экспедицию в Африку, а *Дон Кихот* повстречался с двумя львами, привезенными из Африки. Другие, полагая, что Сервантес не мог метить так высоко, думали, что он ограничивался лишь критикой плохого управления страной, виновником чего был герцог Лерма, полновластный министр и не имеющий соперников фаворит в эпоху, когда создан был *Дон Кихот*. У герцога Лермы нос тоже был орлиный... Не стоит останавливаться на этих хитроумных сопоставлениях.

В 1826 году, когда я писал статью о Сервантесе на основании весьма скудного материала, мне пришлось возражать против гипотезы неверной, но обладающей кажу-

* Указание жизненного пути (лат.).

щимся правдоподобием. По мнению одного из наиболее выдающихся наших современных писателей, самое существенное в замысле *Дон Кихота* — это противопоставление духа поэзии житейской прозе. Пламенно верящий в добродетель и совершенно не понятый своими современниками, Сервантес якобы изобразил самого себя, в одиночестве ведущего борьбу против общества: он нарисовал самого честного и единственно мудрого человека, которого принимает за безумца порочная и неразумная толпа. Толкование это весьма остроумно, однако дух, которым, если принять его на веру, был полон Сервантес, на самом деле отнюдь не был ему свойствен. Если он ставил себе целью создать такую горькую сатиру на современное ему человечество, придется признать, что он в весьма слабой степени достиг этой цели, ибо вместо обличения рода человеческого получилась чрезвычайно веселая и занятая книга. Сопоставим те впечатления, которые остаются у нас от чтения *Кандида* и *Дон Кихота*. Разве в *Кандиде* мы не обнаруживаем грусти и презрения к людям, которые вызывает в нас изучение их пороков? А разве в *Дон Кихоте* нас не поражает неизменное благодушие человека, удовлетворенного жизнью в данном обществе? К тому же можно ли предположить, чтобы гениальный писатель стал воплощать некую абстрактную идею в таком неповторимом, совершенно оригинальном человеческом характере, как *Дон Кихот*? Тогда еще таких абстрактных построений не любили, и не у испанских писателей следует их искать.

Перечитывая теперь произведения Сервантеса, я не сказал бы, что мое впечатление от них существенно изменилось. Только я не стал бы утверждать, что противопоставление героической восторженности и бездушной реальности не возникало неоднократно в уме писателя. Однако возникало оно вовсе не ради того, чтобы извлекать из него какую-то мораль, а просто с целью создавать комические положения и очень часто для того, чтобы воплотить своего рода литературный парадокс, вызвать сочувствие к безумцу. В этом смысле удача его была несомненной и даже, возможно, оказалась большей, чем ему хотелось бы, ибо нет читателя, который не сетовал бы на него за тумачи и палочные удары, сыпавшиеся на *Дон Кихота* особенно в первой части романа, но в

комизме такого жанра есть некое отражение суровых нравов эпохи и страны, как бы воспоминание об арабских сказках, где жестокость сочетается с весельем.

Безумец, полный остроумия и даже здравого смысла во всем, что вне его навязчивой идеи, отнюдь не является неестественным персонажем, — подобные примеры может привести каждый. Сервантес вывел этот не совсем обычный образ не только в главном своем произведении. Лиценциат Видриера из *Назидательных новелл* является вариантом Дон Кихота. Он одержим мыслью, что сделан из стекла, и, боясь быть разбитым, кутается в вату и плотные ткани. Но в таком виде он говорит, как книга, и высказывает каждому, что он о нем думает, свободно и непринужденно, словно Менипп. Он смеется над мерзавцами и дураками, обличает их, удивляя всех своими изречениями, в которых сочетаются лукавство и благородные чувства. Если бы эта новелла появилась до 1605 года, у нас мог бы возникнуть соблазн усмотреть в ней набросок к *Дон Кихоту*. Но она относится к 1613 году, и ее приходится расценивать как своего рода переливку излишков металла, оставшихся после большого слитка.

Один древний автор сказал, что борьба благородного человека с судьбою — зрелище величественное и прекрасное. Мы жалеем Дон Кихота и восхищаемся им, так как образ его порождает в нас немало мыслей, общих у нас с ним. Горе тому, кому никогда не приходили в голову хоть некоторые мысли Дон Кихота и кто не рисковал получить палочные удары или вызвать насмешки за то, что пытался восстановить справедливость! Добавим, что если бы герой наш не был безумцем, он оказался бы весьма неприятным проповедником. Мы слушаем его весьма охотно, так как предупреждены, что не следует брать с него пример. Оратора, превозносящего воинские подвиги, слушают с удовольствием, особенно когда и речи нет о том, чтобы идти вслед за ним в атаку против артиллерийской батареи.

Страстных поклонников Сервантеса нелегко убедить в том, что взгляды его на явления и людей той эпохи не отличались от воззрений его здравомыслящих современников. Никто не хочет признать, что он вполне мог разделять предрассудки своего времени. Поклонники тщательнее выискивают в его произведениях протест против

инквизиции и деспотизма Филиппа II. Глава LXIX второй части показалась некоторым людям большого ума пародией на процедуру, принятую священным трибуналом при расследовании ересей. «Сервантес,— совершенно правильно замечает де Валера в одной своей речи, произнесенной в Испанской академии,— и не думал о какой-либо шутке, а инквизиция нисколько не обиделась. Если бы он считал, что пишет сатиру, то не решился бы ее опубликовать; если бы священный трибунал счел, что здесь сатира, он никогда не пропустил бы ее». В ту эпоху, как столь же справедливо замечает тот же де Валера, вера была так глубока и искренна, что никому и в голову не пришло искать сатирическую тенденцию в том, что писал автор, которому в высшей степени свойственны были простодушие и непосредственность. Мы уже говорили, как долго и как спокойно церковь терпела самые непристойные шутки по поводу своих служителей и своих таинств. Но затем пришло время, когда она впала в противоположную крайность и принялась вопить, что автор *Тартюфа* нападает на религию.

Как в религии, так и в политике идеи Сервантеса отнюдь не опережали его времени. Следует ли усматривать в образе атамана Роке Гинарта прототип либерала и апологию мятежа? Ни в малейшей степени. Писатель выразил лишь предрассудки своих соплеменников, когда окружил своеобразным ореолом некоторых персонажей, бунтующих против законов и вызывающих восхищение простого народа лишь потому, что на двадцать преступных деяний у них бывает одно проявление великодушия и рыцарской восторженности. В Испании во все времена встречались Роке Гинарты, которые вежливо обчищали путешественников и отдавали беднякам то, что отняли у богатых. И разве даже в той стране, где законы больше всего уважаются, то есть в Англии, Робин Гуд и разбойники *Border'a* * не сходят за героев, которым сочувствуют тем более беззаветно, что сейчас нет никакого риска встретиться с ними на большой дороге?

Несколько слов сочувствия бедственному положению морисков, которые были обронены Сервантесом по поводу встречи Санчо с Рикоте, пытались превратить в осуж-

* Пограничной полосы (англ.).

дение нелепого указа о высылке этих несчастных из Испании в 1610 году. Но сам Сервантес называет эту меру «мудрым решением» (*gallarda resolución*), а в *Разговоре двух собак* мы находим целый обвинительный акт против морисков, под которым подписался бы самый ярый и фанатичный из их врагов. «Эти негодяи,— говорит Сервантес,— ничего не тратят, они все время наживаются и обкрадывают нас».

В одном лишь отношении Сервантес, как нам представляется, опередил своих современников,— это в вопросе о колдовстве. Отметим прежде всего, что он писал в 1613 году, лишь немного времени спустя после гнусных преследований, которым подверг П. де Ланкре лабурдинских крестьян, обвиненных в полете на шабаш, и после расправ инквизиционного трибунала в Логроньо с колдуньями Бастана. Вот что говорит у Сервантеса одна колдунья: «Мазь, которой мы пользуемся, сделана из чрезвычайно холодных соков различных трав. Не надо верить, как многие простые люди, будто она делается из крови маленьких детей, которых мы удушаем... Соки эти такие холодные, что, едва натершись ими, мы падаем без чувств и лежим, распростертые на земле, безо всякой одежды. И говорят, что тогда-то в нашем воображении совершается все, что мы принимаем за действительность».

Вот уж несомненно правильная мысль. Если внимательно читать документы ведовских процессов, легко убедиться, что большинство обвиняемых верили, будто вступали в сношения с дьяволом, и сны свои принимали за подлинные деяния. В 1647 году несколько тирольских крестьян утверждали еще до того, как их подвергли пытке, что они летали на шабаш, что они неоднократно оборачивались кошками, чтобы проникнуть в дома, где хотели заморозить малых детей. Весьма вероятно, что в составе мази, о которой говорит Сервантес, имелось какое-то сильное наркотическое средство, вызывавшее видения у так называемого колдуна. Насколько помнится, Гассенди говорит о помаде из белены, производившей подобное действие: в его присутствии ею натерся один пастух с целью, как он говорил, попасть на сборище колдунов.

Никто меньше Сервантеса не заслужил славы реформатора. Владей он одним из талисманов, о которых по-

вествуется в арабских сказках и которые обеспечивают своему обладателю всемогущество, он не стал бы с его помощью менять общественные установления своего времени. Он чувствовал себя в нем неплохо; единственная трудность, с которой он сталкивался,— это добывание средств для пропитания семьи. Впрочем, бедность не внушала ему гнева или ненависти к богатым и сильным мира. Счастье никогда не улыбалось ему, но он не становился от этого человеконенавистником, и вместо того, чтобы жаловаться на невежество и пороки своего времени, он всегда готов был признать самого себя виновным в неловкости, в неумении воспользоваться благоприятным случаем, когда тот представлялся. «Ты сам,— говорит он,— кузнец своего счастья, и порою я видел, как оно шло тебе в руки».

Все произведения Сервантеса свидетельствуют о его скромности, благодушии, внутреннем благородстве. Читая их, нельзя не полюбить автора.

Работал он, по-видимому, исключительно быстро. Мы далеки от того, чтобы ставить ему это в заслугу, ибо когда речь идет о литературном творчестве, надо учитывать лишь результат. Но если какому-нибудь писателю простительна спешка, то в первую очередь — Сервантесу: ведь у него не было ничего, кроме пера, чтобы жить и кормить семью.

В *Дон Кихоте*, особенно в первой части, обнаружено было много промахов, проистекавших от невнимания и забывчивости. В этом романе не следует придираться к хронологии и географии. Дон Кихот выезжает из своей деревни в середине осени, а через несколько дней оказывается, что действие происходит летом. В другом месте одни и те же персонажи ужинают дважды в один день, и не только люди с хорошим аппетитом, вроде Санчо Пансы, но также влюбленные и чувствительные герои, которым и вообще есть не полагается. В первых главах жена Санчо зовется Хуана Мари Гутьеррес, и Авельянеда сохранил ей это имя. Сервантес, ее создатель, немного дальше именует ее Хуаной Панса, добавляя при этом, что она вовсе не была родственницей Санчо. Наконец, во второй части ее зовут Тересой. Все эти замечания, которые я заимствую у строгих комментаторов, да и у многих других, доказывают лишь одно — что

Сервантес плохо читал корректуры. Об этом свидетельствуют первые издания *Дон Кихота*: трудно представить себе большее количество ошибок.

И все же очевидно, что он крайне тщательно отделывал свой стиль. По мнению лучших знатоков, среди которых назову доктора Сеана, дона Хуана Валера и моего покойного друга Серафина Э. Кальдерона (все они члены Испанской академии), Сервантес — лучший испанский прозаик. Фразы у него длинные, но составлены с большим искусством. В то время во всей Европе царил период. Люди писали друг другу письма, состоявшие из одной фразы, и требовалось, чтобы в эту фразу естественно включались формулы вежливости. Нам кажется, что в Испании простой народ, и во всех других странах лучше блюдуший дух языка, чем образованные люди, выражается именно так, особенно когда о чем-либо повествует. Французу бросилось бы, кроме того, в глаза обилие прилагательных, которое немного удивляет нас, когда мы читаем *Дон Кихота* в оригинале. Однако оно придает мысли большую точность и позволяет рассказчику управлять и руководить вниманием слушателя. Заметим еще, что, несмотря на быстроту, с которой Сервантес писал, он ищет и находит эффекты, возникающие при искусном подборе и сочетании слов, в чем он очень походит на нашего Рабле, всегда любившего соединять слова таким образом, чтобы удивить и позабавить своего читателя. Проза Сервантеса всегда орнаментальна, но от этого она не становится менее естественной, прозрачной и точной.

Под конец — несколько слов о новом переводе. Во времена Сервантеса писатель не выпускал в свет книгу, не предпослав своему произведению сонетов или десятистиший, принадлежавших перу друзей и восхвалявших автора. Мне жаль, что сейчас мы отказались от желания завоевать симпатию публики путем представления ей авторитетных свидетельств в нашу пользу. Что касается лично меня, то мне было бы довольно трудно сочинить сонет, но если мнение поклонника Сервантеса, много раз перечитывавшего *Дон Кихота* в оригинале, имеет какой-то вес, я сказал бы низменной прозой, что перевод Люсьена Биара мне понравился и что я рекомендую его французским читателям. Люсьен Биар в совершенстве

владеет и испанским языком и французским. Он долгое время жил в Мексике, где еще говорят на старом кастильском языке Сервантеса, а не на офранцузженном кастильском языке мадридских газет, и многие выражения, уже непонятные испанцу, хорошо известны жителю Мексики.

Существуют две системы перевода — каждая имеет свои недостатки. Одни переводы, которые прозваны неверными красавицами, сглаживают все своеобразные черты автора. Другие, стараясь, насколько возможно, сохранить чужеземный аромат, с трудом доходят до понимания читателя. Некогда эта вторая система была в великой моде, и я в свое время читал в одной газете, что «Тлемсенский *hoim*, объединившись с *maghzen*, учинил *gazzia* у Бени... вследствие чего Каиду была предложена *diffa*...». Честно говоря, чтобы понять такой французский язык, нужно быть немножко арабистом. Между этими двумя системами есть золотая середина, состоящая в том, что сперва заботятся о передаче мысли автора, а уж затем стараются точно передать каждое выражение, которое он употреблял. Никогда не теряя из вида, что он пишет для французов, г-н Люсьен Биар, по-моему, верно выразил мысль переводимого им автора и дает, в общем, точное представление о стиле Сервантеса.

МЕРИМЕ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

В творческом наследии Проспера Мериме литературной критике принадлежит довольно скромное место. Писатель не был журналистом-профессионалом, как Сент-Бёв или даже как Стендаль. Мериме писал статьи от случая к случаю, отдавая дань тому или иному своему литературному увлечению либо уступая настоятельным просьбам многочисленных знакомых. Поэтому его литературно-критические работы неоднородны и неравноценны. Есть среди них и большие серьезные предисловия или обстоятельные журнальные статьи, есть и маленькие газетные заметки и рецензии. Многие из этих статей «на случай» теперь справедливо забыты, но лучшая часть наследия Мериме-критика, теснейшим образом связанная с его художественным творчеством, не утратила своего значения и в наши дни.

В 1824 году, через год после появления манифеста-памфлета Стендаля «Расин и Шекспир», парижская газета «Глоб» печатает четыре статьи Мериме, посвященные театру и драматургии современной Испании. Эти статьи Мериме — первое выступление писателя в печати — продолжают борьбу с классицизмом за литературу прогрессивного романтизма. Для Мериме статьи эти имели особое значение. Они были посвящены стране, которой суждено было занять одно из центральных мест в его творчестве и как писателя, и как историка, и как литературоведа. Появление четырех статей «Драматическое искусство в Испании» было непосредственно связано с работой Мериме над «Театром Клары Гасуль», увидевшим свет в 1825 году. А в январе 1826-го Мериме опять возвращается к испанской теме — он выпускает проспект нового шеститомного издания «Дон Кихота». В том же году появляется и первый том этого издания с большим предисловием Мериме. Когда в начале 1869 года парижский издатель П.-Ж. Этцель задумал выпустить новый перевод романа Сервантеса, он обратился к Мериме с предложением перепечатать его предисловие 1826 года. Престарелый писатель отвечал Этцелю (22 марта): «Предисловие,

о котором вы говорите, ужасно, мне стыдно, что я его написал. Если позволят здоровье и время, я напишу для вас новое. За последние двадцать лет в Испании сделан ряд новых открытий, касающихся жизни Сервантеса, и совершенно невозможно не рассказать о них или хотя бы ими не воспользоваться». Так возникла большая статья Мериме о Сервантесе, появившаяся уже после смерти ее автора, в 1877 году. Среди работ Мериме по испанистике интересна его пространная рецензия на трехтомную капитальную монографию американского ученого Джорджа Тикнора «История испанской литературы», напечатанная в «Ревю де де Монд» 15 апреля 1851 года. В этой рецензии Мериме высказал ряд мыслей об испанской литературе, не ограничиваясь оценкой книги Тикнора.

Писатель-новеллист, мастер сжатых и емких характеристик, Мериме в своих критических работах тяготел к жанру литературного портрета, который занимает в его наследии центральное место. Ряд таких статей-портретов, статей-характеристик Мериме посвятил писателям прошлого—Сервантесу, Фруасару (1856), Брантому (1856). В них филологическая точность и историческая достоверность сочетаются с живостью изложения и тонкостью оценок.

Но большинство литературных портретов Мериме посвящено его современникам, теперь уже почти забытым, и таким, как Байрон, Стендаль или Нодье.

Не раз брался Мериме за перо, чтобы почтить память умерших друзей. Так возникли две его статьи о Викторе Жакмоне (1833 и 1867) и два варианта воспоминаний о Стендале (1850 и 1855). С натуралистом и путешественником Виктором Жакмоном Мериме связывала многолетняя дружба, общность литературных и политических взглядов, общие друзья и привязанности. Географ и натуралист, Виктор Жакмон занял заметное место в истории французской литературы первой половины XIX века. Он обеспечил его себе не увлекательными отчетами о дальних странствиях по неведомым странам, а обширным эпистолярным наследием, письмами, написанными с незаурядным литературным мастерством. Часть его переписки, изданная в 1833 году, стала крупным литературным событием; не случайно эти два толстых тома были затем несколько раз переизданы, а в 1867 году с предисловием Мериме были напечатаны еще два тома новых писем Жакмона.

Огромную роль в формировании Мериме-писателя сыграл Стендаль. Они познакомились летом 1822 года и с той поры постоянно встречались в обществе Делакруа, Жакмона, Мюссе, Александра Тургенева и других своих приятелей, вместе гуляли по Риму, путешествовали по Франции. Не разделяя некоторых политических взглядов Бейля, Мериме находился под его сильным литературным влиянием; Стендаль, в свою очередь, всегда внимательно относился к суждениям своего молодого друга. В 1850 году Мериме напечатал микроскопическим тиражом (25 экземпляров), анонимно, свою брошюру «А. Б.» При ее переиздании в 1855 году он «приспособил» ее для широкой публики, расширил и уточнил некоторые детали, но начисто снял все упоминания об атеизме Стендаля и о его политической непримиримости.

В чем-то Мериме несправедлив к Бейлю, в чем-то не вполне прав (на его совести, например, миф о зашифрованности рукописей Стендаля), но в целом он воссоздает верный и очень живой образ Стендаля-человека, увидев его глазами друга.

Иной характер носит его статья о Шарле Нодье. Они редко встречались, и между ними никогда не было дружеских отношений.

Мериме пришлось занять во Французской академии кресло Нодье и произнести речь в его честь. Он тщательно готовился к этой речи, переписывался с родственниками и друзьями Нодье, разыскивал давно изданные и уже забытые его книги.

Мериме прекрасно понимал, что ему придется говорить перед реакционно настроенными академиками и представителями светского общества, поэтому он исключил из своей речи о Нодье какие-либо намеки на свободомыслие и позволил себе ряд критических замечаний в адрес ненавистной его слушателям якобинской диктатуры.

Творчество Нодье и Стендаля, теснейшим образом связанное с культурой века Просвещения, открыло перед Мериме новую эпоху, которая до этого не привлекала его внимания. Он внимательно перечитывает произведения писателей XVIII столетия, причем не только французских. Интересы Мериме в этой области отразились в двух его рецензиях — на трехтомное издание переписки г-жи дю Дефан (1697—1780), прекрасного стилиста, значительного писателя-эпистолога, и на публикацию дневников английского общественного деятеля и писателя-мемуариста Сэмюэла Пеписа (1633—1703). Эти рецензии Мериме появляются в 1867 и 1869 годах.

Большой интерес вызывали у Мериме образцы народного творчества различных народов. Интерес к фольклору Мериме пронес через всю жизнь; его легко обнаружить и в одной из первых книг писателя — в его «Гузле» — и в более поздних работах. Во время своих многочисленных поездок он старательно записывает народные песни и предания, включая затем некоторые из них в свои книги (в «Кармен», «Коломбу», «Заметки о путешествии по Корсике», «Локис» и т. д.). В 1855 году Мериме пишет предисловие к небольшой книжке Марино Врето «Рассказы и стихи современной Греции», а также большую статью «О примитивных мифах». К этим двум работам Мериме примыкает третья — рецензия на сборник румынских народных баллад и песен.

50-е и 60-е годы проходят для Мериме под знаком все возрастающего интереса к литературе славянских стран, и прежде всего к русской литературе. Интерес к русской литературе возник у Мериме уже в 20-е годы. Он знакомится с представителями просвещенных кругов русского общества, не чуждых литературе, — с К. К. Лабенским, Н. А. Мельгуновым, А. И. и Н. И. Тургеневыми, С. А. Соболевским. Соболевский пробудил в нем интерес к творчеству Пушкина. В 20-е и 30-е годы Мериме уже обнаруживает неплохое знание русской литературы, с которой он знакомится как по французским переводам, так и в подлиннике, — он начинает изучать русский язык. Его учителями были К. К. Лабенский и С. А. Соболевский, но главным образом Варвара Ивановна Дубенская, знакомая Пушкина, у которой Мериме с середины 40-х

годов начинает брать систематические уроки. Он читал Державина, Крылова, Жуковского, Карамзина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя. Но особое восхищение вызывает у него Пушкин, творчеством которого он занимался около сорока лет.

Эти русские интересы Мериме развиваются на фоне растущего критического отношения писателя к современной ему французской литературе, об упадке которой он не раз писал в частных письмах и некоторых статьях. И этому мельчанию тем и сюжетов, падению литературного мастерства Мериме противопоставляет опыт лучших представителей русской литературы. Он переводит произведения некоторых из них, о других пишет статьи. В июле 1849 года Мериме печатает свой перевод пушкинской «Пиковой дамы». Через два года появляется его статья «Николай Гоголь», более чем наполовину состоящая из отрывков и пересказов «Мертвых душ» и «Ревизора». (По некоторым сведениям, Мериме был лично знаком с Гоголем, — он встретился с ним в 1837 году в парижском салоне А. О. Смирновой.) Однако Мериме увидел в Гоголе лишь сатирика («Гоголь, — писал Мериме, — прежде всего яркий сатирик. Он безжалостен к злобе и глупости, но в его распоряжении имеется только одно оружие — ирония»). Плохо зная русскую жизнь, Мериме увидел в книгах Гоголя лишь злую карикатуру на нее. Преувеличил Мериме и влияние на Гоголя ряда иностранных писателей (Рабле, Стерна, Гофмана, Бальзака). Характерно, что эту одностороннюю оценку Гоголя с радостью подхватил Ф. Булгарин, развив ее в двух статьях в «Северной пчеле». И. С. Тургенев в письме Полине Виардо так оценил статью Мериме о Гоголе: «Самые проникательные умы из числа иностранцев, как, например, Мериме, увидят в Гоголе только юмориста на английский лад. Его историческое значение совершенно ускользает от них». Вместе с тем Мериме одним из первых во Франции обратил внимание на Гоголя, стал пропагандировать его произведения. В июле 1853 года он публикует полный перевод «Ревизора».

В 50-е и 60-е годы Мериме знакомится с Е. А. Баратынским, П. А. Вяземским, М. Н. Лонгиновым, И. С. Тургеневым; его занятия русским языком и литературой расширяются и углубляются. Он читает Загоскина, Аксакова, А. К. Толстого, Тургенева, Л. Н. Толстого, Достоевского. Появляются его новые переводы произведений Пушкина («Цыганы», «Гусар», «Выстрел») и, наконец, статья о великом русском поэте. Именно Пушкин заставил Мериме полюбить русский язык, оценить его богатство и силу. Он не раз писал об этом своим корреспондентам, например, К. Н. Леонтьеву (11 апреля 1867 года): «Я глубоко восхищаюсь вашим языком. Это единственный язык теперь в Европе, который еще годен для поэзии». И далее о Пушкине: «Владея чудесным инструментом и умея чудесно на нем играть, он все же никогда не разменивался на вариации, но всегда искал настоящую мелодию. В этом его преимущество перед Байроном. Пушкин в тридцати стихах создал «Пророка», в [тридцати шести] — «Анчара». Лорд Байрон сделал бы из этого два тома». В Пушкине и русских писателях его времени Мериме привлекала высокая гражданственность их произведений, смелость и прямота в постановке острейших вопросов русской жизни, реализм, прекрасное владение словом. Интересные суждения Мериме о русской литературе мы находим в воспомина-

ниях его друга И. С. Тургенева. «Ваша поэзия,— сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго,— ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу».

В статье о Пушкине (которую, между прочим, Тургенев настоятельно рекомендовал П. В. Анненкову) Мериме не избежал некоторых ошибок и неточностей: он, например, явно преувеличил степень влияния Байрона на русского поэта, не заметил цензурного гнета, под которым изнемогал Пушкин, увидел в Николае лишь мягкого и справедливого критика произведений поэта. Тем не менее работа Мериме была лучшей статьей о Пушкине во французской печати.

С Тургеневым Мериме познакомился в феврале 1857 года в Париже и с той поры постоянно переписывался и встречался. Но еще до знакомства, в 1854 году, он публикует большую рецензию на французский перевод тургеневских «Записок охотника», назвав ее «Крепостное право и русская литература». В этой статье, дав весьма высокую оценку творчеству Тургенева, Мериме допустил ряд ошибок в истолковании некоторых черт русской жизни; его мысли о крепостном праве отличаются наивностью.

В 1863 году с предисловием Мериме выходит французский перевод романа Тургенева «Отцы и дети»; в 1868 году Мериме публикует свой этюд «Иван Тургенев». В эти же годы он печатает свои переводы произведений русского романиста — повестей и рассказов «Призраки» (1866), «Жид» (1869), «Петушков» (1869), «Собака» (1869), «Странная история» (1870). Он просматривает и редактирует переводы других произведений Тургенева, появляющиеся в эти годы во Франции; по совету Тургенева переводит рассказ Марко Вовчка «Казачка», переводит вместе с ним «Мцыри» Лермонтова. В 60-е годы Тургенев становится для Мериме единственным литературным единомышленником и другом, поэтому их взаимоотношения представляют особый интерес. Достаточно сказать, что о некоторых неосуществленных замыслах Тургенева мы узнаем только из их переписки.

По своим эстетическим вкусам Мериме целиком принадлежит первой половине XIX века. Ему осталось чуждым творчество молодого Флобера; не сумел он оценить и первые книги Льва Толстого и Достоевского.

В настоящем томе представлены лучшие образцы критики и публицистики Мериме. Все статьи Мериме, за исключением статей о русской литературе и «Стендаля», печатаются на русском языке впервые.

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ О ПУТЕШЕСТВИИ ПО КОРСИКЕ

Эта книга Мериме впервые издана в апреле 1840 года. Подробнее о ней см. в послесловии к т. 4 настоящего издания.

Печатается с небольшими сокращениями. На русском языке появляется впервые.

Стр. 7. *Господин министр.*— Эта книга-доклад Мериме была адресована французскому министру внутренних дел Дюшателю. ...за время моего двухмесячного пребывания на Корсике.— Мериме приехал на Корсику 15 августа 1839 года и покинул остров 7 октября.

Стр. 8. *Кирн* — одно из местных языческих божеств.

Корса — лигурийская девушка, открывшая, согласно легендам, остров Корсику, последовав вплавь за быком, отправлявшимся туда пасться.

Этруски — римское название одного из самых крупных племен древней Италии.

Диодор Сицилийский (ок. 80—29 до н. э.) — древнегреческий историк, уроженец Сицилии; его основной труд «Историческая библиотека» излагает всемирную историю с древнейших времен до середины I века до н. э.

Лигурийцы (или лигуры) — группа племен, населявших северо-западную Италию и юго-восточную часть Галлии; в I веке н. э. окончательно покорены римлянами.

Павсаний — древнегреческий писатель II века н. э., автор «Описания Эллады».

Стр. 9. *Марий, Гай* (156—86 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель. Между ним и Люцием Корнелием Суллой (138—78 до н. э.), выражавшим интересы крупных землевладельцев, в 89 году до н. э. разгорелась ожесточенная борьба.

Стр. 10. *Урбан II* — папа римский с 1088 по 1099 год.

Джованни делла Гросса (1378—1464) — корсиканский средневековый историограф и политический деятель.

Стр. 11. *Бонифаций VIII* — папа римский с 1294 по 1303 год.

Хайме II Справедливый (ок. 1260—1327) — король Арагона с 1291 года; в 1302 году получил от папы право на владение Корсикой и Сардинией.

Сампьеро д'Орнано (1498—1567) — корсиканский полководец и политический деятель, возглавлявший борьбу корсиканцев с генуэзцами.

Стр. 13. *Друидическими* назывались памятники, построенные друидами, священнослужителями у древних галлов.

Стр. 16. *Стонхендж* — одно из наиболее крупных мегалитических сооружений близ города Солсбери в Англии.

Стр. 20. ...*аллеи Карнака и Эрдевена*. — Об этих мегалитических сооружениях Мериме подробно писал в «Заметках о путешествии по западу Франции» (см. т. 4 настоящего издания).

Стр. 23. *Эдвардс, Вильям-Фредерик* (1777—1842) — английский врач и ученый-антрополог, долго живший во Франции; знакомый Мериме.

Стр. 25. *Тьери, Амедей-Симон-Доминик* (1797—1873) — французский историк и политический деятель, автор большого числа работ по древней истории Галлии.

Стр. 26. *Секст Авиений* — древнеримский географ и поэт IV века н. э.

Стр. 27. *Конти, Этьен-Шарль* (1812—1872) — корсиканский адвокат и поэт-любитель; Мериме познакомился с ним в августе 1839 года в Аяччо.

Стр. 28. *Пульези, Ноэль* (середина XVIII в.) — землевладелец на Корсике.

Стр. 30. *Термин* — римский бог межей и пограничных межевых столбов.

Стр. 31. *Приап* — римский бог садов и полей, позже — бог сладострастия и чувственных наслаждений; изображался в виде бородатого мужчины в длинной одежде, с плодами на груди.

Стр. 34. *Плиний, Гай Секунд Старший* (23—79 н. э.) — древнеримский ученый и писатель, автор «Естественной истории», содержащей сведения по астрономии, географии, зоологии, ботанике и т. п.

Страбон (ок. 63 до н. э.— ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк, автор «Географии», подводящей итог историческим и географическим знаниям античности.

Стр. 49. ...*бык этот* — *символический знак, указывающий на месяц*... — В древнем зодиаке знаком быка (тельца) обозначался апрель.

Стр. 57. *Угелли, Фердинандо* (ок. 1595—1670) — итальянский историк, автор девятитомного труда «Священная Италия, или Об епископах Италии» (1643—1662) и ряда других сочинений.

Стр. 59. *Альгамбра* — крепость-дворец мавританских королей около Гранады (Испания), памятник поздней мавританской архитектуры (XIII—XIV века).

Алькасар — замок-дворец мавританских королей в Севилье.
Стр. 69. *Кабиры* — у древних греков низшие божества, ведавшие плодородием, спасением от бурь и т. п.

Стр. 73. *Нураги* — распространенные в Сардинии высокие башни с террасой вместо крыши.

Стр. 75. *...жил Сенека во времена своего изгнания...* — Римский философ Сенека за сочувствие республиканским идеям был в 41 году н. э. сослан на Корсику, откуда вернулся лишь спустя 8 лет.

Винцентелло д'Истриа (1380—1434) — корсиканский авантюрист; несколько раз делал попытки захватить власть на острове.

Стр. 76. *Колонна д'Истриа*, Антуан — мэр корсиканского города Саллокаро; Мериме встречался с ним на Корсике и затем переписывался.

Стр. 80. *Беллини*, Джованни (ок. 1430—1516) — итальянский художник венецианской школы.

Стр. 81. *Саллюстий*, Гай Крисп (86—35 до н. э.) — римский историк; его капитальный труд «История» сохранился в отдельных фрагментах.

Еще во времена Августа... — то есть на рубеже I века до н. э. и I века н. э.

Стр. 82. *Аристей* — бог земледелия древних греков; согласно мифам, был женат на Авгоное, дочери Кадма, легендарного героя беотийских мифов, основателя города Фив.

Болланд, Жан (1596—1665) — французский богослов.

Григорий I (ок. 540—604) — папа римский с 590 года.

Стр. 85. *Грегори*, Жан-Шарль (1797—1852) — корсиканский юрист и литератор, автор неоконченной «Истории Корсики»; Мериме познакомился с ним в Лионе в июле 1839 года и затем переписывался.

Константин (ок. 274—337) — римский император с 306 года.

Стр. 86. *Виталис*, Жан-Батист (ум. 1832) — французский ученый; занимался применением химии в изобразительном искусстве.

Стр. 87. *Камальдулы* — члены монашеского ордена, основанного в начале XI века

Климент VI — папа римский с 1342 по 1352 год.

Циклопическая кладка — кладка из больших тесаных каменных глыб без связующего раствора.

Альфонс V Арагонский — король Арагона и Сицилии (1416—1458); в 1442 году провозгласил себя королем Обеих Сицилий.

Стр. 91. *Когда умирает человек...* — О причитаниях над телом усопшего Мериме почти в тех же выражениях рассказывает в третьей главе повести «Коломба».

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ИСПАНИИ

Эта серия статей напечатана в газете «Глоб» в ноябре 1824 года. Каждая статья имела свой заголовок: «Драматическое искусство в Испании. Актер Майкес» (13 ноября, № 29); «Драматическое искусство в Испании. Актер Майкес, Сьенфуэгос» (16

ноября, № 30); «Современный испанский театр. Комелья» (23 ноября, № 33); «Современный испанский театр. Моратин» (25 ноября, № 34). Первые две статьи были без подписи, две следующие подписаны буквой «М». При жизни Мериме статьи не перепечатывались.

Стр. 101. *Майкес*, Исидоро (1768—1820) — выдающийся испанский актер и театральный деятель; в 1791 году дебютировал в Мадриде, в 1799—1801 гг. учился в Париже у Тальма. Принимал участие в борьбе испанского народа против французских захватчиков. Деятельность Майкеса способствовала росту культуры испанского театра, появлению новой реалистической драматургии, обновлению приемов актерского исполнения.

Росций — римский актер-комик I века н. э.

Моратин, Леандро Фернандес (1760—1828) — испанский комедиограф, крупнейший представитель новой испанской драматургии. В своих многочисленных комедиях использовал традиции Мольера и испанского театра эпохи Возрождения.

Стр. 102. *Эстала*, Педро — испанский писатель и переводчик XVIII века; кроме оригинальных произведений, его перу принадлежит несколько переводов пьес Аристофана и Софокла.

Стр. 104. *Айяла*, Игнасьо Лопес — испанский писатель и ученый-астроном XVIII века.

Мадмуазель Марс — сценический псевдоним французской актрисы Анны Буте (1779—1847), одной из первых обратившейся к романтической драматургии.

Стр. 105. *Лусан*, Игнасьо (1702—1754) — испанский писатель и литературный критик, теоретик классицизма.

Веласкес, Луи-Хосе (1722—1772) — испанский поэт и теоретик литературы, сторонник классицизма.

Сьенфуэгос, Никасьо-Альварес (1764—1809) — испанский драматург-просветитель, подражавший в своих произведениях пьесам французских писателей-классицистов.

Стр. 106. *Абенсерраги* — могущественный мавританский род, живший в XV веке в Гранаде.

Стр. 107. *Вот как Лопе де Вега вышучивает драматургический вкус своих соплеменников...*— Мериме приводит цитату из стихотворного трактата Лопе де Вега «Новое руководство к сочинению комедий» (стихи 202—206).

Кастро, Гильен де (1569—1631) — испанский драматург эпохи Возрождения, автор трагедии «Юность Сида».

...образ Креспо в «Саламейском алькальде»...— Мериме имеет в виду главного героя пьесы Кальдерона (1651), крестьянина Педро Креспо.

Стр. 108. *Знаменитая фраза из «Дон Кихота»...*— Мериме имеет в виду следующее место из первой главы романа Сервантеса: «Больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать: «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почтитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие».

Перевод Н. Любимова.

«Осада Нумансии» — пьеса Сервантеса (1582), рассказывающая о борьбе кельтских племен во главе с ареваками против римского владычества в середине II века до н. э.

Моратин-отец, Николас Фернандес (1737—1780) — испанский поэт и драматург, сторонник дворянского классицизма, отец Леандро Моратина.

Ирриарте, Томас (1750—1791) — испанский писатель-моралист, баснописец и драматург, сторонник идей французских просветителей.

Комелья, Лусьяно Франсиско (1716—1779) — испанский драматург, автор пьес на исторические и мифологические сюжеты.

Стр. 112. *Князь мира* — дон Мануэль Годой (1767—1851), министр испанского короля Карла IV. Этот титул он получил после того, как в 1795 году по его инициативе была прекращена война с Французской республикой.

Стр. 113. *Реньяр*, Жан-Франсуа (1655—1709) — французский комедиограф, один из самых талантливых последователей Мольера.

БАЙРОН

«Мемуары лорда Байрона» и «Возражения против «Мемуаров лорда Байрона» были напечатаны в газете «Насьональ» 7 марта и 3 июня 1830 года. При жизни Мериме не перепечатывались.

Стр. 114. *Мур*, Томас (1779—1852) — английский поэт-романтик, один из ближайших друзей Байрона.

Беллок, Луиза Свентон (1796—1881) — английская писательница и переводчик. В 1824 году она выпустила двухтомную работу о Байроне. Ее перевод книги Мура вышел в Париже одновременно с английским изданием.

«*Habeas corpus*» — английский закон, принятый в 1679 году и обеспечивающий право всех граждан на освобождение под залог до судебного разбирательства.

Стр. 116. *Мур сжег «Мемуары» Байрона...* — Это обвинение не вполне справедливо. Рукопись Байрона была сожжена по настоянию друга поэта Джона Гобгауза и Августы Ли.

Стр. 117. *...во второй и последний раз покинул Англию.* — Байрон вынужден был покинуть родину в 1816 году.

Стр. 118. *Чимборасо* — горная вершина в Эквадоре (6 272 м).

Стр. 119. *Конрад* — герой поэмы Байрона «Корсар» (1814).

Гяур — герой одноименной поэмы Байрона (1813).

Альп — герой поэмы Байрона «Осада Коринфа» (1816).

Буцефал — легендарный конь Александра Македонского.

Стр. 120. «*Эдинбург Ревью*» («*Эдинбургское обозрение*») — английский реакционный литературный журнал, выступавший против прогрессивного романтизма.

Джексон, Джон (1769—1845) — английский популярный преподаватель бокса, друг Байрона.

Мулине — прием в боксе, фехтовании и пр., состоящий в быстром вращении кулаками, шпагой и т. д., чтобы запутать противника и неожиданно нанести ему удар.

Гелл, Уильям (1777—1836) — английский путешественник, художник и археолог.

Стр. 121. «Горе писателю,— говорил Вольтер...— не совсем точная цитата из «Семи рассуждений в стихах о человеке» Вольтера (VI, 174—175).

Стр. 122. ...чтобы заклясть свои сны о — — — — Так у Байрона.

...солдат, ведомых изменником — — — — Так у Байрона.

Гобгауз, Джон Кэм, барон Брайтон (1786—1869) — английский политический деятель, один из самых близких друзей молодого Байрона, шафер на его свадьбе. Гобгауз был одним из тех, кто особенно настаивал на уничтожении «Мемуаров» Байрона.

Стр. 124. ...поддалась коварным наветам женщины, которую избрала своей наперсницей.— Речь идет о некоей г-же Клермон, экономке леди Байрон. Ее роль в ссоре супругов не вполне ясна.

...только две дамы решались приглашать его на свои вечера...— Одна из них — леди Джерсей, другую Мур не называет.

Стр. 126. Форнарина — дочь итальянского булочника, славившаяся своей красотой, возлюбленная Рафаэля, написавшего ее знаменитый портрет.

Стр. 127. Кэмпбел, Томас (1777—1844) — английский поэт, автор популярной в свое время книги «Радости надежды» (1799).

Делиль, Жак (1738—1813) — французский салонный поэт.

Стр. 128. Рене — герой одноименной повести (1802) Франсуа-Рене Шатобриана (1768—1848).

ВИКТОР ЖАКМОН

Первая статья напечатана в журнале «Ревю де Пари» в мае 1833 года; вторая — в качестве предисловия к «Неизданной переписке Виктора Жакмона со своей семьей и друзьями» в октябре 1867 года. Обе статьи при жизни Мериме не перепечатывались.

Стр. 129. ...директору «Ревю де Пари».— Директором (редактором) этого журнала, основанного в 1829 году, был Луи-Дезире Верон (1798—1867), врач по образованию, литератор и журналист.

Ботанический сад.— В то время директором парижского Ботанического сада был близкий друг Мериме и Стендаля, известный натуралист Жорж Кювье (1769—1832); Мериме часто бывал в его доме, где собирался тесный кружок друзей. Падчерицей Кювье была приятельница Мериме Софи Дювосель.

Стр. 130. Татария.— Мериме, очевидно, имеет в виду Монголию.

Стр. 132. Рунджет Синг (1782—1839) — король Пенджаба.

Гарун-аль-Рашид (766—809) — полупоупендарный багдадский калиф.

...осыпал его богатыми подарками...— Рунджет Синг пожаловал Жакмону титул вице-короля Кашмира.

Стр. 133. ...изображенного нам Лукианом.— Мериме имеет в виду диалог древнегреческого писателя-сатирика Лукиана Само-

сатского (ок. 120—180 н. э.) «Менипп, или Путешествие в подземное царство», в котором выведен философ-циник Менипп.

Леви, Мишель (1821—1875) — французский издатель и книго-торговец; его издательство возникло в 1836 году и стало одним из основных литературных издательств Парижа.

...Жакмон умер тридцати двух лет...— Ошибка Мериме: Жакмон родился в 1801 году, умер в 1832 году.

Стр. 134. ...предыдущие издания...— Впервые письма Жакмона были изданы в 1833 году и затем переиздавались в 1835, 1841, 1846 и 1861 годах.

Стр. 135. Шарп, Сеттон (1797—1843) — английский адвокат, близкий друг Стендаля и Мериме.

Стр. 136. ...строки Шекспира.— Мериме цитирует строки из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно» (д. I, явл. I). Перевод Э. Линецкой.

...господина де М.— то есть Адольфа де Мареста (1784—1867), одного из ближайших друзей Мериме и Стендаля.

Стр. 138. «Путевой дневник».— Мериме имеет в виду изданную в 1841—1844 годах шеститомную работу своего друга «Путешествие в Индию г-на В. Жакмона с 1828 по 1832 год».

Отец Виктора...— Фредерик-Франсуа-Венсеслас Жакмон (1757—1836) оставил ряд публицистических сочинений.

Стр. 139. Тенар, Жак (1777—1857) — известный французский химик, сотрудник Гей-Люсака.

ШАРЛЬ НОДЬЕ

Мериме произнес эту речь на церемонии вступления во Французскую академию 6 февраля 1845 года. Тогда же речь была издана отдельной брошюрой. При жизни Мериме не перепечатывалась.

Стр. 142. ...человека, считавшего себя эрудитом...— Французский писатель-памфлетист Поль-Луи Курье (1772—1825) был также серьезным ученым-эллинистом.

Плутарх,— говорит Курье...— Мериме цитирует фразу из письма Курье г-ну и г-же Томасен от 25 августа 1809 года.

Стр. 143. Конгрегация Оратория — учебное заведение, основанное в 1564 году в Риме; в 1611 году было перенесено во Францию.

...учитель Эмиля...— намек на педагогический роман Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

...память об испанском господстве.— Безансон, столица старинной провинции Франш-Конте, с начала XVI века по 1678 год находился под властью испанских и австрийских Габсбургов.

Стр. 144. Катон Утический (95—46 до н. э.) — государственный деятель Древнего Рима, глава республиканской партии.

Пишегрю, Шарль (1761—1804) — французский республиканский генерал; одержал ряд побед, затем перешел на сторону монархистов.

Вейссенбургские укрепления.— Здесь Мериме повторяет ошибку Нодье: в действительности победа была одержана войсками генерала Гоша.

Стр. 145. *Ксенофонт* (ок. 430—ок. 355 до н. э.) — древнегреческий историк, философ и общественный деятель.

Шантран, Жюстен-Жиро (1750—1841) — безансонский инженер и натуралист-любитель.

«*Серафина*» — заглавие одной из частей «Воспоминаний» Нодье.

Стр. 146. ...его дочь.— Мари Нодье (род. 1811), дочь писателя, была автором стихов и рассказов и книги воспоминаний о своем отце (1867).

Стр. 147. *После террора* — то есть после 1794 года.

Центральная школа — так назывались средние школы, открытые во французских городах в период Республики.

Дроз, Франсуа-Никола-Эжен (1735—1805) — французский ученый-литературовед и писатель-моралист.

Стр. 148. «*Cymbalum mundi*» («Кимвал мира» — антирелигиозный диалог французского писателя Бонавентуры Деперье (ок. 1510—1544).

Боневиль, Никола (1760—1828) — французский публицист и переводчик; одним из первых познакомил французских читателей с немецкой драматургией второй половины XVIII века и немецкой прозой того же времени.

...научное исследование.— Его полное название — «Рассуждение о применении антенны у насекомых и об органе слуха у тех же животных».

Стр. 150. *Жанлис, Стефани-Фелисите* (1746—1830) — автор многочисленных нравоучительных и сентиментальных романов.

...распространенная в рукописи...— В действительности эта ода Нодье была напечатана в 1802 году.

Удэ, Жак-Жозеф (1773—1809) — французский политический деятель, одно время был выслан Бонапартом в Безансон.

Стр. 153. ...он женился...— 30 августа 1808 года Нодье женился на Дезире Шарв, дочери судьи из Доля.

Крофт, Герберт (1751—1816) — английский адвокат и ученый-филолог.

Джонсон, Сэмюэл (1709—1784) — английский литератор-просветитель, автор «Жизнеописаний английских поэтов» и «Словаря», знаменитого памятника английской просветительской мысли.

«*Телемак*» — точнее, «Приключения Телемака» (1699), роман французского писателя Франсуа де Фенелона (1651—1715).

Стр. 154. *Герцог Отрантский* — Фуше.

Стр. 155. *Жофруа, Жюльен-Луи* (1743—1814) — французский реакционный литературный критик и журналист, автор «Курса драматической литературы».

Стр. 156. «*Жан Сбогар*» — роман Нодье, вышел в 1818 году.

«*Тереза Обер*» — повесть Нодье, вышедшая в 1819 году.

«*Воспоминания молодости*» — точнее, «Воспоминания Максима Одена»; вышли в 1832 году.

«Мадмуазель де Марсан» — повесть Нодье, опубликована в 1832 году.

«Фея крошек». — Нодье напечатал эту новеллу в 1832 году.

«Инес из Сьерры» — новелла Нодье, появилась в 1837 году.

«Путешествия по Нормандии и Франш-Конте». — Речь идет о серии книг «Живописные и романические путешествия по старой Франции», издававшейся Нодье, бароном Тэйлором и А. де Кайе; том «Нормандия» и том «Франш-Конте» вышли в 1825 году.

Стр. 157. «Смарра» — новелла Нодье, появилась в 1821 году.

Стр. 158. ...следующим изречением Теренция. — Мериме приводит крылатое выражение из комедии древнеримского драматурга II века до н. э. Теренция «Сам себе мстящий».

Стр. 159. «Мало обладать крупными достоинствами», — сказал Ларошфуко... — Мериме цитирует одну из максим французского писателя-моралиста Франсуа де Ларошфуко (1613—1680) из его книги «Максимы и моральные размышления» (максима 159).

СТЕНДАЛЬ

Впервые издано анонимно отдельной книгой в октябре 1850 года в количестве 25 экземпляров (издатели — братья Фирмен-Дидо) под названием «А. Б.», то есть Анри Бейль.

Печатается с небольшими сокращениями.

Стр. 160. ...одно место из Одиссеи... — Мериме цитирует стих 72 из одиннадцатой песни поэмы Гомера.

Сотле, Огюст (1800—1830) — парижский издатель, друг детства Мериме; покончил с собой в мае 1830 года.

Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ-эклектик; знакомый Стендаля и Мериме.

Жакмон. — Речь идет об отце друга Мериме и Стендаля — Виктора Жакмона.

Стр. 161. Брольи, Виктор (1785—1870) — французский государственный деятель, министр иностранных дел при Луи-Филиппе.

...мы вздумали вместе писать драму. — Этот совместный литературный опыт Мериме и Стендаля не сохранился.

Стр. 162. Паста, Джудитта Негри (1797—1865) — итальянская певица, подолгу жившая во Франции; приятельница Стендаля.

Лас Казас, Эмманюэль (1766—1842) — французский историк; сопровождал Наполеона на остров св. Елены и в 1822—1823 годах опубликовал записи своих бесед с опальным императором («Мемориал Святой Елены»).

Однажды меня послали в Брауншвейг... — в ноябре 1807 года.

Стр. 163. Дарю, Пьер (1767—1829) — французский государственный деятель и писатель, главный интендант армии Наполеона во время русского похода; родственник Бейля.

Стр. 164. Бергонье, Александр-Мартен-Рене (род. 1784) — интендантский чиновник во время русской кампании, сослуживец Стендаля.

Коленкур, Огюст-Жан-Габриэль (1777—1812) — французский генерал, приближенный Наполеона.

Стр. 166. *Voi* — интимная форма обращения на «вы», *lei* — официальная (итал.).

«О любви». — Эта книга Стендаля вышла в 1822 году.

ОБ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Напечатано в журнале «Ревю де де Монд» 15 апреля 1851 года. Перепечатано в сборнике «Статьи по истории и литературе» в 1855 году. Эта статья написана по поводу вышедшей в Нью-Йорке трехтомной «Истории испанской литературы» Джорджа Тикнора (1791—1871).

Стр. 171. ...библиотека *Дон Кихота*... — Мериме имеет в виду главу шестую первой части романа Сервантеса, в которой рассказывается; как священник и цирюльник произвели осмотр в книгохранилище *Дон Кихота* и уничтожили большинство находившихся там книг.

Стр. 171—172. «*Тирант Белый*» — «История славного рыцаря *Тиранта Белого*» (1511), испанский перевод каталонского рыцарского романа, вышедшего в 1490 году; в этой книге наряду с фантастическими рыцарскими похождениями даны картины реальной жизни.

Стр. 172. *Гренвиль*, Джон Картере (1690—1763) — английский государственный деятель и меценат-библиофил.

Стр. 173. *Кампистрон*, Жан-Гальбер (1656—1723) — французский драматург классицистического направления, автор большого числа пьес, построенных по правилам классицизма, напыщенных и ходульных.

Стр. 174. *Альфонс X Мудрый* (1221—1284) — король Кастилии (1252—1284), прославившийся своей просветительской деятельностью.

Гильом Тирский (ок. 1130 — ок. 1183) — французский средневековый хронист, историк крестовых походов.

Хуан Мануэль (1282—1348) — испанский общественный деятель и писатель, племянник Альфонса X.

Стр. 175. *Ренуар*, Антуан-Огюст (1765—1853) — французский литератор и издатель; выпустил «Собрание латинских авторов» (16 томов, 1797), издавал сочинения французских классиков.

Форбель, Клод (1772—1845) — французский переводчик и ученый-литературовед; в 1846 году Мериме напечатал рецензию на его трехтомную «Историю провансальской поэзии».

Рамон Мутанер (род. 1265) — средневековый испанский хронист.

Альмогавары — отборные части в войсках Древней Испании.

Морея — старое название Пелопоннеса.

Монкада, Франсиско, граф Оссуна (1586—1635) — испанский политический деятель, полководец и писатель-историк.

Карбонель, Мигель-Педро (1437—1517) — испанский средневековый историк.

Педро IV Церемонный — король Арагона (1336—1387).

Стр. 176. ...*Химена древнего романсеро*... — героиня средневековых испанских сказаний о Сиде Руй Диасе.

Графиня Шампанская — Мария, дочь Людовика VII, вышедшая замуж в 1164 году за графа Шампанского Генриха I; покровительствовала литературе и искусствам.

Стр. 177. *Яков Завоеватель* (1208—1276) — король Арагона с 1213 года.

...кровавого нашествия французских крестоносцев... — Речь идет о крестовом походе против альбигойцев (1209—1229), сторонников уравнительной ереси, получившей широкое распространение в Провансе.

...при Марафоне.. — то есть в первом крупном сражении во время греко-персидских войн (490 до н. э.).

...при Саламине... — в 449 году до н. э., в период греко-персидских войн.

...при Платее... — то есть в 479 году до н. э. Все три битвы закончились победой афинских армий.

Стр. 178. *Жуанвиль, Жан* (1224—1317) — французский феодал и историк, советник Людовика IX; его работы посвящены крестовым походам и событиям царствования этого короля.

Айяла, Педро Лопес (1332—1407) — испанский средневековый летописец и поэт.

Альфонсо XI — король Кастилии с 1312 по 1350 год.

Педро III Жестокий — король Кастилии (1350—1369); был убит своим незаконнорожденным братом Генрихом Трастамаре.

Стр. 179. *Изабелла Католическая* (1451—1504) — королева Кастилии; благодаря ее браку с Фердинандом II Арагонским оба эти королевства объединились. При Изабелле в Испании была введена инквизиция.

...того арагонского короля, который оказывал помощь еретикам-альбигойцам... — Мериме имеет в виду короля Арагона Педро II (1174—1213), выступившего на стороне альбигойцев против вождя крестоносцев Симона де Монфора.

Стр. 182. *Когда вы «так и сяк» прелестное писали...* — Мериме приводит цитату из комедии Мольера «Ученые женщины» (1672), д. III, явл. 2. Перевод М. Тумповской.

Стр. 183. *Лопе де Руэда* (ок. 1510—1565) — испанский драматург, представитель раннего этапа развития испанской ренессансной драмы.

Стр. 184. *Д'Онуа, Мари-Катрин Жюмель де Берневиль* (сер. XVII в. — 1705) — французская писательница, автор многочисленных романов, новелл и волшебных сказок.

Феспид — древнегреческий трагический поэт VI века до н. э.; сохранились лишь названия четырех его трагедий.

Стр. 185. *Из правды исходить характеров и жизни.* — Стих из песни III «Поэтического искусства» Буало.

Стр. 187. *Рубини, Джованни Баттиста* (1795—1854) — прославленный итальянский певец-тенор; с 1825 года неоднократно гастролировал во Франции.

Марио, Джузеппе (1808—1883) — известный итальянский оперный певец-тенор; не раз выступал на французской сцене.

АРМАН МАРАСТ

Напечатано в газете «Фигаро» 16 ноября 1870 года. Авторская рукопись имеет дату: 13 марта 1852 года. Статья написана в качестве некролога (Мараст скончался 10 марта). Арман Мараст (1801—1852) был видным буржуазным публицистом и общественным деятелем умеренно-либерального направления, одним из участников революции 1848 года и авторов конституции. После свержения Луи-Филиппа он старался приостановить дальнейшее развитие революционных событий, напуганный их демократическим размахом.

Стр. 189. *Лафайет*, Мари-Жозеф-Поль (1757—1834) — деятель Французской революции конца XVIII века и революции 1830 года, участник освободительной войны американских колоний за независимость. Происходя из аристократической семьи, он воспринял идеи просветителей и стал на сторону революции.

Ламартин, Альфонс (1791—1869) — французский поэт, историк и государственный деятель; активный участник революции 1848 года. Войдя во временное правительство, пропагандировал идею примирения классов, стремясь разобщить народные массы.

Стр. 190. *...волнений в городской ратуше.*— Мараст, один из главарей республиканской партии, много сделавшей для свержения монархии Луи-Филиппа, после революционного переворота 1848 года стал быстро эволюционировать вправо, что заставило выступить против него многих его бывших единомышленников, подлинных демократов.

Шэ д'Эст-Анж (1800—1876) — французский адвокат и политический деятель.

Стр. 191. *Кревкер* — герой французских народных сказок и легенд.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Напечатано 1 июля 1854 года в «Ревю де де Монд» в качестве рецензии на перевод Эрнестом Шарьером «Записок охотника» И. С. Тургенева. При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 192. *Жокрис* — традиционный фарсовый персонаж.

...удачным пополнением этой железнодорожной библиотеки.— На французском языке «Записки охотника» Тургенева вышли в 1854 году (под названием «Записки русского дворянина») в специальной серии книг, выпускавшейся издательством «Ашет» и предназначенной для продажи на железнодорожных станциях.

Стр. 193. *Немврод* — отважный охотник (миф).

Стр. 194. *...и его комедия «Ревизор».*— В настоящем переводе опущено следующее далее довольно обширное историческое отступление Мериме, в котором тот пытался объяснить читателям, почти ничего не знавшим о России и ее истории, причины возникновения крепостного права и некоторые связанные с ним черты русской жизни.

Стр. 195. *Брийя-Саварен*, Антельм (1755—1826) — французский гастроном, автор «Физиологии вкуса».

Беллерофонт — герой древнегреческой мифологии; он был наказан Аргосским царем Претом за мнимую попытку соблазнить его жену. Прет послал Беллерофонта к Ликийскому царю Иобату с письмом, в котором просил погубить посланца.

Стр. 196. *Рабле называл мессера Гастера...*— См. кн. IV, гл. 57 «Гаргантюа и Пантагрюэля».

...«во всех добропорядочных науках» — цитата из романа *Рабле* (кн. III, гл. 12).

Стр. 198. *...г-н Тургенев, которого я не имею чести знать...*— Мериме познакомился с И. С. Тургеневым лишь в конце февраля 1857 года.

Шарьер, Эрнест (1805—1870) — французский поэт, драматург, историк и переводчик; около десяти лет прожил в России. Тургенев был возмущен его переводом; он писал, например, С. Т. Аксакову: «Получил я наконец французский перевод моих «Записок» — и лучше бы, если б не получил их! Этот г-н Шарьер черт знает что из меня сделал — прибавлял по целым страницам, выдумывал, выкидывал до невероятности... Каков бессовестный француз — и за что я теперь должен превратиться, по его милости, в шута?» Тургенев опубликовал в «Журналь де Сен-Петербур» письмо-протест по поводу этого перевода (1854, № 475, 10 августа).

БАЛЛАДЫ И НАРОДНЫЕ ПЕСНИ РУМЫНИИ

Напечатано в газете «Монитор юниверсель» 17 января 1856 года. При жизни Мериме не перепечатывалось..

Стр. 199. *Бесполезно было бы искать «Румынию» на карте Европы.*— В 1856 году Румынии как единого государства еще не существовало; на ее территории находилось несколько княжеств, бывших под «коллективным покровительством» Англии, Австрии, Франции, России и Пруссии.

...некий австрийский министр...— Мериме имеет в виду австрийского реакционного политического деятеля Александра Баха, возглавившего правительство Австрии после подавления революции 1848 года. Внутренняя политика многонациональной австрийской империи состояла в том, чтобы урезывать интересы то той, то другой национальности. Так, после подавления революции в Венгрии ее самоуправление было уничтожено, в то время как трансильванские румыны стали пользоваться известной самостоятельностью. Тем самым австрийское правительство пыталось приостановить развитие национально-освободительного движения поработенных народов, в частности венгров и румын.

...после войн Траяна с даками...— то есть в 107 г. н. э.; когда Дакия была покорена римским императором Марком Ульпием Траяном (53—117).

Стр. 200. *...хотели снабдить их губернаторами и казаками...*— Мериме, поддерживавший французское правительство в период Крымской войны, обвиняет Россию в стремлении подчинить себе Румынию. В действительности борьба России с Турцией способствовала освобождению румынского народа от турецкого ига и образованию независимого румынского государства.

Фанариоты — представители греческого духовенства, а также вообще богатые и знатные греки, потомки аристократических византийских родов.

Александрри, Василе (1821—1890) — румыно-молдавский писатель и публицист, собиратель фольклора и театральный деятель. Его работа над сборником «Дойны» относится к 1843—1853 годам.

Войнеско, Ион (ок. 1810—1855) — румынский политический деятель и писатель-публицист; переводил на румынский язык пьесы Мольера, писал стихи и новеллы, перевел на французский язык стихотворения Александрри.

Стр. 202. *Бризеида* — наложница Ахилла, которую отнял у него Агамемнон («Илиада» Гомера).

Стр. 203. ...под началом *Фемистокла* садиться на корабли при приближении войска *Мардония*. — Мериме имеет в виду один из эпизодов греко-персидских войн (500—449 до н. э.), в которых греческий флот под командованием Фемистокла (ок. 525—ок. 460 до н. э.) одержал ряд внушительных побед над персами.

Геродот (ок. 484—425 до н. э.) — древнегреческий историк, основатель историографии, автор «Истории греко-персидских войн». Мериме хочет сказать, что на смену наивным, примитивным мифам приходит строго объективная историческая наука.

Стр. 204. ...от кедра до иссопа. — Мериме употребляет здесь известное библейское выражение, применявшееся к богу в том смысле, что он правит всем на свете — и самым великим и самым малым.

Стр. 205. ...*Одиссей*...: заплакал, когда бард *Алкиноя* стал петь о *Троянской войне* — Мериме имеет в виду эпизод из восьмой песни поэмы Гомера (стихи 75—92).

Труверы — северофранцузские средневековые поэты куртуазного направления, авторы лирических стихов, поэм и рыцарских романов.

Стр. 206. ...греческими песнями, переведенными покойным г-ном *Форьелем*. — Мериме имеет в виду «Народные песни современной Греции» Клода Форьеля (1772—1845), вышедшие в 1824—1825 годах. Мериме использовал эту книгу в период работы над «Гузлой».

Стр. 207. ...стал супругом *Прозерпины*... — У древних греков *Прозерпина* считалась владычицей преисподней.

Стр. 208. *Стефан Великий* (ум. 1504) — молдавский князь (господарь) с 1457 года, прославившийся своими победами над турками.

Стр. 209. *Рабле* советовал при вранье брать нечетное число... — Буквально этого совета у *Рабле* нет. Мериме имеет в виду те фантастически огромные, но точные цифры, которые *Рабле* приводит в своем романе.

БРАНТОМ

Напечатано в сентябре 1858 года в качестве предисловия к первому тому Полного собрания сочинений Брантома (в 13 томах), издававшегося П. Жане. При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 211. Дата и место его рождения нигде точно не указаны.— Современные исследователи определяют дату рождения Брантома весьма широко — от 1527 до 1540 года; место его рождения теперь определено — это селение Брантом в провинции Дордонь.

Стр. 212. Баярд, Пьер дю Терай (1470—1524) — французский полководец, прославившийся в Итальянских войнах; за смелость получил прозвище «рыцаря без страха и упрека».

...был смертельно ранен в Павии...— Это сражение (24 февраля 1525 года) закончилось полным поражением французских войск; король Франциск I был взят в плен испанцами.

Маргарита Ангулемская (1492—1549) — сестра короля Франциска; известная французская писательница эпохи Возрождения, автор стихов, пьес и сборника новелл «Гептамерон», написанного в подражание «Декамерону» Боккаччо.

...поступил в знаменитую тогда пуатьерскую школу...— Брантом учился в Пуатье с 1553 по 1557 год; в Пуатье учились многие известные гуманисты и литераторы той эпохи — Рабле, Дю Белле и др.

...при осаде Эдена...— Речь идет, очевидно, об осаде Эдена в 1553 году войсками герцога Савойского Филибера-Эмманюэля; после капитуляции город был разрушен до основания.

Стр. 213. Брисак, Шарль (1505—1563) — французский полководец, один из самых смелых военачальников своего времени.

Обетер, Давид Бушар — французский дворянин-протестант; в 1559 году он женился на племяннице Брантома.

Стр. 214. ...«многих людей города посетил и обычаи видел» — Мериме цитирует стих из первой песни «Одиссеи». Перевод В. А. Жуковского.

Строцци, Филипп (1541—1582) — французский полководец, итальянец по происхождению.

Реноди — подставное лицо принца Конде; после раскрытия заговора был казнен (17 марта 1560):

...отвезти туда Марию Стюарт, глубоко опечаленную тем, что ей приходится покинуть Францию.— Воспитанная при французском дворе, Мария Стюарт после смерти мужа Франциска II вынуждена была вернуться в Шотландию.

Стр. 215. Шателяр, Пьер де Боскозель (1540—1564) — французский поэт, влюбленный в Марию Стюарт; был обвинен в оскорблении величества и казнен.

...при сражении в Дре...— Мериме пишет о первом этапе Религиозных войн: Бурж был взят войсками католиков 31 августа 1562 года, Руан — 26 октября; битва при Дре состоялась 19 декабря и закончилась полным поражением протестантов.

Стр. 217. Себастьян (1554—1578) — португальский король с 1557 по 1578 год; убит в сражении с маврами под Коср-аль Кабиром.

Елизавета (1545—1568) — дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи; была выдана замуж за испанского короля Филиппа II.

Альба, Фердинанд Альварес де Толедо (1508—1582) — испанский полководец и государственный деятель.

Карлос (1545—1568) — сын Филиппа II и Марии Португальской.

Хуан Австрийский (1547—1578) — побочный сын Карла V, испанский полководец.

Объединенные провинции — такое название носили восставшие против испанского владычества Нидерланды.

Мальта подверглась тогда нападению... — то есть в 1566 году.

Паризо де ла Валет (1494—1568) — великий магистр (с 1557) рыцарско-монашеского ордена иоаннитов (или Мальтийского); он защищал Мальту от турецкого флота.

Стр. 219. *Маргарита Французская (1523—1574)* — дочь французского короля Франциска I, жена герцога Савойского Филибера-Эмманюэля.

...родственником которой он себя считал. — Мать Брантома Анна де Вивон была племянницей Клодины де Брос (ум. 1523), герцогини Савойской.

Стр. 220. *После сражения при Сен-Дени...* — Сражение при Сен-Дени произошло в 1567 году.

После заключения мира... — Речь идет о мире, заключенном в Лонжюмо 23 марта 1568 года.

Монтескью Жозеф-Франсуа — капитан гвардии герцога Анжуйского.

Стр. 220—221. *...убил в Жарнаке...* — после сражения при Жарнаке 13 марта 1569 года выстрелом в голову из пистолета.

Стр. 221. *...брата Карла IX...* — то есть герцога Анжуйского, будущего Генриха III.

Стр. 222. *...битвой при Лепанто...* — Морское сражение между испано-венецианским и турецким флотом (7 октября 1571). Турецкий флот под начальством Али-паши был почти полностью уничтожен.

Стр. 224. *Бюси д'Амбуаз, Луи (ок. 1549—1579)* — фаворит герцога Алансонского, известный своим распутством и своими дуэлями.

Герцог Алансонский, Эркюль-Франсуа (1554—1584) — шестой сын Генриха II и Екатерины Медичи, брат Генриха III. В сентябре 1575 года он покинул двор, поссорившись с братом. Их удалось примирить («Соглашение в Шампиньи», 21 ноября 1575 года), но в декабре ссора вспыхнула снова, и Екатерина Медичи ездила в начале 1576 года к младшему сыну в Анжер.

Стр. 226. *Коннетабль Бурбонский, Шарль (1490—1527)* — французский военачальник времен Франциска I; одержал ряд важных побед, но затем поссорился с королем и перешел на сторону германского императора Карла V и английского короля Генриха VIII.

Лепелу — один из соратников коннетабля Бурбонского.

Стр. 228. *Лига* — объединение католиков под руководством Анри де Гиза (1550—1588), боровшегося как против протестантов, так и против короля Генриха III.

...опубликовать свои рукописи... — Произведения Брантома были впервые опубликованы лишь в 1665—1666 годах.

...выпустил книгу о дуэлях... — «Рассуждение о дуэлях».

Стр. 229. *...к его намерению изменить отечеству.* — Во взгля-

дах Брантома отразилось средневековое представление о верности вассала своему сюзерену; Брантом ставил эту верность выше верности родине и королю.

...их портрет, сделанный Цезарем...— О галлах Цезарь писал в своих «Записках о Галльской войне».

Стр. 230. *Посидоний* (ок. 135—ок. 50 до н. э.) — древнегреческий ученый и философ-стоик, автор богатой географическими и этнографическими сведениями «Всеобщей истории».

...победители при Аллии...— Битва при Аллии произошла 18 июля 390 года до н. э.; в ее ходе войска галлов наголову разбили римлян.

Нибур, Бартольд-Георг (1776—1831) — немецкий историк античности; занимался главным образом историей ранней республики в Риме (до середины III века до н. э.).

Брен — легендарный вождь галлов, взявших в 390 году до н. э. Рим.

Стр. 231. *Гвельфы и гибеллины* — две боровшиеся партии в Северной Италии XII—XV веков; гвельфы стояли за самостоятельность городов-коммун, гибеллины — за власть германских императоров.

Стр. 232. *Лукреция Борджа* (1480—1519) — дочь папы римского Александра VI; получила известность своей распущенностью.

Александр VI — Родриго Борджа (1431—1503), папа римский с 1493 года, известный своим вероломством в политике и распущенностью.

Юлий II — Джулиано делла Ровере (1443—1513), папа римский с 1503 года. Вел жизнь, полную пиров и развлечений, покровительствовал художникам.

Стр. 233. *Acqua tofana* (аква тофана) — один из сильных ядов, широко применявшийся в Италии в XVI—XVII веках.

Стр. 234. *Этьен, Анри Младший* (1531—1598) — французский ученый-эллинист и типограф.

ПИСЬМО Ж. ШАРПАНТЬЕ

Напечатано в мае 1863 года в качестве предисловия к переводу на французский язык романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 235. *Шарпантье, Жерве* (1805—1871) — известный французский издатель.

...«рыси к ближнему, кроты к самим себе...» — Цитата из басни Лафонтена «Сума» (кн. I, басня 7).

Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист. Вопреки утверждению Мериме его влияние в России было невелико и кратковременно.

Стр. 236. *Перевод, который Вы мне показали...* — «Отцы и дети» Тургенева были изданы в переводе Луи Виардо (1800—1883) и самого автора. Корректурa этого перевода была просмотрена и выправлена Мериме.

ПЕРЕПИСКА ГОСПОЖИ ДЮ ДЕФАН

Напечатано 29 апреля 1867 года в газете «Монитор юниверсель». При жизни Мериме не перепечатывалось. Поводом к написанию статьи явился выход в свет трехтомного издания писем маркизы Марии дю Дефан (1697—1780), хозяйки известного литературного салона и незаурядной писательницы-эпистолога.

Стр. 237. *Шуазель*, Луиза-Онорина (1734—1801) — приятельница г-жи дю Дефан.

Бартелеми, Жан-Жак (1716—1795) — французский ученый и писатель-просветитель, автор романа «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» (1788), где под видом путешествия молодого скифа рассказывается о демократическом строе древних Афин.

Брат Жан — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 239. *Шуазель*, Этьен-Франсуа (1719—1785) — французский государственный деятель, министр иностранных дел и военный министр при Людовике XV; в 1758—1770 гг. фактический глава государства. Изгнанием иезуитов (1764) он восстановил против себя реакционные клерикальные круги и благодаря их интригам был смещен и выслан из Парижа. После его смерти были опубликованы его «Мемуары» (1790).

Стр. 241. *Дроз*, Франсуа-Ксавье-Жозеф (1773—1851) — французский писатель и историк.

Стр. 242. *Паскье*, Этьен-Дени (1767—1862) — французский государственный деятель, председатель палаты пэров и канцлер.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Напечатано в газете «Монитор юниверсель» 20 и 27 января 1868 года. При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 244. *Пушкин... нашел... в лице императора Николая... благожелательного цензора...*— Николай I действительно предложил Пушкину быть его цензором (1826), но эта царская опека была тяжким бременем для поэта; ни о каком «благожелательстве» императора не могло быть и речи.

Персий, Авл Флакк (34—62 н. э.) — древнеримский поэт-сатирик.

...они стремятся заключить в свои стихи больше смысла, нежели слов.— Намек на двустишие из «Поэтического искусства» Буало (песнь II, стихи 155—156):

Неясен, но глубок сатирик Персий Флакк:

Он мыслями богат и многословью враг.

(Перевод Э. Линецкой.)

Пандар — троянец, меткий стрелок из лука, воспетый в IV и V песнях «Илиады».

У одного из моих друзей...— Очевидно, у С. А. Соболевского, друга Пушкина и Мериме.

...пометками императора, который ограничился лишь несколькими литературно-критическими замечаниями...— Мериме ошибается; как известно, Николай предложил Пушкину переделать «Бориса Годунова» в «историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта». Законченная в 1825 году, трагедия Пушкина смогла увидеть свет только в 1831-м; до этого поэт опубликовал из нее лишь отдельные сцены.

Стр. 245. *Шишков*, Александр Семенович (1754—1841) — русский реакционный писатель и государственный деятель (министр просвещения и президент Академии наук), пропагандист архаичного литературного языка, противопоставлявшегося им живому языку, якобы непригодному для литературы. Мериме ошибается, называя Шишкова генералом; он имел звание адмирала.

...и именно благодаря Пушкину.— Мериме недооценивал языковую реформу Карамзина.

...подобно греческому философу, который, двигаясь сам, опроверг отрицание движения.— Мериме имеет в виду древнегреческого философа Диогена, который, споря с Зеионом, отрицавшим движение, прошелся перед ним несколько раз.

Стр. 246. «Ундина» — прозаическая повесть немецкого романтика Фридриха де Ламотт Фуке (1777—1843); В. А. Жуковский перевел ее стихами в 1831—1836 годах.

Стр. 247. *Вилла Фарнезина* — дворец в Риме, принадлежавший семейству Фарнезе и украшенный фресками Рафаэля.

Доу, Герард (1613—1675) — голландский художник-жанрист.

Hoc amet, hoc spernat promissi...— Мериме цитирует фразу из «Послания к Писонам» («Поэтического искусства») Горация (стих 45).

...по примеру Мольера.:— Мольер читал свои комедии служанке.

Стр. 247—248. ...его первым литературным опытом была.: *Гаврииллиада*.— Мериме ошибается: «Гаврииллиада» была написана Пушкиным в 1821 году, то есть позже «Руслана и Людмилы» и многих других произведений.

Стр. 248. ...никогда не была напечатана...— Мериме ошибается: эта поэма Пушкина была напечатана Н. П. Огаревым в Лондоне в 1861 году.

Парни, Эварист-Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт, представитель жанра легкой, анакреонтической лирики; его атеистическими поэмами «Война древних и новых богов» (1799), «Потерянный рай» (1805) и др. увлекался в молодости Пушкин.

Пушкин вдохновлялся *Ариосто* и главным образом *Вольтером*...— Утверждение Мериме не соответствует действительности. Пушкин прекрасно знал и любил и «Неистового Роланда» Ариосто и «Орлеанскую девственницу» Вольтера (он переводил и того и другого), но влияния они на него не оказали.

Аристархи — то есть суровые критики.

Стр. 250. *Гамильтон*, Антуан (1646—1720) — французский писатель, шотландец по происхождению. В свое время были очень популярны его «Сказки», пародирующие сказки «Тысячи и одной ночи».

Бекфорд, Вильям (1759—1844) — английский писатель и меценат, его роман «Ватек» написан в 1782 году по-французски в духе восточных волшебных сказок.

Стр. 251. ...наш учитель Рабле оставил нам прекрасное правило...—Приводимой далее фразы у Рабле нет; однако Мериме верно уловил смысл приема автора «Гаргантюа и Пантагрюэля», постоянно им применявшегося при преувеличениях.

Стр. 252. ...он едет на Кавказ...—Поездка Пушкина на Кавказ относится к лету 1820 года.

Гюльнар и Гайде — романтические героини «Корсара» и «Дон Жуана» (II песнь) Байрона.

Это не Мазепа...—намеки на одноименную поэму Байрона (1819).

Стр. 253. *Тарквиний, Секст* — сын римского царя Тарквиния Гордого; проникнув в дом римлянки Лукреции, он силой овладел ею, после чего Лукреция закололась кинжалом.

Стр. 254. ...вроде ханжи у Мольера...—Мериме имеет в виду Арсиною, персонаж комедии Мольера «Мизантроп».

Стр. 255. ...его брат...—Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852), с которым Мериме познакомился в 1851 году.

«Апофрад».—Мериме имеет в виду памфлет Лукиана Самосатского (125—180 н. э.) «Лжец, или Что значит «пагубный». Слово против Тимарха». По-гречески «апофрад» — «пагубный день».

«Цыганы».—Мериме опубликовал перевод этой поэмы в 1852 году.

Стр. 257. *Но разве этой картине чего-нибудь не хватает?* — Далее Мериме оговаривается: «Делаю в меру моих слабых сил буквальный перевод начала поэмы». В этой статье все пушкинские стихи Мериме перевел прозой.

Стр. 258. *В моей исторической работе...*—Мериме имеет в виду свою книгу «Эпизод из русской истории. Лжедимитрии» (1852).

Стр. 260. *Марфа... была монахиней в Троицком монастыре...*—Мериме имеет в виду Троице-Сергиевскую лавру, но он ошибается: в действительности Марфа (до пострижения Мария Федоровна Нагая, седьмая жена Ивана Грозного) была монахиней Николаевского монастыря в Череповце.

«Пиковая дама».—Мериме перевел эту повесть Пушкина в 1849 году.

Стр. 261. «Мазепа».—Мериме так называет поэму Пушкина «Полтава».

Стр. 262. *Миссис Малапроп* — персонаж из комедии английского драматурга Ричарда Шеридана (1751—1816) «Соперники» (1775).

Стр. 263. ...на несколько лет покидает Россию.—Мериме, у которого во время работы над статьей не было текста «Евгения Онегина», ошибается в деталях: Онегин после дуэли с Ленским путешествует по России, а не за границей, встречает он Татьяну не в Москве, а в Петербурге и т. д.

Стр. 265. «Опричник».—У Пушкина это стихотворение не имеет названия.

Напечатано впервые в газете «Монитор юниверсель» 25 мая 1868 года. При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 268. *Имя г-на Ивана Тургенева... очень популярно во Франции...*—К 1868 году ряд произведений Тургенева был переведен на французский язык; во Франции были изданы «Записки охотника» (1854), романы «Рудин» (1858), «Дворянское гнездо» (1859), «Отцы и дети» (1863), «Накануне» (1863), «Дым» (1867), повести «Фауст» (1858), «Ася» (1858), «Три встречи» (1859), «Призраки» (1866), «История лейтенанта Ергунова» (1868) и т. д.

Стр. 269. *Кабанис, Пьер-Жан-Жорж (1757—1808)* — французский врач, философ и общественный деятель, один из предшественников «вульгарного материализма».

В очах души.—Цитата из «Гамлета» (д. I, явл. 2).

Лоуренс, Томас (1769—1830) — знаменитый английский художник-портретист; Мериме встречался с ним в Лондоне в 1826 году.

Стр. 270. *...человек единой книги, которого боялся Теренций.*—Мериме приписывает римскому драматургу-комедиографу Теренцию (ок. 185—159 до н. э.) фразу, автором которой традиционно считается средневековый философ-богослов Фома Аквинский (1225—1274).

Стр. 271. *Жан Зубодробитель* — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», веселый пьяница и обжора, но также и отважный воин.

...под предводительством Стеньки Разина...—О восстании Разина Мериме напечатал в 1861 году обстоятельную статью, в которой он далеко вышел за рамки первоначального замысла — рецензирования книги русского историка Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (1859).

Стр. 272. *Вовчок, Марко* — псевдоним Марии Александровны Вилинской-Маркович (1834—1907); Тургенев перевел на русский язык ее «Украинские народные рассказы», и по его совету Мериме перевел в 1869 году из этого сборника рассказ «Казачка».

Стр. 273. *«Призраки».*—Этот рассказ Тургенева был переведен Мериме и напечатан в «Ревю де де Монд» 15 июня 1866 года.

Переводчик... «Записок охотника»...—то есть Эрнест Шарьер (1805—1870); в его переводе (1854) было много грубейших ошибок и пропусков. Следующий перевод — Анри-Ипполита Делаво (ум. 1862) — был значительно лучше.

Стр. 274. *Затем следует слово...*—У Тургенева: «Скряга! Слизняк! Каплюжник!»

...даже Гораций разрешает соснуть на середине длинной поэмы.—Мериме имеет в виду одно из мест «Поэтического искусства» Горация (стихи 357—360).

Стр. 275. *Рашель, произнося проклятия Камиллы...*—Одной из лучших ролей французской трагической актрисы Элизы Фе-

ликс Рашель (1821—1858) была роль Камиллы из трагедии Пьера Корнеля «Гораций» (1640).

Стр. 276. *Альцест, Селимена* — герои комедии Мольера «Мизантроп». Альцест изображен драматургом как правдивый, честный человек, Селимена — как ветреная кокетка.

ДНЕВНИК СЭМЮЭЛА ПЕПИСА

Напечатано в газете «Монитор юниверсель» 12 и 13 января 1869 года. При жизни Мериме не перепечатывалось.

Стр. 280. *Брейбрук, Ричард Гриффин Невиль* (1783—1858) — английский аристократ и литератор-любитель; его первое издание «Дневника» Пеписа вышло в 1825 году; Мериме имеет в виду шестое, дополненное издание 1858 года.

«*Мемуары де Грамона*». — Филибер де Грамон (1621—1707) — французский полководец и поэт-вольнодумец, женился в Англии на сестре франко-шотландского писателя Антуана Гамильтона (см. прим. к стр. 249), который в 1713 году выпустил отредактированные им (или им сочиненные?) мемуары де Грамона.

Монтегью, Эдвард (1625—1672) — английский государственный деятель, способствовавший восстановлению монархии в Англии.

Грозный Протектор — то есть Оливер Кромвель (1599—1658), крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII века; после подавления восстания в Шотландии он был провозглашен лордом-протектором (1653).

...его сын *Ричард*... — Ричард Кромвель (1626—1712) занимал пост лорда-протектора лишь с 1658 по 1660 год; затем он уехал во Францию и участия в политической жизни не принимал.

Долгий Парламент (1640—1653) — парламент, созванный королем Карлом I Стюартом и ставший законодательным органом начавшейся буржуазной революции. Члены этого парламента отражали интересы обуржуазившегося дворянства и буржуазии; после казни короля они потеряли всякое политическое значение, и их остатки (так называемое «охвостье») были разогнаны Кромвелем 20 апреля 1653 года.

Монк, Джордж (1608—1670) — генерал Кромвеля, затем перешедший на сторону контрреволюции и способствовавший восстановлению монархии.

...одной из первых побед парламента над королевскими войсками. — Битва при Нэзби произошла в 1645 году,

Стр. 281. *Rissorza del mestiere* — ресурсы ловкости. — Мериме приводит слова Фигаро не из пьесы Бомарше, а из либретто оперы, написанной на этот сюжет.

Стр. 282. *Лесаж*.. изображал нам в «*Жиль Бласе*».: — Мериме имеет в виду сцену из романа Лесажа (кн. VIII, гл. 6) — разговор герцога Лермы с Жиль Бласом.

Стр. 283. ...голландский флот вошел в устье Темзы... — Это произошло в 1667 году.

Рюйтер, Михаил-Адриан (1607—1676) — голландский адмирал, участник всех англо-голландских войн XVII века.

После разгрома Армады Филиппа II...—Испанский король Филипп II снарядил огромный флот (так называемую «Великую Армаду») и направил ее к берегам Англии для переброски туда военного десанта. Испанский флот, сильно пострадавший от бурь, был уничтожен английским флотом (1588).

Подобно Панургу, он от природы боялся драки...—Намек на одну из «черт характера» героя Рабле (кн. II гл. 21).

Стр. 285. ...как «Мнимый больной».—См. д. I, явл. 1 комедии Мольера.

Екатерина Валуа (1401—1437) — дочь французского короля Карла VI, жена английского короля Генриха V (с 1420 года).

Стр. 286. *Гвин, Нелли (1650—1687)* — английская актриса, возлюбленная короля Карла II, от которого имела двоих детей.

...*роль Селии.*—Очевидно, в комедии Шекспира «Как вам это понравится».

«Приключения за пять часов» — комедия «плаща и шпаги» английского драматурга Сэмюэла Тука (ок. 1615—1674); эта пьеса, впервые исполненная в 1663 году, пользовалась большим успехом.

«Гофолия» (или «Аталня») — трагедия Расина (1691).

Гаррик, Давид (1717—1779) — английский актер и режиссер; став в 1746 году во главе лондонского театра Друри-Лейн, он поставил почти все пьесы Шекспира и сам играл в 35 из них.

Стр. 289. *Шефтсбери, Антони Эшли Купер (1621—1683)* — английский государственный деятель, один из основателей партии вигов, министр Карла II.

...*попал в Тауэр...*— Мериме ошибается: Пепис был заключен в тюрьму в 1679—1680 годах по обвинению в шпионаже в пользу Франции.

Королевское общество — «Лондонское королевское общество для содействия успехам естествознания», выполняющее роль академии наук; основано в 1660 году; Пепис был его президентом с 1684 по 1685 год (член с 1664 года).

С падением Иакова II — то есть в 1688 году.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СЕРВАНТЕСА

Написано в сентябре — ноябре 1869 года; впервые напечатано в «Ревю де де Монд» 15 декабря 1877 года; в 1878 году перепечатано в качестве предисловия к новому изданию «Дон Кихота» в переводе Люсьена Биара.

Стр. 292. *Фернандес де Наваррете, Мартин (1765—1844)* — испанский писатель и ученый, исследователь жизни и творчества Сервантеса. Его «Жизнь Сервантеса» (1819) — строго документированная работа, плод семнадцатилетнего труда.

Мигель Сервантес родился... 7 октября...— по новейшим данным, 29 сентября.

...*принимавшего в войсках святого короля Фердинанда участие в завоевании Севильи.*— Речь идет о войне с маврами короля Кастилии Фердинанда III (1199—1252).

У Родриго было четверо детей...— Согласно последним данным, у Родриго их было семеро: три девочки — Андреа (1544—1624), Лоиса (1546—ок. 1620) и Магдалена (ок. 1557—1611) — и четыре мальчика — Андрес (1543—1585), Мигель, Родриго (1550—1600) и Хуан (?—1585).

Стр. 294. ...прошел какой-то курс гуманитарных наук.— В 1557—1561 годах Сервантес учился в коллегии иезуитов в Вальядолиде, в грамматических и гуманитарных классах; после 1561 года посещал мадридскую городскую школу Херонимо Рамиреса и, очевидно, занимался на дому у известного гуманиста Хуана Лопеса де Ойос (ум. 1583).

Изабелла де Валуа (1546—1568) — испанская королева, третья жена Филиппа II; она внезапно умерла 3 октября 1568 года.

Стр. 295. ...в доме кардинала Аквавивы.— Джулио Аквавива-и-Арагон, чрезвычайный легат папы Пия V; по предположению некоторых биографов Сервантеса, он взял к себе на службу будущего писателя по рекомендации кардинала Эспиносы; по другим сведениям, Сервантес покинул родину в поисках удачи и попал на службу к Аквавиве в середине 1570 года, когда тот уже вернулся в Рим.

Антоньо де Сигура — в других источниках этот мадридский дворянин называется Алонсо.

Стр. 296. Авельянеда — псевдоним автора подложной второй части «Дон Кихота».

Дон Карлос (1545—1568) — сын Филиппа II; молва приписывала ему любовь к его мачехе Елизавете Валуа.

Прибыв в Мадрид в сентябре...— по новейшим данным, 13 октября.

Стр. 297. ...в роте капитана дона Дьего де Урбина.— О нем Сервантес рассказывает в гл. 39 первой части «Дон Кихота».

Колонна, Марко Антоньо — испанский полководец XVI века.

Дориа, Андреа Джан (1539—1606) — генуэзский флотоводец, командир соединенных испано-венецианских морских сил на Средиземном море.

Стр. 298. Сеса, Карлос Арагон (конец XVI — начало XVII века) — вице-король Неаполя.

Он отплыл на галере...— Отплытие состоялось, как теперь установлено, 20 сентября 1575 года.

...захватили алжирские пираты.— Сервантес попал в плен 26 сентября.

Стр. 299. 20 сентября 1577 года...— По новейшим данным, 28 сентября.

Стр. 300. Васкес, Матео — испанский государственный деятель, секретарь Филиппа II.

...процессе против Антоньо Переса по поводу убийства Эсковеды.— Антоньо Перес (1539—1611), секретарь и министр Филиппа II, был организатором убийства Хуана де Эсковеды, приближенного дона Хуана Австрийского (1547—1578). Убийство произошло в 1578 году. Однако вскоре король решил отделаться от своего сообщника и отстранил Переса от дел.

Стр. 301. ...относится к 1579 году.— По последним данным, к 1577 году.

В эпизоде с пленным в первой части «Дон Кихота»... — в гл. 40. Все цитаты из «Дон Кихота», обращения к читателю и «Персилеса и Сихизмунды» даны в переводе Н. Любимова.

Стр. 303. Г-жа Сервантес продала полученное ею свидетельство за шестьдесят дукатов.— В действительности она не смогла употребить эти деньги на выкуп мужа, так как продать свидетельство она сумела лишь в 1582 году.

Стр. 304. Сделка завершилась лишь 29 сентября 1580 года... — По новейшим данным, 19 сентября.

...еще два месяца оставался в Алжире.— Сервантес покинул Алжир 24 октября.

Стр. 305. ...у него в доме появилась побочная дочь.— Исабель де Сааведра родилась в конце 1583 или начале 1584 года; ее матерью была некая Анна Франка де Рохас.

Стр. 306. В конце 1584 года... — По новейшим данным, в начале апреля 1585-го.

Монтемайор, Хорхе (ок. 1520—1562) — испано-португальский поэт и романист, автор пасторального романа «Диана».

Уден, Сезар (ум. 1625) — французский литератор, переводчик произведений испанских авторов.

Стр. 307. В одной из своих новелл он пишет... — Мериме цитирует далее новеллу Сервантеса «Беседа двух собак». Перевод Б. Кржевского.

...Сервантес в конце 1584 года женился... — Теперь точно установлено, что свадьба Сервантеса состоялась 12 декабря.

Стр. 308. Вот как сам Сервантес рассказывает о развитии испанского театра... — Мериме приводит отрывок из обращения к читателю, предпосланного сборнику Сервантеса «Восемь комедий и восемь интермедий» (1615).

Наварро — очевидно, выдающийся испанский актер, режиссер и драматург Педро Наварро.

Стр. 309. ...мудрым наставлением Горация... — Мериме цитирует «Поэтическое искусство» Горация.

Из этих первых опытов сохранилось только два... — Обе эти пьесы Сервантеса были опубликованы лишь в 1784 году по текстам поздних списков.

Стр. 310. Аппиан (конец I века — 70-е годы II века) — выдающийся древнегреческий историк, автор обширного труда «История Рима».

Стр. 311. Сципион, Эмилиан (ок. 185—129 до н. э.) — древнеримский полководец, участник Пунических войн.

Куэва, Хуан де ла (1543—1610?) — испанский поэт и драматург, автор бурлескиных поэм и драм на исторические сюжеты.

Вируэс, Кривоваль (1550—1609) — испанский поэт и драматург, автор пьес на легендарно-исторические и мифологические сюжеты.

Стр. 313. Ответ на эту петицию... — Он датирован 6 июня 1590 года.

Стр. 314. ...посадил его за решетку в Севилье в сентябре 1597 года... — На этот раз Сервантес провел в тюрьме три месяца.

Стр. 319. Пачеко, Франсиско (1564—1654) — испанский художник и теоретик искусства, автор серии превосходных живописных и графических портретов.

Хаурегу-и-Агилар, Хуан (1583—1641) — испанский художник-портретист и поэт.

Стр. 320. Капорали, Чезаре (1531—1601) — итальянский поэт, автор шуточной поэмы «Путешествие на Парнас» (1582).

24 сентября 1604 года он получил королевскую привилегию... — По новейшим данным, эта привилегия датирована 26 сентября.

Стр. 321. ...«Дон Кихот» был сперва плохо принят читателями.— Это не соответствует действительности: в одном 1605 году роман вышел шестью изданиями.

Пелисер-и-Пиларес, Хуан Антонио (1738—1806) — испанский ученый-библиограф, впервые опубликовал (1797—1800) важные документы, относящиеся к выходу в свет первой части «Дон Кихота».

Риос, Висенте де Лос (ок. 1737—1779) — испанский писатель и ученый, автор научной биографии Сервантеса (1780).

...просматривал Пантагрюэль в библиотеке монастыря св. Виктора. — Мериме имеет в виду гл. 7 второй книги романа Рабле, в которой рассказывается, как Пантагрюэль просматривал книги библиотеки при монастыре св. Виктора — самой большой теологической и схоластической библиотеки Франции той эпохи. Приводя каталог книг этой библиотеки, Рабле зло высмеивает богословско-схоластическую литературу его времени.

Стр. 322. ...четыре новых издания... — Не четыре, а пять.

Гонгора-и-Арготе, Луис (1561—1627) — испанский поэт, один из крупнейших представителей литературы барокко.

Стр. 323. Беатка — член одной из многочисленных религиозных католических организаций.

...именовал сестрой. — Теперь установлено, что Магдалена действительно была сестрой Сервантеса.

Г-жа Гарибай — Луиса де Монтойя, вдова историка Эстева-на де Гарибай-и-Самальоа (1525—1600).

Стр. 325. ...которая, вероятно, жила в первом этаже.— Семейство Гарибай занимало квартиру во втором этаже дома, рядом с квартирой Сервантесов; в первом этаже помещалась таверна.

Фидеикомисс — система наследования, при которой имущество переходит в пользование к одному лицу, без права дробления или передачи другому.

Стр. 327. Фернандес-Герра, Аурельо (1816—1894) — испанский ученый-литературовед, исследователь творчества Сервантеса.

...11 апреля того же года принят был в Братство святейшего таинства орагии. — По новейшим данным, 17 апреля.

В том же 1609 году... — 9 октября.

Стр. 328. Лемос, Педро Фернандес де Кастро (1576—1622) — испанский государственный деятель и меценат, покровитель Сервантеса с 1610 года.

...братьев Архенсола... — Бартоломе Леонардо (1562—1631) и Луперсьо Леонардо (1559—1613) — испанские писатели; старший из них был в свое время популярным драматургом.

Стр. 329. В конце 1613 года...— По последним данным, в начале ноября.

Стр. 330. ...о битве книг в его «Аналое».— Речь идет об одном эпизоде героин-комической поэмы Буало «Аналой» (1674—1683), в высоком стиле героического эпоса повествующей о ссоре двух прелатов.

Цитата из «Нового руководства» Лопе де Вега дана в переводе О. Румера.

Стр. 332. Ираклий (ок. 575—641) — римский император; Пьер Корнель сделал его героем своей одноименной трагедии (1647).

Педро Жестокий — кастильский король с 1350 по 1369 год; его жизнь послужила сюжетом одноименной трагедии Вольтера (1775).

Эвфуизм — напыщенный, вычурный стиль. Назван так по имени главного героя романа английского писателя Джона Лили (1554—1606) «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1578).

«И губы, вы, преддверия души...» — Мериме цитирует монолог Ромео из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (действие V, явл. 3). Перевод Б. Пастернака.

Стр. 335. Цитата из интермедии «Бдительный страж» приводится в переводе А. Н. Островского.

Стр. 336. ...следующими стихами Ариосто.— Далее Мериме цитирует заключительный стих из 16-й октавы XXX песни «Неистового Роланда» Ариосто.

Стр. 338. Кеведо-и-Вильегас, Франсиско (1580—1645) — испанский писатель-сатирик, автор плутовского романа «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» и «Сновидений».

Вильямедьяна, Хуан де Тассис Перальта (1580—1622) — испанский светский поэт-эпиграмматист.

Стр. 339. Кто бы ни был настоящим автором продолжения...— Этот вопрос до сих пор остается нерешенным.

...переведенным на французский язык Лесажем... — Ален-Рене Лесаж выпустил свою обработку подделки Авельянеды в 1704 году; в течение XVIII века эта обработка была переиздана пять раз. Роман Авельянеды был переведен на французский язык также А. Жерменом де Лавинь в 1853 году.

Стр. 340. ...вышел в свет уже посмертно...— в начале 1617 года.

Стр. 341. Пребенда — денежная рента, предоставляемая католическим священникам.

Стр. 344. ...через два года после смерти короля...— то есть в 1835 году.

Стр. 345. «Феаген и Хариклея» — пасторальный роман древнегреческого писателя III века н. э. Гелиодора о похождениях греческого юноши Феагена и дочери эфиопского царя Хариклеи. Другое, более распространенное название романа — «Эфиопика».

Сказка о Гаргантюа. — Мериме имеет в виду вышедшую в 1532 году народную книгу «Великие и неопенимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа», послужившую источником романа Рабле.

Стр. 347. По мнению одного из наиболее выдающихся наших современных писателей... — Излагаемой далее трактовки романа Сервантеса придерживались многие сторонники романтизма, в том числе Гегель, Виктор Гюго и Теофиль Готье. Мериме имеет, очевидно, в виду Гюго, который в своей книге «Вильям Шекспир» (1864) не раз говорил о Сервантесе.

Стр. 349. Валера, Хуан (1824—1905) — испанский писатель, критик и переводчик, автор ряда работ о Сервантесе; был знаком с Мериме.

Рикоте — одно из действующих лиц второй части «Дон Кихота», односельчанин Санчо. Мориск Рикоте был изгнан из Испании и переселился в Германию. Тайком вернувшись на родину, он повествует Санчо о своих злоключениях.

Стр. 350. Гассенди, Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист и ученый.

Стр. 352. Сеан Бермудес, Хуан Агостин (1749—1829) — испанский литературовед, исследователь творчества Сервантеса.

Кальдерон, Серафин-Эстебаньес (1799—1867) — испанский писатель, друг Мериме.

А. Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

Заметки о путешествии по Корсике. Перевод Я. Лесюка . . . 7

СТАТЬИ

Драматическое искусство в Испании. Перевод Н. Рыковой	101
Байрон. Перевод О. Холмской	114
Виктор Жакмон. Перевод О. Холмской	129
Шарль Нодье. Перевод О. Моисеенко	141
Стендаль. Перевод О. Холмской	160
Об испанской литературе. Перевод Н. Рыковой	171
Арман Мараст. Перевод И. Лилеевой	189
Крепостное право и русская литература. Перевод И. Лилеевой	192
Баллады и народные песни Румынии. Перевод Н. Рыковой	199
Брантом. Перевод О. Моисеенко	211
Письмо Ж. Шарпантье. Перевод М. Клемана	235
Переписка г-жи дю Дефан. Перевод И. Лилеевой	237
Александр Пушкин. Перевод Е. Козловой	243
Иван Тургенев. Перевод Е. Козловой	268
Дневник Сэмюэла Пеписа. Перевод О. Холмской	278
Жизнь и творчество Сервантеса. Перевод Н. Рыковой	290
Мериме — литературный критик. А. Михайлов	354
Комментарии	359

Проспер М е р и м е
Собрание сочинений в 6 томах.
Том V.

Технический редактор
А. Ш а г а р и н а.

Подп. к печ. 10/XII 1963 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 2225. Зак. 2384. Форм. бум. 84×108^{1/32}.
Физ. печ. л. 12,13. Условн. печ. л. 19,88.
Уч.-изд. л. 20,68. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

90 1071